

Аарон Штейнберг

Проза философа

Составление, вступительная статья и комментарии
Нелли Портновой



ImWerdenVerlag
München 2014

© Нелли Портнова, составление, вступительная статья и комментарии, 2014
© Обложка. Евгений Пономарчук, 2014
© Оформление. ImWerdenVerlag, 2014

Философ Аарон Захарович Штейнберг (1891—1975) оказался «невозучим»: «блестяще образованный, в равной степени свободно владевший семью языками, в равной степени твердо, двумя ногами, стоящий в трех культурах — еврейской, русской и немецкой, ученый по складу ума и души, он явно претендовал на место среди выдающихся мыслителей своего времени»¹. Но места такого он не занял. Штейнберг проявил себя чрезвычайно широко: как философ, критик, преподаватель, издатель, переводчик, журналист и, наконец, просветитель и общественный деятель. Когда в середине 60-х гг. ему захотелось предъявить свою рассыпанную по разным изданиям на разных языках работу современному читателю, пришлось «перерезывать во всех направлениях исторический массив последних шести—семи десятилетий»². Пока шло обсуждение планов издания семитомника, Штейнберг взялся за подготовку нескольких книг: тома сочинений по философии и критике (в переводе на один — английский язык³), монографии о Достоевском⁴, автобиографии и воспоминаний о «петроградском» периоде жизни⁵. Только монография о Достоевском вышла в свет в 1966 гг.,

¹ Эйтан Финкельштейн. Невезение Аарона Штейнберга. Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Русское издание. Айхштетт. № 1, 2005.

² Письмо А. Штейнберга Ф. Каплан от 19.6.1968. Archives for the History of the Jewish People (Jerusalem), A. Steinberg's Collection. P/159. Box XIV.

³ Steinberg Aaron. History as Experience. Aspects of Historical Thought — Universal und Jewish: Selected Essays and Studies. New York, 1983.

⁴ Dostoevsky by A. Steinberg. Bowes & Bowes. London. 1966.

⁵ Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911—1928) / Подг. текста, послесловие и примечание Ж. Нива. Париж: Синтаксис, 1991.

философский сборник и воспоминания о Вольфиле — после смерти автора, воспоминания не опубликованы до сих пор.

Научное издание документов по истории Вольфилы, 2-е, на основе архивных источников, издание воспоминаний и публикация корпуса философских сочинений в переводе на русский язык ⁶ — дают возможность, наконец, представить место А. Штейнберга в европейском философском движении и русско-еврейской культуре. Остались неопубликованными его литературные сочинения, продолжение и организационная часть этого наследия.

Тексты печатаются по автографам или машинописным копиям, хранящимся в личном архиве А. З. Штейнберга, с небольшими коррекциями в соответствии с современными грамматическими нормами. Ссылки на материалы архива даются в тексте: *SC*, с указанием порядкового номера *box'a*. Дневники цитируются по оригиналам с указанием даты записи.

Сердечно благодарю работников архива: В. Лукина, О. Шраберман и И. Гельстона, — за прекрасные условия работы, а также моих друзей: Э. Чудновскую, Э. Ганкину и С. Шварцбанда, — за помощь в подготовке рукописи к печати.

⁶ Белоус В. Г. Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919—1924, в 2-х книгах. М., 2005. Вольфила, или Кризис культуры в зеркале общественного самосознания. СПб., 2007. Штейнберг А. З. Литературный архипелаг. Вступительная статья и комментарии: Н. Портнова, В. Хазан. М., 2009. Далее ссылка на это издание: *ЛА*. стр.; А. З. Штейнберг. Философские сочинения. СПб., 2011.

1. Семья

История своей семьи была для Штейнберга важной темой творчества, основой его традиционалистских взглядов и предметом гордости. «Чтобы не выродиться, надо сознательно и неуклонно оберегать свою родовитость» (Дневник 26.5.1969).

Отец Аарона Зорах Штейнберг (1858—1932) родился в Вильно (Вильнюсе). Бабушка со стороны отца Бейла Штейнберг утверждала, что ее род ведет начало от Рамбама. Своего отца Аарон представлял себе молодым человеком «с загоревшимся взглядом», погруженным в чтение «Море невухим». Виленский учительский институт, который он закончил, прививал особую философию — «торат-хаим», компромисс между верой и знанием. Поэтому когда редактор журнала «Ха-Шахар» («Рассвет») П. Смоленский призвал к критическому взгляду на еврейский быт, Зорах послал ему статью о борьбе «света» и «тьмы» в родном городе. Хотя подписался он псевдонимом, но корреспондента сразу узнали в городе. Мать в одно мгновение уничтожила литературные амбиции сына. «Где это видано: она, благородного происхождения, должна извиняться перед людьми за этот пасквиль...!» Зорах соблюдал закон уважения к матери, и страсть к литературе продолжала пылать с тех пор в платонической форме⁷.

⁷ Аарон Штейнберг. Ицхок-Нахмен Штейнбергс киндер-ун юнгст ёрн [Детские и юношеские годы Ицхака-Нахмана Штейнберга] (1888—1914). Ип: Ицхок-Нахмен Штейнберг. Дер менч. Зайн ворт. Зайн ойфто. [Человек. Его слово. Его достижения] 1888—1957. Нью-Йорк, 1961, с. 21—73.

Было решено немедленно женить 18-летнего юношу, поехали знакомиться с невестой. Зарах всю ночь проговорил с ее отцом, оба остались довольны друг другом. Но девушка не показалась ему красивой. Семь лет Зорах стоял на своем; наконец, мать сдалась, и, войдя как-то утром в комнату «старого холостяка», проговорила: «Ты-таки хочешь красивую невесту? Ты будешь ее иметь, это дочь Шлемы Залкинда Эльяшева, но она живет далеко, в Ковно. Завтра утром поедем, и вы, в добрый час, познакомитесь». С первого взгляда красавица Шейна (Елена) почувствовала влечение к молодому человеку; тот рассказал ей о войне с матерью. «Но сегодня я знаю, для чего терпел и семь лет служил, как Иаков за Рахель».

Семья Эльяшевых тоже насчитывала в родословной несколько поколений раввинов. Бабушка Хая-Сара относилась к типу «эшет-хайл», «энергичной женщины»: вела дом, торговала в магазине, расположенном в нижнем этаже дома, воспитывала восьмерых детей, создавая мужу, как было принято, условия заниматься «высшими вопросами». При этом бабушка не упускала случая подчеркнуть, что все в доме делается по слову мужа. Когда выросшие дети собирались за большим столом и вели шумные споры, она внимательно слушала и никогда не вмешивалась.

2. Двинск

После свадьбы чета Штейнбергов переехала в Двинск, где жила со своей семьей старшая сестра матери Рахель Бёрлин. Первые 12 лет (1891—1903) Аарон с родителями и братом жил в этом русском городе на границе Литвы и Белоруссии. Свое детство он вспоминал, как потерянный рай. «Люблю свое детство так, как могут любить его лишь на склоне лет» 18.11.1909. Братья чувствовали себя одинаково органично в еврейской и русской культурах одинаково.

В состоятельных еврейских семьях Литвы было принято давать детям традиционное образование с помощью домашних учителей и общее — в гимназиях и университетах. Языками общения были идиш и русский, серьезно изучался иврит. Аарон помнил теплую атмосферу детства: няню, «преданную католическую монашку Агату», своего первого учителя. «...рабби Йона заинтересовался учением о странстве и времени, как оно изложено было в приложении к газете на разговорно-еврейском языке. Поражен, недоумевает и втягивает меня, малолетнего ученика, в свои недоумения» («Последний почин». 1974).

Братья Исаак-Ицхак и Аарон были не похожи друг на друга: старший прекрасно ориентировался в реальности, младший фантазировал. «Какое тебе дело до кошки! — оборвал меня брат в Дуббельне на даче в 1901 г., когда я старался очистить подоконник от осколков, грозивших повредить лапки серо-белой кошки...» Даже такие понятия, которые не принято представлять зрительно, являлись Аарону в пластических образах. В 7 лет он увидел, что «там, где стоит нянин сундук и небольшой шкаф, как бы сидит и витает в воздухе некто, в ком я сейчас же узнаю Бога. Он подобен шару, а на шаре второй небольшой шар, и я думаю, этот второй шар — его голова...» 18.2.1910.

Двинское детство проходило в учении и общении с друзьями⁸. Братья готовились жить в открытом мире: «узнали, что, кроме евреев, в городе жили старообрядцы, поляки и даже литовцы; на той стороне Двины, в Тривэ, располагались еврейские ешиботники, которые задирались с городскими евреями и обзывали их „двинскими свиньями“, поэтому, когда наступала зима, на замерзшей Двине были большие драки между гривскими и двинскими мальчиками <...> Короче, это не просто город, это большой мир с мирочками, разделенными наречиями»⁹.

⁸ См. ниже: «Мой двинский друг Шломо Михоэлс».

⁹ Ицхак Нахман Штейнберг. Дер менш. Зайн ворт. Зайн ойфту, *ibid.*, с. 25—26.

3. Пярну. Гимназия.

Штейнберги жили в Москве, но для среднего образования братьев отправили в эстонский город Пярну, директор гимназии которого разрешал ученикам-евреям не писать в субботу.

Пярну был городом многонациональным. Главным впечатлением для мальчика, как он вспоминал впоследствии, были революционные вихри, в которых нужно было разобратся, используя все возможности: книги, беседы со знакомыми, с либеральным директором, братом и пр. Подросток хотел активно противодействовать злу, но совместить погромы, монархизм, марксизм и революцию было невозможно. Штейнберг считал, что именно тогда произошло раздвоение «Я» «на автомата, не разбирающегося в мотивах своих действий», и «наблюдателя, холодного и беспристрастного». Тогда «сама реальная революционная стихия отступила как бы за окраину моего сознания, и место ее заняла Философия»¹⁰. На самом деле все было не так просто.

4. Гейдельберг. Университет

Весной 1907 г. вместе с освободившимся из ссылки Исааком Аарон впервые совершил путешествие за границу, в Швейцарию, потом в Гейдельберг. Через год, после окончания гимназии, он поступил в знаменитый университет сразу на два факультета: философский и юридический. Живописный городок в центре Европы привлекал молодежь близостью к культурным центрам, атмосферой интеллектуальной свободы, идеальными условиями комфортабельной и дешевой жизни. На легендарной «философской тропе» («Philosophischer Weg»), где в свое время прогуливались Гете, Brentano, Эйхендорф, теперь встречались молодые люди

¹⁰ См. ниже: «К Архипелагу начала века».

из десятка стран. В столице баденской школы неокантианства работали два знаменитых профессора: Вильям Виндельбандт и Генрих Риккерт. Аарон изучал не только мировое философское наследие, но и конкретные науки — так воспитывал братьев их учитель р. Залман Барух Рабинков (1882—1942)¹¹, специалист по Талмуду, сам посещавший лекции университета.

С одной стороны, Штейнберг был обычным студентом: «Я набрал работы без конца, пишу диссертацию, службу по выборам в колонии, много встречаюсь с людьми, переписываюсь» 6.1.1909. С другой, он не собирался становиться ученым, профессором, он мечтал служить «Прекрасной Даме философии», чтобы «угадать устройство мира и создать его модель, зеркало космоса, логического и физического» 30.8.1910. Максималист Штейнберг был уверен в своих исключительных возможностях: «Я для великого рожден»; для философа кантианского типа нужно освободиться от «обыденности» и любовью идентичности. «Я не принадлежу ни одному народу, ни одной семье, ни одному поколению или возрасту» (20.6.1910).

Насколько эти максималистские цели оказались достижимы? В 1910 г. у молодого человека был роман с юной москвичкой Соней Кантор. После длительной переписки девушка спросила: правда ли, как говорят вокруг, что он любит ее? «...я ей ответил, что люблю ее просто и бескорыстно, а потому не может быть речи о влюбленности».

Иначе развивались у него отношения с Эсфирью Эльяшевой-Гурлянд (сестрой матери). «От Э[сфирь] получил совсем нежные письма, и я тоже пишу ей совсем нежно: мы очень, очень любим друг друга <...> Мой нежный и необыкновенный роман открыл мне целый мир сказочных увлечений. Я могу с правом говорить уверенно о многом в себе» 17.10.1912. Эмоции выходят из-под контроля, Аарон задержался в Ковно настолько, что не успел представить в универ-

¹¹ Н. Портнова. «Господин Рабинков». Лехаим. М., 2010, № 1.

ситет диссертацию по философии (и остался лишь доктором права).

О «многом в себе» свидетельствует записанная в блокноте «Опыты 1909—1910 гг.» «сказка» (басня) **«Как на мудреца-журавля оказалось довольно простоты»**. Длинноносый журавль решил стать не как все: «как пошло лететь в толпе, выстраиваться треугольником, слушаться команды». «Я философ, я — философ, я — философ, — твердил он уныло про себя». В конце концов, не выдержав холода, мудрец-журавль присоединился к последнему улетающему каравану.

Штейнберг боролся с искушениями, отвлекающими от философии, например, с поэзией¹². «Иногда бьешься бьешься над каким-нибудь философским вопросом, <...> а тут промелькнет вдруг облачко на закатном небе — напишешь строчку-другую, и кажется тебе, что никаких проблем и не существовало» ЛА, 33. Чтобы исключить риск, он обратился за советом к В. Брюсову. Тот просмотрел присланную тетрадку стихов и большого таланта в них не обнаружил. «Его критика не положит заметной грани в моем стихотворстве», — уверял себя Штейнберг, но сочинять философские стихи перестал. Стать писателем он тоже не собирался: публичность мешает поискам истины, да и воображение противоречит разуму.

Углубленность в «чистую философию» несовместима также с общественной активностью. Но когда группа выпускников 1909 г. инициировала «Логос», проект соединения западной и русской философии, Аарон проявил собственную инициативу. Он решил познакомить Европу с Львом Шестовым, российским певцом трансценденции. В мемуарах он описал их встречу в 1911 г., когда очень быстро была «преодолена двадцатипятилетняя разница» между «мальчуганом» и знаменитым философом. ЛА, С. 232—236. Хотя попытка опубликовать перевод в немецком изда-

¹² См. ЛА. Приложение II, с. 277—286.

тельстве не удалась, но идея культурного посредничества захватила Штейнберга на всю жизнь.

Не связаны были с мессианством и научные дебюты Штейнберга. Заметив «искреннюю серьезность» юноши, Брюсов написал редактору «Русской мысли» П. Струве о «юноше-еврее весьма интеллигентного вида» и рекомендовал послать его на IV Философский конгресс в Болонью в качестве корреспондента журнала. Начиная с 1911 г., в периодике стали появляться отчеты Штейнберга о конгрессе, обзоры новинок немецкой эстетики, рецензии; все они отличались зрелостью мысли.

Главным итогом университетских лет Штейнберг считал открытие в себе разных возможностей. На вопрос Б. Рассела, чему научил его Гейдельберг, он ответил: «Я научился там тому, что человеческая воля свободна» ДА.109.

5. Раппенау. Размышления

18 ноября 1914 г. российские подданные получили приказ покинуть город. Несколько соотечественников-студентов были интернированы в баденскую деревню Раппенау. Было запрещено покидать место водворения; в остальном молодые люди были свободны. А. Штейнберг ведет кружок самообразования, читает лекции. «С войной для меня взошла старая звезда. Я как-то снова уловил выскользнувшую было нить». Но разрыв прежних связей переживался тяжело. Трижды Штейнберг убегал из деревни, «отлучался». В первый раз — для встречи с учителем Рабинковым (10—12.4.1916); второй, по официальному разрешению магистрата, — в Гейдельберг к Георгу Лукачу. Третья «отлучка» произошла без реальной цели, в день Искупления. «Во время молитвы во вторник вечером мне показалось, что мое время пришло, и я решил, не откладывая, отправиться в путь, о котором так давно мечтаю». «Свобода» оказалась мышеловкой, беглец был возвращен домой, а после этого

последовало, как он выражался, официальное признание его «невменяемости».

Штейнберг пересмотрел и передумал многое. Но полной сосредоточенности на «чистой философии» не получалось. «Эти дни прошли целиком за Платоном, теорией научного познания и бомбардировкой Verdun'a». Если ввести европейскую катастрофу в свою ценностную систему, пропадут «глубины души»; если уйти от нее, можно потерять «настроение жизни» и стать тем длинноносым журавлем.

В Раппенау Штейнберг научился ценить неповторимость личности другого; утратили смысл исключительность и отшельничество. Теперь он мечтал о кружке единомышленников-философов, вместе с которыми можно работать над духовным переустройством мира.

Сразу после заключения Брестского мира А. Штейнберг вернулся в Россию и поселился в Петрограде. Он включился в создание многочисленных новых культурно-просветительских учреждений, читал лекции в Петроградском Еврейском университете, в ОПЕ (Обществе Просвещения евреев), в Еврейском этнографическом обществе. Здесь произошло его знакомство с С. М. Дубновым, дружбе с которым предстояло большое будущее. Сблизившись с группой «скифов» (А. Белый, Р. В. Иванов-Разумник и К. Эрберг), Штейнберг стал одним из организаторов такого сообщества, о котором мечталось в Раппенау, — Вольфила. Ученый секретарь ассоциации, руководитель отдела «чистой философии», он стал своим «вольфильским философом»¹³. Его концепция единства и исторической непрерывности пополнилась новыми идеями: «всеединства», «русского социализма», будущего слияния национально-культурных миров.

Наряду с другими докладами, Штейнберг прочел самый лучший, по оценке Иванова-Разумника, доклад «Достоевский-философ» (16 и 23 октября 1921 года). С. Булгаков,

¹³ Белоус В. Г. Вольфила, или Кризис культуры в зеркале общественного самосознания, *ibid.*, с. 307.

В. Соловьев, Д. Мережковский, Вяч. Иванов уже рассматривали Достоевского как писателя, герои которого живут в мире идей. Штейнберг возводит эту черту в принцип мышления: «У него весь мир замыкается в идее идей. Когда он говорит о русском народе, он говорит об идее этого народа... Когда он говорит о современности, он ищет, в чем заключается идея современности...» В переработанном книжном варианте Штейнберг писал о губительности режима, в котором невозможно свободное философствование¹⁴.

Вольфильские годы стали для него и «Логосом», и Философским конгрессом, и практикой университетского преподавания. Он впервые жил нераздвоенно, был согласен с собой, дневников не писал. Когда насилие режима перешло в открытую форму, стало очевидно, что «Вольфила» обречена. 29 ноября 1922 г. Аарон Штейнберг покинул Россию под благовидным предлогом углубленных занятий философией в Германии.

6. Берлин. Эмиграция

Приехав в Берлин, он столкнулся с эмигрантской суетой и сбежал от нее в уютный Гейдельберг. Там он не столько занимался наукой, сколько обдумывал сделанное и будущее, для чего возобновил «по старой привычке дневник». «Мне уже скоро тридцать два года, а в двадцать я собирался перевернуть мир или, на худой конец, пристрелить себя». 24.5.1923. Штейнберг собирается начать жизнь заново, непременно следуя «закону глубины».

¹⁴ «Режим террора, провозглашающий произвол эмпирического законодательства абсолютным законом объективного исторического становления, не может не кончиться самоумерщвлением. Не только отдельный человек, но и целое общественное течение должно кончиться самоубийством, когда его идеология абсолютизируется». А. Штейнберг. Система свободы Достоевского. Берлин, 1923, с. 127.

Осмысление своего пути происходило не только в дневнике, Штейнберг написал повесть «История одного открытия». В ней подвергались оценке собственные поиски и заблуждения, но не совсем собственные, ибо никак нельзя делать книжку из своей жизни, считает он. Ричард Иванович Корн, романтический волевой юноша, решил посвятить себя разгадыванию человеческих душ. Для этого он бросает понятную инженерную специальность и любимую девушку, на долгие годы закрывается в своей лаборатории почерков, чтобы усовершенствоваться в таинственной и модной графологии. Штейнберг был согласен с Г. Когеном, который считал, что душа — не объект науки; герою не удастся понять даже самого себя — значит его успехи диагноста — мнимость. Ричард Иванович принимает решение вернуться к людям и к обычной жизни — может быть, в том будет его спасение? В декабре 1923 г., поставив точку, Штейнберг уезжает от своего одиночества в Берлин, как и его герой. Под текстом — две подписи: *А. З. Берг* и *Dr. A. Steinberg*; автор явно раздвоился: он как автор и он в жизни, живущий по такому-то адресу.

В Берлине, в бурлящем котле эмиграции, Штейнберг начинает работать в разных областях: как издатель, редактор (Еврейской энциклопедии на идиш), журналист, переводчик (10-ти томной «Всемирной истории еврейского народа» С. Дубнова). Если в Петрограде работа для еврейского просвещения была на втором плане после Вольфицы, то в Берлине она стала первостепенной. Не пропадала связь с петроградскими друзьями: «память о последних питерских годах живет во мне непрестанно, и на расстоянии я еще больше ценю наш небольшой кружок, цепляясь за который мы благополучно переплыли через эти годы»¹⁵. Штейнберг продолжал общение с ними — в переписке и публичной полемикой. Самой достойной реакцией на интеллигентный рус-

¹⁵ Из письма А. Штейнберга К. Эрбергу от 25.2.1925. IN: А. Белый и Р. Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998, с. 330.

ский антисемитизм стал «Ответ Л. П. Карсавину»¹⁶. С. Дубнов отмечал роль культурного посредничества, которую выполнял Штейнберг: «Я почувствовал, что именно этот молодой человек призван быть посредником между нашей восточно-еврейской и западной интеллигенцией»¹⁷.

Ежедневная плановая работа: встречи, переводы, статьи («В упряжку, конек-горбунок! Лямку, лямку тяни») и многолюдство («людизм»), — заполняли все время. Для литературных опытов оставались редкие перерывы. Летом 1931 г., во время отдыха в Праге, была написана притча-парабола «Достоевский в Лондоне», оказавшаяся актуальной и опубликованная¹⁸. Русский писатель приезжает в Лондон не для встречи с Герценом, как трактуется обычно этот эпизод, а на Всемирную выставку (1962 г.). Лидеры европейской идеологии ожидают услышать от него, что ожидает человечество, достигшее таких технологических высот. Знаменитая русская идея «всеединства» уже не спасет, в чем убеждается сам писатель. Но только страдающий припадками Достоевский не снимает с себя ответственности за происходящее. Гарсон: «Кому из джентльменов угодно будет платить? Достоевский поспешно вытаскивает кошелек: «Я! Я! За все, за все я расплачиваюсь!»¹⁹

В 1932 г., параллельно плановой работе, Штейнберг взялся за продолжение романа «Во рву гибельном», наброски которого были сделаны еще в Гейдельберге в 1923 г. «Работа идет лучше. Результат того, что по вечерам с увлечением пишу «Гибельный Ров», иногда до 2-х и 3 часов ночи. Уже новые знакомые мои сняты и мерещатся» (22. 11.1932). В Берлине написаны 3 главки первой части романа. У сверхзанятого посредника между культурными мирами для его

¹⁶ IN: Версты. Париж. 1928, № 3.

¹⁷ С. М. Дубнов. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. Вступ. статья и комментарии В. Е. Кельнера. СПб., 1998, с. 502.

¹⁸ А. Штейнберг. Достоевский в Лондоне. Повесть в 4 действиях. Берлин. Парабола. 1932.

¹⁹ Там же, с.35.

продолжения не было времени, но сам «запрет» на писательство смягчен.

7. Лондон. Вторая эмиграция. Итоги

Осенью 1934 г., когда евреи Берлина лихорадочно искали убежища, А. Штейнбергу удалось оформить для себя лондонскую визу. Первое время он помогал брату продолжать издание идишского еженедельника «Дос фрайе ворт», писал обзоры, рецензии и статьи. С. Дубнов подбадривал из Риги: «Развивайте «свободное слово» в век, враждебный свободе, который надеется на нас»²⁰. Но скоро издание прекратилось из-за отсутствия читателей. Штейнберг закончил работу над сокращенным 3-х томным вариантом дубновской «Всемирной истории еврейства» и, не загруженный, как ранее, вернулся к роману «**Во рву гибельном**».

Замысел был универсален: «Думаю о времени и о „хорошем человеке“. Не точно: о времени я думаю, но о человеке тоскую, именно тоскую. Из скорби должна родиться радость. Пусть когда-то позже, но непременно, непременно» 31.5.1932. Классический роман не подходил, ибо он «предполагает наличие завершенных форм народной жизни»²¹. Свое представление о жизни, ее многосложности и единстве, автор проиллюстрировал рисунком: три наложенные друг на друга круга. Подзаголовок: «Повесть в трех кругах».

Быть разным и оставаться единым, самим собой — таким предстает главный герой романа Иван Митрофанович Мелютин, проживающий в Берлине эмигрант. То он «великомосковский практик и любитель удобств», то «круглого-

²⁰ См. Семен Дубнов. Письма редакторам «Дос фрайе ворт». Подготовка текста и предисловие Н. Портновой. Лехаим. 2008, № 9.

²¹ Об этом же Штейнберг писал в своей поздней книге о Достоевском. «Можно сказать, как бы парадоксально это ни звучало, о невозможности дальнейшего русского романа. Только ли романа? Только ли русского? Черновой вариант к книге «Dostoevsky by A. Steinberg. *ibid.*, box VII.

ловый созерцатель затуманенных картин», то «бледнолобый чужак», «проживающий по паспорту гражданина вселенной», то торговец папиросами на бойком углу... В гостях у присяжного поверенного Клементия Лазаревича он тоже играет роль — суетливого просителя «сотенки» — но верен себе, когда решительно отказывается участвовать в аванюре с изготовлением «фальшивых бумажек». Во «рву гибельном» человек обречен на раздвоение-растроение и пр., но встретив близкую душу, интеллигента и идеалиста Михаила Артемьевича Незнамова, он счастлив: с ним можно быть самим собой.

Самое интересное, что внес Штейнберг в тему «русский человек в эмиграции», — ответ на вопрос, как выживать в одиночку. Сидящий в городском саду герой проживает все разнообразие окружающего и внутреннего состояния вместе. Природа, дети, люди, щебетанье птиц, фигура полицейского, звуки и тишина... — все герой собирает в свой «частный музей». «...подумать только, какие это тебе сокровища препоручены, какие богатства — страны, города, люди и судьбишки с закорючками и без...» Цитатами из непрерывно текущей мысли Ивана Митрофановича названы и главы романа; истинная глубина жизни — именно оно, его сознание. Штейнберг создал прообраз такого «хорошего человека», который, в его картине мира, будет способствовать достижению главной цели человеческой истории: «участвовать в великой работе по освобождению человеческого духа от пут экономической гравитации, то есть, от чисто земных и физических условий человеческой жизни...»²²

Интеллектуальный роман Штейнберга мог бы стать заметным явлением в русской литературе, будь он завершен и опубликован. Но в первый лондонский год необходимо было заниматься исключительно оплачиваемой работой. «Все остальное я считаю второстепенным», в том числе, ро-

²² The Jewish scale of values. IN: Freedom of Expression. A symposium. London. Berlin. New-York. Sydney. 1944, s. 83.

ман, «работу абсолютно безгонорарную». Рукопись снова отставлена, прерванная буквально на полуслове.

Штейнберг пробовал себя в рассказах на идише, устраивал чтения. Слушатели были в восторге, но заинтересовать издателей не представлялось возможным.

* * *

Стабильность английской политики, в том числе по отношению к евреям, позволяла вовремя понять масштаб развивающейся трагедии. Когда «Объединение русско-еврейской интеллигенции» в Париже попросило у философа статью о Германе Когене для альманаха «Еврейский мир», он написал актуальное эссе, которое так и назвал: «**О самом важном**» (1937).

В своей оценке современности Штейнберг исходил из понимания «истории как целого». «Германское еврейство отброшено не на два или три десятилетия «назад», как это было при прежних поворотах исторических судеб, а на целые века». Он называет как внешние причины падения: «паралич нравственной воли в современном человечестве», так и внутренние: ассимиляция, заменившая религию национальной идеей. Штейнберг указывал на религиозную традицию как на историческую силу, которая ранее поддерживала и в будущем может поддержать еврейский народ, но не предлагал вернуться вспять; он надеялся на возрождение национального сознания и отмечал все обнадеживающие примеры его в разных странах. Лидеры «Объединения» М. Кроль и С. Познер были изумлены. Моисей Кроль писал, что автор преувеличивает пассивность еврейства и равнодушные других народов. Соломон Познер ответил так: «...у нас с Вами различный подход к явлениям жизни и проявлениям духа. Вы — философ религиозной складки, я — историк...» После полугода переписки рукопись была возвращена автору.

Как остаться философом во время войны? «Смута, смутное впечатление. Много бесед с С[оней]. Весь тугой узел — человек, как он есть и как он навеки описан в первых трех главах Книги Бытия. Одно слово: Я — сын Адама» (2.12.1944). Общественная активность все расширялась: введенный во Всемирный Еврейский конгресс в 1939 г., уже в 1940 г. он задумал учредить при нем Департамент культуры, главой которого был назначен. Штейнберг открывал издательские центры и журналы, инициировал организации и фонды, читал курсы лекций по Достоевскому и Пушкину и т. д. Шесть языков, на которых он работал, доставляли его мысли в самые дальние общины мира. Там его принимали как «еврейского министра культуры».

Как воспринимал Штейнберг такой резкий отход от идеала поведения философа, принятого им в качестве нормы в юности? «Нередко чувство у меня такое, что я в таких делах играю какую-то кем-то придуманную роль. Но режиссер, автор пьесы («Моя Жизнь») и главное действующее на сцене лицо так ловко заменяют друг друга, что невольно напрашивается вопрос, не есть ли основная моя черта, а потому и главная моя роль, — чехарда с самим собою» (7.10.1951)? Недаром с самого начала он предвидел «многое в себе»; теперь оно полностью проявлено. На этапе такого широкого разворота возможностей можно допустить, что цель достигнута: «А может быть, я и в самом деле целостная личность?» Штейнберг постоянно проверял себя: «Где моя жизнь и где не моя? Входит ли еврейский народ в мою жизнь или я в его? Входит ли Россия в мою жизнь или я лишь ее изгнанник? Ношу ли я в себе живую связь с родом, человечеством или я всего лишь один из выродков всечеловеческой семьи?» 18.9.1966.

Так закончились философско-духовные поиски Штейнберга, не ставшего Мессией и спасителем человечества, не создавшего новую философскую систему, но победившего

в своем самосознании разорванность мира. Осторожно поверив в эту победу («в самом деле?», «может быть?»), он в 60-е гг. позволил себе (помимо дневников) словесно-литературное воплощение работы мысли, то есть то, в чем всегда сомневался: «можно ли выразить мысль в словах?» 23.10.1949.

* * *

Все написанное Штейнбергом в 60-е гг. за пределами научных сочинений: очерки, мемуары и воспоминания, философские экспромты, — располагается по отношению к дневнику как документально-автобиографической форме творчества. **Очерк** — жанр традиционный, к дневнику отношения почти не имеющий. Деятели прошлой культуры (Маймонид) и современники, друзья и члены семьи несли идею свободы, преодоления обстоятельств: брат Ицхак, племянница Адочка, дядя Исидор Эльяшев (Баал-Махшавот), двоюродный брат Шмуэль Эльяшив-Фридман²³, С. Михоэлс, Х. Н. Бялик, С. Дубнов и др. Они относительно объективны и обеспечены сюжетом — только личные встречи сближают очерк Штейнберга с авторской историей.

В очерке 1941 г. «Бялик и Баал-Махшавот. Иврит и еврейский язык» автор как персонаж лишь присутствовал, и то не всегда, на встречах. Встречались двое, ивритский поэт и идишский критик, и спорили на тему национального языка, которая остро стояла перед еврейской интеллигенцией еще в прошлом веке. У каждого из собеседников свои доводы, но оба понимают, что выбора у них по существу не было. «Иврит и идиш обручены на небесах, и их не разлучить», — сформулировал Бялик позже, в 1927 г. Беседы, быстро обнаружившие общие культурные корни, полное взаимопонимание приводят к творческим открытиям. Критик проникает в тайны творчества Бялика тут же, на садовой

²³ При переезде в Палестину Самуил Фридман, как было принято, слегка гебраизировал фамилию матери.

скамейке. Оба довольны сближением и планируют содружество... В любых условиях, — хочет сказать Штейнберг в начале мировой войны, — еврейская литературы не должна потерять своего двуязычия, сохранить диалог, как это сделали когда-то Бялик и Баал-Махшавот.

О создателе еврейского театра Штейнберг писал несколько раз. Впервые, сразу после получения телеграммы о кончине Михоэlsa, — небольшой некролог, включавший воспоминания «**Solomon Mikhoels, the artist and man**» («Соломон Михоэлс, художник и человек»). Наследия, заложенного в детстве артиста, хватило на всю жизнь.

Очерк «**Мой двинский друг Шломо Михоэлс**» написан для идишского журнала „Goldene Keyt“, отметившего память убитых еврейских писателей (1962)²⁴. Штейнберг уже знает много о друге детства и рисует сложный драматический портрет. Первая «встреча» — рассказ о непреходящем счастье. Шломо Вовси воплощал талант, ум и доброту. Вторая встреча состоялась в 1943 г. в официальной обстановке турне Председателя Антифашистского комитета, когда Михоэлс играет не им написанную пьесу. «То ли это театр, то ли искусство пропаганды?» — размышляет автор. Потом еще одна встреча, когда посланник русского еврейства «прерывающимся от пенящейся страсти голосом» кричал журналистам о еврейских страданиях. Кто же на самом деле его давний друг? Для окончательного ответа Штейнберг перечитывает сборник статей С. Михоэlsa, думает и приходит к выводу, что «чистое сердце и добрая душа» — наследие детства — перевешивают.

Очерк «**Мой двоюродный брат Самуил**» (1973) был написан для «Книги памяти»²⁵ израильского дипломата

²⁴ Хайфский профессор Ш. Лурье включил очерк в сборник идишских сочинений философа, а затем перевел его на иврит: Aaron Steinberg. Chaveri mi Dvinsk Shloma Mikhoels. IN: Khulyot. Haifa, 9, Kaiz 2005, y. 375—387.

²⁵ Shmuel Eljashev. Tel-Aviv. 1974, p. 10—20. См.: Нелли Портнова. В зеркале некролога. О Шмуэле Эльяшине (Фридмане). Лехаим, 2010, № 4.

Ш. Эльяшвива-Фридмана (1899—1955). Штейнберг писал, что без свидетельства об истоках личности человека невозможно понять его дальнейшее движение. История о том, как двоюродный брат продолжал традиции и таланты нескольких поколений, когда происходили «слияние Карлина и Ковны», «согласование изящного с вещим», представлена в ряде характерных сцен. Узнавание героя происходит не только через встречи с ним самим, но на ярких встречах с его окружением: вот «момеры» тети Сони, ковенский дед, входящий в столовую с Львом Толстым в руках... Потому и сам Шмуэль распевает украинские песни на тель-авивской набережной. Штейнберг приготовил вариант очерка на русском языке, надеясь, видимо, его опубликовать.

* * *

Дневники последних лет теряли постоянство подневных записей. Внимание пишущего иногда останавливалось на каком-то эпизоде, и начинал закручиваться сюжет. Он называл эти экспромты «связными повестями из моего прошлого». Одни из них оставались внутри дневника («Списки», «О зависти»); другие обособлялись и переписывались на отдельные листы («Мое грехопадение», «Letters to Mrs S. Steinberg...»); эссе «Об иллюзиях» представляет собой дневник и автобиографический рассказ вместе. Иные отступления послужили зародышем будущих портретов в составе книги²⁶.

[Списки]. Дневниковая запись от 20 января 1965 г., казалось бы, — дань авторской педантичности, но она продиктована той же целью, которая реализовалась в очерках, но на своем примере. «Инвентаризация» жизни в ее проявлениях и интересах должна усилить рациональное начало самооценки, пролить на нее свет объективности. Производится она совершенно спонтанно: в перерывах между встречами,

²⁶ Например, отдельной главой стал портрет М. Горького, частью главы — портрет И. Замятина в «Литературном архипелаге».

после деловых разговором, во время ожидания книг в Британском музее, перед сном... — таково условие экзистенциального поведения; мысль рождается и развивается в повседневности.

Одна из общечеловеческих тем обсуждается в эссе «**О зависти**». Кажется, что господствует случайность; любая мелочь может подтолкнуть к рефлексированию. Например, «серенькое перо» умершей жены способно превратить обычную дневниковую запись в исповедь и поминальную молитву, потом продолжиться историей Виктора Юльевича, а на следующий день оформиться в план любого расследования: «рассказать и пояснить, а затем проверить на своем опыте». В результате образуется необычный жанр, в котором сплетаются исповедь, психологический этюд и воспоминание. Документальность осталась, но это уже не дневник, а философская проза.

Письма покойной жене не то происходят из дневника, не то имитируют его. Помощница А. Штейнберга по ВЕКу Анна Клаузнер, приводя в порядок его архив, озаглавила блокнот по адресату: «**Letters to Mrs S. Steinberg...**»²⁷.

Аарон Штейнберг познакомился с Софьей Владимировной Розенблатт (1885—1966) в юности, в период работы обоих в Наркомпросе. В Берлине они встречались каждый день, она переписывала его работы, редактировала, помогала в переводах. В Лондон Штейнберг уехал один, но ради того, чтобы спасти «лучшего друга» (иначе получить визу было невозможно), он предложил Соне статус невесты на особых условиях (ЛА. 26). Вскоре они поженились; Софья Владимировна была преданным другом и любящей женой.

Нежность, боль и страдание переполняют «письма» до последнего слова; именно чувства, а не потребность в рефлексировании — энергия текста. «Моя неизменная нежность к тебе приобретает дар слова». Но перед нами не толь-

²⁷ Впервые: Аарон Штейнберг. «Дорогая моя Сонючка...». Письма к покойной жене. Публикация, предисловие и комментарии Нелли Портновой. IN: Новый мир. 2006, № 1, с. 127—141.

ко исповедь вдовца. Обдумываются две темы: загадка смерти и проблема взаимопонимания людей. Видно, что моменты молчаливого упорства Сони были давно и что они погасались ею, не допуская конфликтов. Материала для обвинительного приговора себе не хватает, и тогда вызывается тень Кроткой, подчеркивающей жертвенность Сонюрки. В то же время привлечение шедевра рискованно, ибо герой у Достоевского — мучитель и истязатель... Психологическая драма свободна от предусмотренной идеи, принцип бесконечности познания человека получает трагическое звучание неотменяемого личного опыта.

«**Мое грехопадение**» близко к психологическому рассказу, оформленному в четкую трехчастную конструкцию: введение-исповедь, сюжетная часть и обобщение. После бессонной ночи в «собственной исповедалине» автор начинает «систематизацию грехов». История из далекого детства дается как первое грехопадение. Психологически утонченно и динамично рассказывается о странной фантазии мальчика, решившего спрятать пальтишко понравившейся ему девочки как замену ее самой. Маленький герой переживает сложную гамму чувств: страх, томление духа («и говорить, и говорить...»), упоение внезапной мезтью («резать Женю ножницами на куски!»)... Когда обман разоблачен, наступает наказание в виде учения; так кончается абсолютная свобода, он теперь — ученик. В эпилоге все произошедшее Штейнберг относит к универсально-библейской истории: «все было так, как если бы я был в каком-то разрезе настоящим библейским Адамом». Миф о грехопадении и искуплении, появившийся впервые у евреев, объединяет человечество, в логике и смысле его развития, с рассказом Штейнберга. Экзистенциальное мышление в действии: тема греха — собственный детский опыт — универсализация его.

В эпилоге произошедшее в пятилетнем возрасте рассматривается в свете универсального понятия о грехопадении: «все было так, как если бы я был в каком-то разрезе настоящим библейским Адамом». Библейский сюжет грехопадения был общим мотивом Кьеркегора и Шестова.

Штейнберг представляет его пластично и тонко, соединяя времена и пространства (дома своего детства и библейской истории). В календаре от 19 февраля 1969 г. записано: «перед сном перечитывал свое „Грехопадение“ — действительно хорошо».

Каждый опыт философско-литературного размышления отличался своим строем. «Об иллюзиях» (1972—1973) — эссе-размышление. Тема заявлена вначале, и ее определяет афоризм: «Иллюзия думать, что можно жить без иллюзий». Далее следует неременная проверка опытом других. «Другим» может быть любой, в том числе М. Цветаева, цель жизни которой была «отдаваться вдохновению», а это иллюзия. Но тут же следует признание релятивизма этого утверждения. Ведь у него был и собственный опыт — «молчание памяти» об антисемитских преследованиях в гимназии. Возникает новый вопрос и обновление темы: правильно ли «держат взаперти долгие десятилетия реальные факты», то есть сохранять иллюзии? Без иллюзий «нельзя ни жить, ни умереть». Над единичным случаем возвышается универсальное время по еврейскому календарю, по нему живет вспоминающий и пишущий автор («9 Аба в потоке Второзакония», «Прошла Пасха, и промелькнули все семь недель до Пятидесятницы...»). В масштабе этого летящего времени однозначность отношения к иллюзиям невозможна.

* * *

Интеллектуальное путешествие Штейнберга началось в 10-е гг. формулированием грандиозной цели объять необъятное («дух мой отвечает мировым струнам». 3.3.1917), а закончилось «скромным» итогом 60-х, когда объектом исследования было объявлено «всего-навсего» собственное «Я», свое самосознание. Литературное сопровождение делало это движение более убедительным и наглядным. В первую половину жизни в литературных сочинениях производилось остранение таких особенностей мышления, как

диалогичность, свобода и динамичность. В очерках судьба героев напрямую выводила к кардинальной идее единства и многообразия — в культуре, в личности, в семейной традиции. Незаконченный роман «Во рву гибельном» показал героя, спасающегося от гибели непрерывным обогащением своего внутреннего мира. И, наконец, дневниковые (и à la дневниковые) экспромты позволяли увидеть мысль-идею в разных ракурсах, значит — всегда «дописывать» человека.

Как на мудреца-журавля
оказалось довольно простоты²⁸

Длинноносый журавль был философом по призванию: он ежегодно ездил за границу, гнездо свое строил не иначе, как поверх человеческих крыш, и с высоты его гнезда какими мелкими казались не то, что воробьи и куры, но даже люди!

— Пускай себе хлопочут, — говаривал часто журавль, выглядывая вечером из своего гнезда, что на гребне гумна, стоя на одной ноге и другую глубокомысленно приподняв кверху, — пускай! А я подумаю о более важном...

И так думать вечером после ужина, стоя на одной ноге и задрав другую кверху, для Длинноносого было сладчайшим удовольствием.

— Люди, куры, воробьи — не все ли равно? — сказал он однажды, изредка кидая презрительный взгляд вниз на двор хозяйской усадьбы, — только бы им поесть, попить да спать завалиться, а чтобы им на небо заглядеться, на закат залюбоваться — куда? И в помине нет!

И он усердно принялся ловить букашек своим длинным клювом.

— Главное — не быть как все, — продолжал он думать, — те там внизу, а я вот здесь, наверху, у них там, у людей этих, дома угловатые, безобразные, у меня дом круглый, прекрасный, как солнце и луна... И все так! — закончил он, и, щелкнув клювом, уселся спать.

²⁸ SC. Vox VIII.

Но однажды, когда Длинноносый возвращался с неудачной охоты порядочно голодным и в дурном настроении, ему пришла в голову удивительная мысль:

— Не быть как все — прекрасно! Но ведь я-то сам как все... журавли! Пусть люди пресмыкаются там где-то внизу, пусть куры и петухи сравнятся со мной не посмеют, но ведь сотни и тысячи журавлей живут так же, как и я: так же ежегодно ездят на теплые погоды, так же высоко живут над землей, строят такие же прекрасные жилища для себя и для своих детей, какой же я после этого философ? В эту ночь Длинноносому скверно спалось, но зато к утру он крепко заснул, а когда проснулся, летнее солнце стояло уже высоко.

— Кончено! — воскликнул он, — отныне порываю всякую связь с моими соплеменниками: пускай летят, куда и когда угодно: я с ними — ни шагу. Фи, как пошло лететь в толпе, выстроившись треугольником, слушаться команды... Отныне остаюсь я здесь вечным отшельником: философ так философ!

Когда в это утро журавль пролетел над двором, он не удостоил его даже взглядом.

Прошло лето, пришла осень; осенние вихри принялись общипывать журавля; стало холодно. Один караван журавлей за другим улетал за границу, громким криком зазывали они Длинноносого в компанию, но он твердо стоял на одной ноге, ежился от холода и ни звуком не отвечал на все их приветствия.

— Я — философ, я — философ, я — философ, — твердил он про себя.

Между тем осень не шутила и становилась все суровее и суровее; с тяжелых облаков от поры до времени стал сыпаться холодный, дьявольски холодный пух. Птичьи караваны все реже и реже оживляли серое небо.

— Что же это такое? Неужели в самом деле погибать? — с тяжким беспокойством думал журавль, и порывы ветра раскачивали его, как незащищенный тростник.

Наконец, ему это стало надоедать, до черта надоедать!

И вот однажды, после долгих тщетных ожиданий Длинноносый с радостью заметил быстро приближающийся караван.

— Мы — последние... Мы — последние, — протяжно кричали журавли.

Длинноносый вздрогнул.

— Философ! — и черт с тобой, — крикнул он в сердцах. И кто мог бы ожидать: взмахнув крыльями, полетел за пролетающим караваном.

— *Primum vivere, deinde philosophari!*²⁹ — вот золотое правило, — сказал он и поместился в хвосте треугольника.

Отсюда и идет поговорка.

²⁹ Прежде всего — жить, потом философствовать! (*лат.*)

История одного открытия³⁰

Доктор Корн уже не спал. Из-за леса на вершине синего Блауена, что по ту сторону Ульського озера, блеснул золотой край восходящего солнца, и осенняя земля: сады, луга, полузаброшенные поля и круглые, как чаша, озера, — дружно закалили ему навстречу прозрачными и летучими туманами.

Облокотившись на подушку, доктор Корн широко раскрытыми глазами смотрел в высокое трехстворчатое окно, выводившее на озеро и горы, и губы его чуть-чуть шевелились от неслышного шепота. Сегодня, 21-го октября, Ричарду Ивановичу предстоял трудный день. Как бы добрым предзнаменованием отозвалось в душе его торжественное начало.

Ричард Иванович Корн был сын немца, эмигрировавшего в Россию, и столбовой пензенской дворянки, больше всего гордившейся своим званием «домашней учительницы». Как и отец его, он еще в школе решил пойти в инженеры, и действительно, окончив гимназию, он с необычайным жаром стал заниматься сразу увлекшей его металлургией. Его чуть ли не благоговейное отношение к лекциям и к работе в лаборатории невольно вызывало улыбки и шутки товарищей, но малопонятно было оно и его родным, да и сам Ричард Иванович очень затруднялся каждый раз, когда его спрашивали, что, в сущности, его так увлекает.

— Меня больше всего интересуется человек, — часто отвечал он как бы заученной наизусть фразой.

— Да разве человек стальной что ли, или чугунный? — удивлялась мать.

— Чудак!.. Немец!.. — решили товарищи, очень, впрочем, любившие «Корнягу» и беспримерно его уважавшие за рыцарски-прямой нрав и совершенно исключительную работоспособность.

³⁰ SC. Vox VII.

Отец интересовался больше результатами, нежели мотивами и, когда выяснилось, что перед молодым Корном открывается блестящая профессорская карьера, он совершенно успокоился.

— Надо только, чтобы ты имел германского «доктора-инж.», — говорил он иногда сыну, — это может оказаться очень полезным в будущем. Никогда нельзя знать, что будет с Россией.

В начале 900-х годов такого рода сомнения в душе старого инженера-путиловца были более чем понятны, а сын, «больше всего интересовавшийся человеком» и целые дни, а перед выпускными экзаменами и целые ночи напролет проводивший над металлургическими сплавами, без всякого сопротивления согласился последовать совету отца. К тому же после смерти матери, не перенесшей воспаления легких, большая квартира Корнов на Захарьевской казалась особенно пустынной и мрачной, и Ричард Иванович особенно рад был случаю переменить обстановку. На прощанье отец и сын крепко пожали друг другу руки. Решено было, что Ричард Иванович вернется в Петербург не иначе, как с докторским дипломом в кармане.

Однако старому Корну не суждено было больше увидеть своего единственного сына. Телеграмма известила уже закончившего в Дрездене свой докторский проект Ричарда Ивановича о трагической гибели отца при несчастном случае на верфи, и молодой Корн, немедленно выехавший в Россию, еще успел застать на столе совершенно изуродованное в клоушьа тело старика. После похорон Корн принялся лихорадочно за ликвидацию наследства. Немногочисленные друзья (Корны всегда жили очень замкнуто) усиленно помогали ему, и через несколько недель Ричард Иванович уже снова был в Дрездене. К металлургии он как-то сразу охладел, но счел своим долгом перед памятью отца довести до конца свой экзамен. Получив диплом, он скорее после этого купил в Шварцвальде, неподалеку от швейцарской границы, небольшой участок земли, на котором по собственным планам

выстроил виллу с широким видом на Ульское озеро и зажил совершенным отшельником. Ричард погрузился целиком в свои новые изыскания, очень далекие, кстати сказать, от прежней его металлургии. Единственным живым существом, с которым он постоянно общался, был старый, переживший всех своих детей и внуков вдовец Франц Шмидт, ежедневно приходивший из соседней деревни убирать и готовить.

Но сегодня, 21-го октября, в день смерти отца (это была уже двенадцатая годовщина) в доме доктора Корна не должен был появляться даже старый Франц. Этот день Ричард Иванович всегда справлял совсем по-особенному.

Еще в раннем детстве на маленького Чарди, как звал его отец, произвела большое впечатление одна фраза из разговора родных, случайно услышанная им.

— Ты оставляешь слишком много воли своим нервам, — говорил отец матери. — У человека должны быть стальные нервы. В этом его честь. Когда маленький Чарди будет большим Рихардом, я хочу, чтоб у него были стальные нервы. Мужчины не должны заниматься музыкой...

— Но, Ваня, Чардик так любит музыку. Еще сегодня, на Литейной, когда мы гуляли перед обедом, он ни за что не хотел уйти от ворот — так уцепился за тумбу. Все из-за шарманки. Я, право, через силу его увела, и он так огорчился, так огорчился...

— Вот вследствие этого я и говорю...

За ужином всегда тихий и неразговорчивый Чардик вдруг спросил:

— Мама, что такое «нэрфи»?

— Нервы! — поправила мать.

— Нервы, — объяснил отец, — это знаешь, у тебя есть такой паяц — ниточки, за которые, если потянуть, то двигаются руки и ноги или голова. В человеке тоже есть такие ниточки — вот почему ты можешь поднимать ручки и ножки и на-

гибать головку, когда говоришь: «покойной ночи, мамочка»...

Назавтра Чардик уже с утра принялся за своего паяца Митьку. Он откуда-то раздобыл кусок электрического провода и, перекусив ниточки, стал продевать проволоку в красного Митьку. Из этого ничего, конечно, не вышло, и няня потом очень бранила Чардика за то, что он такой шалун и зря искалечил доброго Митеньку.

Но мысль отца глубоко запала в маленького Чардика, и уже в гимназии, представляя себя взрослым, он каждый раз невольно сжимал кулаки:

— Не стальные, а никаких у меня не будет!

Высокий, тонкий восьмиклассник, бледный и редко улыбавшийся, со всеми был вежлив, предупредителен и внимателен, но друзей среди товарищей у него не было: не то он сторонился, не то его сторонились.

— С «профессором Корном» шутить опасно! — говаривал весельчак и балагур Малышев, искренно восторгавшийся в душе «симпатичнейшим Личардой». «Непременно познакомлю его как-нибудь с сестренкой, — решил он про себя. — Она тоже вечно копается в каких-то там вопросах. Господь их душу ведает»...

Вера Малышева скоро действительно стала единственным другом задумчивого Корна. Ей он доверил свою заветную мысль.

— Видите ли, Вера, люди страдают от того, что не знают ни себя, ни других, даже самых близких. Разве Миша Вас знает? Я, например, заметил, как папа с мамой разговаривают. Представьте себе! Они говорят так, как если бы говорили на совершенно различных и непонятных друг для друга языках. И притом — самое интересное: они сами этого ничуть не замечают. Им кажется, что они отлично понимают друг друга. И знаете, отчего это? Это оттого, что они не понимают самих себя. Вы думаете, что папа себя понимает? Вы ведь видели его уже несколько раз... Почему, например, папа остал-

ся в России, которая ему, в сущности, так чужда? А мама — это такая сложная натура?..

— Вы хотите сказать, Ричард Иванович, что «надо познать самого себя?» Но, Боже мой, ведь давно известно, как это трудно...

— Конечно, трудно! И главное, еще совсем неизвестен настоящий способ... Я всегда об этом думаю. За это я готов отдать всю свою жизнь.

— Но скажите в таком случае, Ричард Иванович, почему же вы, если вы философ, решили пойти в Технологический? Вам надо в университет....

— Нет, нет... Я, Верочка, имею одну мысль и я хочу ее проверить. Она мне самому еще не совсем ясна. Но мне кажется, что это правильный путь... В конце концов, человек все-таки составное целое, очень сложный, дьявольски хитрый и таинственный состав, но все-таки тут все дело в какой-то механике, даже химии! Именно химии... Я поступаю на металлургический. Почему говорят, например, о людях, что такой-то горяч, а такой-то холоден? Холодный ум!.. Ах, Вера, тут много страшно загадочного...

В студенческие годы Корн первое время часто встречался с Верой. У Веры открыли голос, и она училась в консерватории. Первое ее публичное выступление было очень удачно. Провожая ее с концерта, Корн был полон гордости и радости, а взволнованная Вера не сводила сияющих глаз с Ричарда Ивановича. Все крутом уже давно смотрели на них как на жениха и невесту.

— Милый Ричард Иванович, — сказала Вера на прощанье (швейцар уже широко распахнул дверь), — вы в последнее время что-то особенно молчаливы и грустны и как-то совсем не общительны. Приходите завтра обедать, а потом обновим санный путь. Ладно?

— Спасибо, Вера Михайловна, постараюсь.

III.

Решительный разговор состоялся на следующий день.

— Вера, — начал Корн, как только санки свернули на Набережную и в лицо им, отсвечивая свинцом, глянула отяжелевшая и полужастывшая от холода Нева, — Вера, — повторил он, — знаете, я вас боюсь...очень...

«Шутит он, что ли?» — Вера посмотрела на него сбоку, и крупные слезы навернулись ей на глаза. Ричард Иванович в своей меховой шапке и шубе сидел как-то особенно прямо, в длинных протянутых вперед руках он крепко сжимал вожжи, глаза пристально смотрели в пустынную даль, и у правого угла губ что-то судорожно билось и дергалось.

— Милый Ричард Иванович, что с вами?..

Корн долго молчал.

— Вера Михайловна, — начал он снова, — оставим эти детские привычки — мы уже не дети. Вы знаете, что я вас очень уважаю и люблю, и мы уже давно знакомы. Но скажите по совести: разве мы не остались совершенно чужды друг другу? Я скажу больше: чем чаще мы встречаемся, тем все дальше и дальше отходим один от другого. Вы, несомненно, считаете меня, как и все, чудаком и сумасбродом, а я... я очень люблю слушать, как вы поете, как вы смеетесь, вообще очень рад вас видеть... Но ведь это было бы ужасно, если бы мы так, совершенно чуждые, прожили всю свою жизнь... Вера Михайловна! Мне совершенно невозможно больше встречаться с вами. Я уже давно собираюсь сказать вам это.

Теперь Корн смотрел ей прямо в глаза. И последние слова он произнес уже совершенно спокойно и просто.

— Но откуда страх? Чего вы боитесь? Чем я вас так напугала?

— Не шутите, Вера, это очень серьезно. Я боюсь потонуть в своих сплавах. Я уже начинаю в них захлебываться. Вы-то ведь знаете, зачем я работаю. Но Господи, как же я далек от своей цели! Я еще ничего, решительно ничего не знаю: ни других, ни даже вас, и совсем, совсем не знаю себя. Неужели

мне суждено прожить в приготовительном классе? Теперь я на третьем курсе, и вдруг могло бы случиться, что я сделал бы вам предложение, и вы, может быть, не отказали бы мне... Вера Михайловна, ведь вы не отказали бы мне?..

— Нет, Ричард Иванович, я бы не отказала, — медленно и задумчиво прошептала она в ответ.

— И подумайте только — вся жизнь прошла бы в этой вечной дьявольской лжи! Инженер Корн, сын инженера Корна, стал бы, может быть, отцом еще одного инженера Корна и так далее без конца. Скажите, какой в этом смысл? Как могу я предложить вам свою жизнь, когда я не имею ни малейшего представления о том, что я такое, что такое вы, что такое человек вообще. Студент Корн! Скажите, пожалуйста, кто такой студент Корн?

— Студент Корн, Ричард Иванович, очень милый, — скороговоркой произнесла Вера, — но и очень несчастный человек.

— Несчастный? Нет, студент Корн не считает себя несчастным. Студент Корн будет решительно бороться за себя, и он просит вас, единственного человека, при котором он может говорить вслух, о некоторой помощи...

— Милый Ричард Иванович, чем же я могу вам помочь?

— Разрешите мне иногда писать вам, но я прошу вас: никогда, никогда не отвечайте на мои письма. Будет день, и Ричард Иванович придет к вам и скажет: Вот — я!

— Ричард Иванович... — но больше Вера ничего не могла сказать. У нее перехватило дыхание. У подъезда Корн крепко прижался губами к ее руке. Больше они не виделись.

Года через два Вере передавали, что Ричард Иванович с отличием кончил институт и уехал за границу.

Мысль о полном уединении явилась у Корна еще в поезде, когда он ехал в Петербург хоронить отца. В случае с отцом Ричарда Ивановича поразило больше всего то, как он сам отнесся к его смерти.

— Полнейшее безучастие! Значит, я и в самом деле совершенно один. К чему же вся моя работа? Меня никто, в сущности, не интересуется, а человек вообще, ради которого я потратил столько труда в эти шесть лет, очевидно, это просто напросто — я сам. Вся моя металлургия — это не что иное, как повод, чтобы убедиться, имею ли я настойчиво и решительно раз поставленную цель. Ну да, теперь я это знаю... и что же? Разве есть у меня уверенность хотя бы в том, что это моя способность никогда не пропадет? Сколько еще шестилетий я должен потратить, чтобы узнать еще какую-нибудь мелочь о себе, вернее, о своем прошлом, вроде этой? Станный я, право, человек! Я не только загадка для других (впрочем, какое им дело до меня) — я самая заманчивая загадка для самого себя. Ладно. Посмотрим, что дальше будет... и какая это чепуха — эта гимназическая мысль о человеческом сплаве... алхимия для маленьких...

— Ричард Иванович, ты стал за границей совсем деревянным, — сказал ему старый друг Корнов, дальний родственник со стороны матери, — не полезна, видно, нашему брату Европа.

Но Ричард Иванович вовсе не стал деревянным. Он с напряженным вниманием следил все время, что прожил на этот раз в Петербурге, за самим собой. Он старался в уме своем оживить мельчайшие подробности своего детства и юности. Часами просиживал он перед старыми фотографиями матери и перечитал все письма и бумаги, какие нашел в квартире. Но сердце билось спокойно и ровно, и все широко и плавно неслось мимо.

Однажды на улице ему бросились в глаза крупные буквы на афише: Вера Малышева! Он невольно остановился, стараясь что-то припомнить.

— Ах, да — это ведь Вера Михайловна... Верочка...

Эта неожиданная встреча поразила его особенно сильно:

— Вот я какой! Так забыть!.. (Его впервые охватил настоящий страх). Как мог я ни разу не вспомнить... Боже мой, от

какого несчастья я спас ее тогда после концерта... Бедная Вера!

Вернувшись в Дрезден, Корн всецело отдался обычной работе.

— Отец хотел, чтобы его сын был непременно Herr Dr. Korn — пусть так и будет. А что дальше — там видно будет.

После экзамена, однако, «доктор Корн» (так он часто сам стал называть себя в мыслях) совершенно не знал, что будет дальше. Вернуться в Россию он не собирался.

В эти недели, до того, как одно совершенно случайное обстоятельство сразу определило его дальнейшие планы, он стал серьезно опасаться за свой рассудок. Случай с Верой — это первое предостережение... «Размягчение памяти, — думал он, — надо поскорее убираться! Но разве мыслимо жить в абсолютно герметической закупорке и притом без всякого дела?», и он стал напряженно ждать какого-нибудь выхода из тустика, в котором его внезапно защелкнуло. «Суеверием делу не поможешь», — не раз говорил он себе в это время. Но выход неожиданно нашелся.

Перелистывая газеты в кафе, он наткнулся на объявление, которое сразу остановило его внимание. Гастролировавший в Дрездене «характеролог и графолог Конрад Стёрне» объявлял в очень убедительном для публики тоне, что он по почерку «берется безошибочно угадать прошлое, предсказать основные черты будущего развития и четко обрисовать характер подвергавшихся исследованию лиц». Корн тут же написал несколько строк по указанному адресу:

«Многоуважаемый господин Стёрне!

Прочитав в Дрезденском указателе № 341 Ваше объявление, посылаю вам эти строки для исследования. Заключение Ваше прошу прислать наложенным платежом на главный почтамт до востребования на предъявителя двадцатимаркового билета № 203413.

Остаюсь с совершенным уважением

Ваш Аноним»

Через несколько дней доктор Корн, заплатив 10 марок, получил следующий ответ:

«Многоуважаемый господин Аноним!

На основании ценных Ваших строк имею честь сообщить Вам, что в Вашем лице мы имеем, несомненно, дело с человеком очень высокой умственной одаренности, по всей вероятности, с ученым из какой-либо области точных наук, не лишенным, однако, философского склада и сильно страдающим при этом от своего замкнутого характера, обрекающего его на полное одиночество. В данный момент Вы пребываете, очевидно, в большой нерешительности относительно своих дальнейших жизненных планов. Состояние Ваше отчасти объясняется, быть может, пережитым недавно потрясением, если не ошибаюсь, в связи с гибелью близкого Вам человека. Холост, возраст между 25-ю и 30-ю. Представляю себе Вас худощавым брюнетом высокого роста с заметно удлиненными конечностями. За будущее Ваше не опасаюсь, хотя Вам предстоит много тяжелого. Большим подспорьем служит Вам Ваша сохранившаяся с детства простодушная религиозность и горячая любовь к людям. Вы осуждены оставаться вечной загадкой для самого себя.

Примите уверение в моем действительно искреннем почтении и душевной симпатии.

Ваш Конрад Стиерне».

Это именно письмо и определило окончательно дальнейшую судьбу Ричарда Ивановича.

К черту алхимия! Наконец-то я узнал, что делать. Эта продвнутая бестия, Стиерне, в тысячу раз умнее всех профессоров химии, взятых вместе, но он жестоко ошибается: доктор

Корн не останется «вечной загадкой для самого себя». Ты еще получишь когда-нибудь письмо от своего дрезденского Анонима и прочтешь, как и я, в конце: «К сожалению, Вы осуждены ошибаться в самом существенном, что, впрочем, объясняется легко Вашей большой склонностью к слишком поспешным умозаключениям. Примите и пр...» Да, да... Этому искусству я научусь, и ты сам подсказал мне, как разгадать «вечную загадку».

План дальнейших действий был составлен в один миг. Еще в тот же вечер Корн выехал в Тодмос, о котором он не раз подумывал уже и раньше, чтобы на месте разузнать о подходящем участке земли. К осени дом его был готов, и две просторные комнаты в нижнем этаже были сплошь уставлены книжными шкапами, этажерками и столами с альбомами и полками для бумаг. Старику Шмидту, с которым Ричард Иванович быстро сошелся, он объяснил, что эти комнаты — его «автодиагностическая лаборатория», в которой делаются опыты над человеческой душой. Шмидт рассказывал в деревне, что «русский господин», очевидно, занимается каким-то никому не известным предметом, и тут же прибавлял иногда, что «нас-то, конечно, этим не удивишь — когда-то и в Шварцвальде, говорят, водились ведьмы, но все они до единой должны были отступить перед светом науки». Он питал особую слабость к Священному Писанию и любил выражаться немного по-ученому. Впрочем, он очень уважал «господина доктора», считал его «высокообразованным господином» и только удивлялся порой его «расточительности»: Корн никогда, конечно, не проверял представлявшегося аккуратно каждую субботу счета.

Ричард Иванович принялся ревностно за свою новую науку. «Автогностика» увлекла его еще больше, чем без сожаления брошенная «психометаллургия». В доме его были собраны тысячи автографов и факсимиле, разнообразнейшие биографические материалы, чуть ли не вся мировая литература, огромное количество сочинений по истории, сотни альбомов с репродукциями портретов и картин, а поток самых

различных изданий, изо дня в день все больше заполнявший дом доктора Корна, все не иссякал. Деревенский почтмейстер всю получавшуюся почту делил на две неравные части: большую — для доктора Корна, и меньшую — для других. Часто «для других» совсем ничего не оказывалось. «Сегодня все для господина доктора», — как бы с гордостью сообщал он односельчанам.

К концу второго года под книги и другие материалы был отведен и весь верхний этаж. Уже добрая половина собрания Ричарда Ивановича была истрочена, но он не унимался. С необыкновенным даже для него жаром ушел он весь в свои изыскания. Он выработал себе особую технику памяти, особые приемы классификации материалов и строгую систему в работе. Его безлюдный дом наполнился целой толпой призраков: поэтов, полководцев, ученых, государственных деятелей, художников, и доктор Корн без устали ставил им свои диагнозы, прогнозы, угадывал их прошлое, искал подтверждение, сверял, проверял, иногда ошибался, искал и всегда находил корни своих ошибок. Скоро он сам стал поражаться своей необычайной прозорливости. По одной страничке от руки Паскаля он заключил, что целый ряд фактов, сообщаемых в его биографиях, не точен — приобретенные вскоре после этого неизвестные ему до тех пор письма блестяще подтвердили его догадку. Таких фактов, аккуратно заносившихся в особую «Книгу открытий», набиралось все больше и больше. К концу третьего года непрерывной работы у доктора Корна созрел план связно изложить результаты своих исследований.

Книга вышла в свет в самый канун мировой войны. Доктор Корн как подданный враждебного государства попал под надзор полиции. Но приехавший специально из Округного управления чиновник, обошедший весь дом в сопровождении косоного деревенского жандарма и отдельно допросивший старого Шмидта, решил, что можно ограничиться подпиской о невыезде. Ричард Иванович и без того никому да не собирался.

Книга доктора Корна «Основы автодиагностики. Графологическое и характерологическое исследование» сначала осталась почти незамеченной. Научные журналы отозвались о ней с пренебрежением. В одной рецензии так прямо было и сказано: «самопознание самоучки не может интересовать науку». В одной столичной газете автору сделан был упрек, что, «превознося интуицию в теоретической части, он явно обнаруживает влияние Бергсона, так постыдно выдававшего себя во время войны своим откровенным германофобством, отстаивая, однако, интуицию как практический метод чтения исторических документов, он тем самым доказывает, что философию Бергсона он переварил плохо». Издатель писал Корну, что книга вся на складе.

Ричарда Ивановича все это мало занимало. Он отлично знал, что заложены еще только самые основания, он по-прежнему не понимал самого себя.

— Зачем я, в сущности, написал и издал эту книгу? — не раз задавал он себе вопрос. — Ведь меня интересует одна единственная «вечная загадка» и, чем дальше я живу, тем больше она усложняется. Что я, по совести говоря, вычитал до сих пор из своего собственного почерка? Кучу всякого вздора, вроде того, который в свое время «открыл» хитрец Стиерне, да будет благословен мною и добрейшим Францем. Неужели он и в самом деле был прав? Нет, нет... работать и работать. Рано или поздно, но я скажу себе: Вот — я! Для чего еще стал бы я жить?

Трудность, с которой приходилось бороться Корну, заключалась для него в следующем: вполне овладев как будто методом чтения в душах по движениям пишущей руки и проверив его на огромном количестве фактов, Ричард Иванович должен был, к великому своему смущению, убедиться, что метод этот совершенно не приложим почему-то к тому, что занимало его больше всего — к «автобиографическим материалам». Так называл он громадную грудку бумаг, чертежей, писем и фотографий, собранную им и размещенную

в особом шкафу, стоявшем в его спальне. Тут было все, что он смог раздобыть из написанного им и его родными, была даже одна каким-то образом уцелевшая тетрадка Чардика с диктовками из первого класса, была фотография, на которой Ричард Иванович был изображен не полных двух лет от роду в кружевном чепчике и в таком же платьице. Этот «ранний материал», по теории доктора Корна, представлял чуть ли не наибольшую ценность.

И все же Ричард Иванович никак не мог поставить убедительного характерологического диагноза самому себе, о прогнозе же и думать было нечего. По основной гипотезе доктора Корна правильная классификация человеческих характеров должна была опираться на строгое деление по «возрастным индексам». «Основные типы характеров, — писал доктор Корн в своей книге, — суть характеры детский, отроческий, юношеский, возмужалый, зрелый, перезрелый и старческий. Все люди могут быть распределены по названиям семи групп. Каждый тип представляет собой совершенно замкнутое целое. Все отдельные черты и весь жизненный путь человека легко могут быть опознаны, если интуитивно установлен с самого начала тип, к которому относится то или иное лицо. Есть люди, рождающиеся совершенно зрелыми, а иные всю жизнь остаются детьми. Кажущееся развитие следует понимать...» и т. д. Так доктор Корн начал свои «Основы автодиагностики». Он был совершенно убежден в правильности своей гипотезы, и исторический опыт как будто вполне подтверждал ее. Почему же она никак не подходила для одного единственного случая, называвшегося «Ричард Иванович Корн»?

Уже давно Ричард Иванович решил, что он сам — классический пример «зрелого типа». Даже в совсем еще беспомощных каракулях детских диктовок уже явно проглядывала эта природная «зрелость»: устремленный прямо вперед взор двухлетнего Чардика подтверждал ее; сходство с отцовским почерком, тоже типически «зрелым», в более поздние годы уничтожало всякую возможность сомнения —

а между прочим, Ричард Иванович слишком хорошо знал, что в характере его не хватает одной черты, которая, по его собственным построениям, должна непременно проявляться в жизни всякого «зрелого человека»: уверенности в сверхличном, «общественно значимом», по его терминологии, содержании раз навсегда избранной им жизненной задачи. Ричард же Иванович был убежден как раз в обратном: что его собственная жизненная задача абсолютно лишена всякого «общественного» значения и имеет смысл жить для него одного и решительно ни для кого больше на свете. Недаром он был так безучастен и к гражданским событиям, развернувшимся вокруг него: война интересовала его лишь в той мере, в какой и в ней своеобразно обнажались отдельные судьбы отдельных людей — новый материал для его одного занимавших характерологических исследований. Но отсюда следовало и многое другое, мало соответствующее его «зрелому типу»: его характер никак не складывался для него самого в «совершенно замкнутое целое». Примешивались какие-то черты «инфантилизма», столь часто попадавшиеся ему в рукописях ученых монахов и, конечно, в любом типично «женском» почерке. Да и чертами лица Ричард Иванович в чем-то неуволнимом сильно напоминал самому себе свою мать, совсем не походившую на его отца, «настоящего Корна», как иногда называл его в уме Ричард Иванович. Его собственный характерологический профиль по-прежнему оставался смутным и загадочным и судорожно дергался, как пугливая тень в неверном освещении догорающей свечи.

«Результаты равны нулю», — заносил он в свой дневник. «Очевидно, гипотеза требует значительных дополнений...», и он решил на время совсем оставить свой «личный запрос», чтобы с тем большим беспристрастием неизбежно установить раз навсегда общие принципы, на основе которых вопрос о нем самом мог бы решиться как бы сам собою, «простой подстановкой», как он выражался.

Только раз в году, в годовщину смерти отца, Ричард Иванович имел обыкновение подводить итоги всей своей работе

за целый год с тем, чтобы убедиться, пришла ли пора вернуться к исходному пункту — к самому «доктору Корну».

Уже несколько лет, год за годом этот день подведения итогов превращался для Ричарда Ивановича в мучительнейшую и в то же время желанную пытку. Чем больше расширялся его научный кругозор, чем тоньше разбирался он в глубочайших извилинах душевной жизни, чем пронизательнее становился его взгляд, тем все больше и больше, все стремительнее удалялся он от самого себя и в последний раз, к ужасу своему, должен был убедиться, что он вообще начал «терять себя», что он как будто окончательно «выпустил себя из рук».

Следует сказать, что в последний год войны, а особенно после разгрома Германии, доктор Корн, совершенно неожиданно для себя самого, а еще более неожиданно для его издателя, приобрел вдруг самую широкую известность. «Основы Автогностики» стали быстро расходиться. В издательстве стали все чаще и чаще получаться письма на имя доктора Корна с мотивированными просьбами о личном свидании, о графологическом анализе, с запросами об адресе «самого выдающегося из современных знатоков человеческой души», с подробнейшими исповедями «разбитых» и «заблудших» сердец. Издание следовало за изданием.

На все письма и запросы Корн отвечал через посредство издательства чем-то вроде печатного циркуляра. От личных встреч он решительно отказывался, от гонораров — также, местопребывание его оставалось никому не известным, но он охотно соглашался давать свои «заключения» о прилагавшихся документах.

Скоро Ричарду Ивановичу пришлось уделить всю первую половину дня на «техническую работу», как он ее сам называл. Почти ежедневно получал он из Лейпцига от своего издателя пакет с «графологическими задачами». Ричард Иванович снимал фотографические копии с прилагавшихся до-

кументов, завел особые шкафы с «материалами по изучению современного человека», и архив его все больше и больше разрастался. К «технической работе» Ричард Иванович относился с особым жаром. Первым делом он обыкновенно вскрывал свой лейпцигский пакет и иногда с нетерпением ждал конца дня, чтобы на завтра с самого утра засесть за чтение и расшифровывание душ.

Об успехе его работы (о «правильности метода» — говорил сам себе Ричард Иванович) свидетельствовали десятки и сотни благодарственных писем, получавшихся со всех концов Европы. Тут были письма отцов, в трогательных выражениях благодаривших «мудрого доктора» за его педагогические советы, письма невест, «спасенных от роковой ошибки самим Провидением, пославшим всем слепым всевидящего доктора», как писала как бы от имени всех одна из них, было даже письмо от одного прусского генерала, получившего отставку в самый разгар войны и только теперь понявшего, что «она была вполне заслужена», как он с горечью признавался доктору, так как дальнейшее пребывание в действующей армии, при его характере, несомненно еще более усугубило бы и без того бедственное положение родины. В 19-м году все в большем количестве стали получаться и письма от русских эмигрантов, написанные по большей части по-французски, а иногда и прямо по-русски. В книге доктора Корна было, впрочем, указано, что при анализе почерка по его методу нет никакой необходимости понимать смысл документов. «Новая графология учит видению, — писал он, — а не понимание. Отвлеченное понимание то же, что испорченное зрение. Только близорукие нуждаются в очках».

Успех был несомненный, но Ричард Иванович относился к нему не с меньшим равнодушием, чем к насмешливым рецензиям на 1-е издание. Положение таинственного, близкого и в то же время бесконечно далекого наставника и учителя жизни сотен и сотен видных ему насквозь незнакомцев казалось ему глубоко комичным.

— Если бы все они знали — все равно: Клерхен Маннштейн, генерал Ретц фон Реценгаузен или присяжный поверенный Скорбутов — с каким ничтожнейшим и невежественнейшим из смертных они имеют дело, они, наверное, глубоко изумились бы. Автор «Автодиагностики» знает, пожалуй, о человеческих душах все, что угодно, он не знает только одного, самого главного — что такое он сам... Что такое, в самом деле, «доктор Корн»?

В последние годы, уже после своих «Основ», Ричард Иванович поставил себе еще новую задачу — найти строгие приемы, посредством которых можно было бы, зная человека, воссоздать его почерк. И эту задачу он разрешил блестяще.

В «Книге открытий» было записано: «Вчера получил, наконец, снимок с подписью графа С. Ю. Витте. Ни один эксперт на суде не усомнился бы, что подпись, сконструированная мною с полгода назад, сделана той же рукой (см. шкаф VII, полка 4, папка «дело Витте», лист 23).

Особенно забавляло его «конструировать» почерки литературных героев. В его богатейшей коллекции письменных принадлежностей было одно гусиное перо с золотыми колечками, которым особенно охотно пользовался «Гамлет, принц Датский», очень удачным считал он также «заметки на полях, сделанные рукой Онегина». Но когда он в последний раз по обыкновению подвел итоги своей работы, им внезапно овладел беспросветный ужас.

— Знаете, Франц, — сказал он назавтра пришедшему как всегда с утра старику, — я вчера сделал удивительное открытие: я разучился писать.

— Господину доктору угодно шутить.

— Нет, нет, Франц, совершенно серьезно! Я умею подписываться, как кто угодно — как вы, как господин почт-секретарь, как кайзер, но мне очень трудно подписаться, как подписывался всегда доктор Корн.

— Ну вот, значит господин доктор несколько не разучился писать, а это все от ваших больших письменных работ. Когда так много пишут постоянно... Простите, господин

доктор, вас все в деревне считают очень странным господином... Когда я еще служил на кухне у барона...

Но 21-ое октября уже прошло, и Ричард Иванович решил отложить мысль о себе еще на один год, до следующего 21-го октября. За обедом, подавая к столу, Франц позволил себе еще раз вернуться к утреннему разговору:

— О том, что вы давеча пошутили, господин доктор... Еще прошлым летом как-то в «Золотой козе» господин почтсекретарь и то рассказывал, что он очень-очень задумывался... Господин Циммерман возвращается от господина доктора, приносит квитанции, и на каждой как будто другой человек расписывался... Конечно, он знает, что это вы, но он даже сам хотел прийти попросить вас, нельзя ли, мол, господин доктор, чтобы не было никаких сомнений. Но тут и Фриц Циммерман, и я, — мы подняли его на смех. Кто же не знает господина доктора Корна!

В последний год Ричард Иванович, вспоминая о себе (он все реже и реже стал вспоминать о себе), стал называть себя в уме не иначе, как «доктор без тени».

Итак, снова 21-е... Есть, кажется, такая азартная игра... Есть ли еще шансы на выигрыш у доктора без тени и без почерка?

Поднявшиеся навстречу солнцу туманы уже давно склубились и пушистым горностаем обложили выпуклую вершину Блауена. Озеро легко и шаловливо подбрасывало в прозрачный воздух золотые блески. Солнце широким потоком заливало комнату.

— Неужели еще дождусь когда-нибудь своего долгожданного гостя? — думал Ричард Иванович, медленно застегивая свою спортивную куртку. Уже давно не было такого торжественного 21-го. Может быть еще тогда, в Петербурге, по старому стилю, когда еще мама жила...

Ричард Иванович был полон напряженного ожидания.

Этот день был как бы единственным праздничным днем в его жизни. Заведенный, как часы, распорядок в этот день нарушался. Ричард Иванович с утра садился за свой дневник и внимательно, вдумываясь в каждое слово, перечитывал все записанное за целый год. На особом листе отмечал он самые важные записи, перечитывал их, а затем погружался в глубокое раздумье. Под вечер он садился писать: «21-е октября. Что еще узнал я о себе?» Ровно до полуночи он должен был так исповедоваться перед самим собою (он всегда работал до 12), с двенадцатым ударом он клал перо. Последняя фраза должна была быть: «Вот — я!» Но уже не раз и не два прожил он свое 21-е в таком нечеловеческом напряжении, а «вот — я!», которого он ждал с самого утра, никак не рождалось из-под его пера. Вместо этих слов чаемого прозрения и освобождения, под конец, уже как бы по инерции, маятником ходившая по бумаге рука каждый раз заканчивала его глухонемую исповедь стереотипной формулой: «результаты — 0».

Затем следовала страшная ночь, полубодствование-полусон, с кошмарами, с видениями, раза два с прилаживанием петли. А на завтра Ричард Иванович вставал как ни в чем не бывало, как если бы злое наваждение сгнуло навсегда, и снова систематически и аккуратно принимался за свой привычный труд. Старый Франц, во всяком случае, не догадывался, как проводил без него «добрый русский господин» свой «русский праздник» (так Ричард Иванович сам объяснил ему свою странность).

— О, если бы я не держал себя крепко в руках, мое 21-ое расплодилось бы мутным пятном по всему году, а теперь это эластичнейшая пружина в корновском механизме, и настает же когда-нибудь полдень!

Ричард Иванович достал свой дневник, походивший больше на конторскую книгу, и нашел свою запись от последнего 21-го октября: «С утра работа. Интересное письмо анонима, влюбленного в родную сестру. Открытие (см. КН Откр. Стр. 452) — они совершенно чужие по крови. За обедом рас-

сказ Франца о почтмейстере (многообразие моих почерков). После обеда: сравнение почерков братьев Гракхов. Почта. Глупая брошюра «Что такое корнизм?» — и вдруг Ричард Иванович далеко в угол отшвырнул свой дневник.

— Ты круглый, совсем, совсем круглый дурак, Чарди! Из ничего ничего и не получается — древняя мудрость! Протокол родит протокол... Это ли тебе нужно?

Ричард Иванович глубоко задумался. Он сел в своем кресле на корточках, закурил трубку и обхватил руками свои длинные ноги. Солнце смотрело ему прямо в лицо.

— Я осужден оставаться вечной загадкой для самого себя, — думал он, — милейший Стьерне был прав. Я осужден вечно помогать людям разбираться в самих себе, но мне никто не поможет, и неоткуда ждать помощи... «Докторинж.» Корн умрет, как и старый путиловец Корн, без потомства. Надо работать... Когда-нибудь и на меня обрушится крыша, как придавила балка старика. Мне скоро сорок лет... Не пора ли разделаться со всей этой романтикой? Быть может, кто-нибудь из самодовольных немцев знает, в чем смысл его существования, я этого никогда не узнаю... 21-ое октября такой же день, как и всякий другой, не надо праздников. Никаких поминок! Мое открытие от прошлого года еще за несколько месяцев до меня сделал за кружкой пива господин почтмейстер... Вот не распечатан еще и вчерашний лейпцигский пакет. Делом надо заниматься... — И Ричард Иванович быстро спустил ноги и решительно направился в соседнюю комнату, где на столе сложена была вчерашняя почта.

Он достал лейпцигский пакет, вскрыл его и, вынув первое попавшееся письмо, вернулся в кабинет.

Письмо было из Берлина, но написано по-французски. — «Ага, опять соотечественники!» Между двумя страничками, действительно, оказалась небольшая записка по-русски, явная вырезка из письма, тщательно выкроенная маленькими кривыми ножницами. На одной стороне ее было написано крупными буквами:

«и еще раз старательно обдумав свое решение, составлен»,

А на другой:

«дно предположить, что что-либо могло бы измениться в такой»...

В письме (женская рука) была просьба возможно более подробнее написать заключение по поводу четырех строчек, так как дело идет о судьбе двух людей. Указанный адрес ничего не говорил Ричарду Ивановичу.

Ричард Иванович взял свое увеличительное стекло и внимательно стал разглядывать полоску русского письма. Обыкновенно живой образ души возникал у него сразу — в сердце зажигался как бы огонек и на секунду ярко освещал строчки перед глазами. После этого он немедленно хватался за перо и писал свои «изумительные» заключения. Сегодня черные строчки на слегка пожелтевшей бумаге ни за что не освещались. Но Ричард Иванович оставался совершенно невозмутим и спокойно продолжал их разглядывать. Он был очень сосредоточен, и вместе с тем мысли его как-то уносились в сторону. Ему захотелось почему-то восстановить текст так старательно скрытого от него письма.

— Какое такое «решение» так «старательно обдумал» мой милый соотечественник? И почему «в такой»... «срок», очевидно, ничто не может измениться? В любой срок все может измениться. Даже в миллионную долю секунды.

И вдруг «лампочка» зажглась. Но не как обыкновенно — в сердце, а где-то между пристальным взглядом Ричарда Ивановича и узеньким листочком бумаги. Ричард Иванович схватился за перо.

«Многоуважаемая г-жа Шольц, — начал он писать по-русски, — с удовольствием исполняю Вашу просьбу. При-

сланные Вами четыре строчки в высшей степени красноречивы. Автор их — молодой человек, по всей вероятности, молодой ученый с крайне оригинальным складом ума (надеюсь, что он еще жив, так как на документе следы, по крайней мере, десятилетней давности) и с совершенно своеобразной жизненной задачей. Таких людей обыкновенно считают сумасбродами, хотя и любят их за честность, безобидность и отзывчивость. Добросовестность автора превосходит всякую меру и сильно осложняет, вероятно, жизнь не только его самого, но его близких. Трогательны его чисто детское простодушие и целомудренно-таимая про себя и даже от себя любовь к людям («Это мне что-то напоминает!» — промелькнуло в уме Ричарда Ивановича). Отсюда естественно почти непреодолимая замкнутость в себе, несообщительность, склонность к уединенному образу жизни. Автор умеет сострадать, гораздо труднее ему сорадоваться. Его, вероятно, мучают метафизические проблемы — мировое зло или что-нибудь вроде этого. Не представляю его себе женатым. Тщательно подавляя в себе даже легчайший налет самодовольства, автор зато с тем большей силой осуждает себя за то, за что обычно людей всячески превозносят. Это является, быть может, причиной того, что он имеет о себе совершенно превратное представление. Но разубедить его в чем-нибудь крайне трудно, если не совсем невозможно. Дело тут не в упрямстве, а в той энергии, с какой молодой автор самостоятельно проверяет свои предположения, все равно касаются ли они чисто научного вопроса или вопроса личного, чужого или своего. Зато с этим связана его большая недоверчивость: никому не доверяя больше, нежели самому себе, и совсем не доверяя себе, по уже указанным причинам он вынужден уклоняться от более тесного общения с людьми, что еще более усиливает его уже упомянутую выше склонность к уединению.

Что сказать о его будущем, вернее, о том времени, которое протекло с момента написания анализируемых строк? Если с автором ничего не случилось трагического (т. е. если

он случайно не погиб), думаю, что он составил себе почетное имя в науке, хотя, быть может, не раз за этот довольно продолжительный срок менял свою специальность (такие типично детские характеры, впрочем, с легкостью начинают все сначала, несмотря на всю зрелость их работ, к большому отчаянию друзей и коллег по профессии, но иногда с большой пользой для успеха науки, в которой они нередко истинные художники). Счастлив ли он? Не думаю. Такие люди редко удовлетворены. Ручаться за их будущее очень трудно — повороты их жизненного пути очень прихотливы и иногда неожиданны для них самих. Есть люди, жизнь которых начинается как бы с их некролога, и есть такие — таков именно наш автор — смерть которых невозможно себе даже и представить. Быть может, именно поэтому он до сих пор не кончил самоубийством, хотя, несомненно, все время близок к нему.

И позвольте в заключение добавить. Если бы автор был значительно моложе, я, пожалуй, выразил бы желание с ним познакомиться, так как до сих пор у меня нет еще ни одного ученика.

Передайте ему, пожалуйста, привет, если это возможно, от преданного Вам и ему доктора Р. И. Корна».

«Заключение» было написано в каких-нибудь несколько минут. Перо мчалось по строчкам; Ричард Иванович писал, как в беспамятстве. Поставив последнюю точку, он бросил перо на стол, откинулся в кресло, и правая рука его повисла в изнеможении. Он был чем-то глубоко взволнован. Какие-то смутные воспоминания забродили в нем, надвигалось что-то и радостное, и страшное в одно и то же время.

Ричард Иванович выпрямился и встал. Волнение его росло. Он взял только что исписанный лист со стола и снова положил его, прошелся по комнате, и взгляд его снова упал на узенькую пожелтевшую полоску.

— А она кто такая?

Ричард Иванович схватил голубоватый надушенный листок и быстро подошел к окну. Он поднял его к глазам,

и вдруг сквозь тонкую просвечивающую бумагу перед ним мелькнул какой-то едва уловимый полузабытый образ.

— Кто это? — громко вскричал Ричард Иванович, и все сразу ярко осветилось.

Ричард Иванович нелепо взмахнул рукой и ничком бросился на диван.

Когда Ричард Иванович снова повернулся лицом к свету, солнце уже скрылось за высоким забором, и по вечернему небу медленно плыли розоватые стаи. Ричард Иванович знал, что на столе лежит его жизненный приговор самому себе. Вера его не забыла, а он забыл даже собственную отчаянную, почти безнадежную попытку — свое единственное, первое и последнее письмо к ней. «Трудно предположить, что что-либо могло измениться...» Да это было то его письмо в начале жизни, ровно пятнадцать лет тому назад. «Милая, милая Вера...» — так, кажется, оно начиналось.

«Глупый Чарди! Даже проницательнейший психолог не в силах представить его мертвецом, а он непременно хотел еще при жизни справить по себе поминки. Ты задумал всю жизнь отдать за свой собственный некролог... Недаром в день смерти отца ты чувствовал себя именинником... ты почти достиг своей цели: ты заживо похоронил себя... и уже стал разлагаться, мудрец, обманутый самим собою! Неужели еще в самый последний миг возможно спасение или это только случайность? Но нет, нет... Тебя спасли последние остатки твоего простодушия. Да, когда-то ты еще умел исповедоваться не только перед самим собою, ты еще не был так «мудр», и слова твои встречали живой отклик... отклик, докатившийся до тебя через пятнадцать лет. Но ты хотел непременно гнаться за собственной тенью и ты стал «доктором без тени». Глупый, глупый, ты забыл, что только повернувшемуся к свету дано увидеть собственную тень, а ты с раннего утра до позднего вечера бежишь от света и гонишься за своей тенью — что удивительного, что и тень твоя потонула

в ночном мраке! Найдутся ли еще у тебя силы для жизни? Помнишь ли ты еще свою Веру? Верить ли еще в себя?..

Назавтра Франц пришел, как обыкновенно, с утра и, как обыкновенно, начал со своего обычного приветствия:

— Хорошо спали, господин доктор?

— Франц, сегодня вечером я уезжаю на некоторое время в Берлин и хотел бы сделать кое-какие распоряжения.

Добрый Франц от изумления уронил тряпку, которой смахивал пыль, и, секунду помедлив, всплеснул руками.

— Наконец-то, наконец! — ценнейший господин доктор... вот так неожиданность! Десять лет, поди — и ни одной души.... Не полезно это человеку, простите за дерзость, господин доктор... и часто даже очень жалко было на вас смотреть... Поезжайте, поезжайте с Богом и хорошенько развлекайтесь! Да и в Писании сказано: нехорошо человеку жить одному.

— У вас, Франц, на любой случай что-нибудь из Писания! — никаких писаний! Давайте укладываться!..

*XI.23 A. 3. Berg
Heidelberg, Rahmengasse, 34 II. Dr. A. Steinberg*

Во рву гибельном
Повесть в трех кругах³¹

Извлек меня из гибельного рва,
из тинистого болота и поста-
вил на скале ноги мои и укрепил
стопы мои.

Псалом 40:3

1. Ну да как-нибудь

Не так, так этак — и тут, конечно, до точки дойдет. Мало ли что бывало. Да вот утряслось, все в свой уголочек стало, повисло вроде картинки под стеклом — и висит, не шелохнется, а ты любуйся, или дивись, или жалея — что сердчишку угодно. Что хочешь, то и делай, то есть когда все уже до наивысшей точки дошло. Хочешь — кайся, схвати себя за чуб и трясина, что есть мочи, не хочешь — так обойдется. Только так с себя будешь спрашивать. Смахнешь пыль со стекла или не смахнешь, твое дело и ничье больше... Забавно это конечно. Забавно, как все в частный музей твой попадет... И подумай только, какие это тебе сокровища препоручены, какие богатства — страны, города, люди и судьбишки с закорючками и без... Вот он — задний ум-то. Большая в нем крепость, свирепая. Может, в нем одном только и есть она... Не считая, разумеется, что и говорить! — разумеется, не считая горькой, которую тоже похвалить не грех. При нынешних особенно обстоятельствах.

Тут владелец частного музея запускает правую руку в правый же карман своего непомерно широкого пиджака,

³¹SC. Вох. VII. 1—3 главы печатаются по машинописной рукописи, 4-я — по черновому автографу.

натывается на какое-то препятствие, наклоняется порывисто вперед и, шаркнув ногою по выглаженному песку, почти вскакивает со скамейки. Препятствие, на которое он натолкнулся, самое что ни на есть натуральное. Дно! Обыкновеннейшее дно кармана из темно-коричневого кретона с хорошо знакомой белой подкладкой в заднем уголку. «Да, но позвольте... Ведь только что...» Вот то-то оно и есть! Круглоголовый созерцатель затуманенных картин бросает шляпу, трепыхающуюся в его левой руке, на скамейку, хватается за борт пиджака, точно к ответу тянет, судорожно прижимает к себе, и оттопыренный в пустом кармане указательный палец вдруг проваливается в притаившуюся меж верхом и низом бездну. То-то оно и есть. Дырка!

Созерцатель в смятении, созерцателю жарко. Выплеснувшимся взглядом ошпаривает он всю дорожку до самого выхода, до самой трамвайной остановки, делает несколько нерешительных, с запинкою, шажков, цепляется зрачком за толстые подошвы проходящего с первой утренней почтой почтальона, возвращается и прибитым мешком снова опускается на скамейку. «Не-ет, куда там... Пиши пропало!» Редкие волосы над висками слиплись. Голова подалась набок. Пола пиджака с дырявым карманом завернулась раскромсанной подкладкой кверху, и меж наструганных годами струсьев ее торчит, выставляя наготу свою, неприглядный, с обгрызенным ногтем перст. Одинокий, жалкий, бессмысленный.

Здраво рассуждая, немецкая серенькая — что и говорить — не Бог весть какие деньги. А все-таки не музейная вещь, физическое, так сказать, тело. Из твердого бумажного состояния — там вот, напротив, перешла бы частично в жидкое, а затем — пять ихних грошенов³² пять рюмок — с Божьей помощью и в газообразное перешла бы. Ну и плыви себе на всех парусах на винных в страну своих мечтаний... Вдоль улиц шумных — как Пушкин! — я предаюсь моим мечтам...

³² Groschen — грош, мелкая монета (нем.).

Безотрадно торчащий палец уползает, из вывернутого кармана показывается некрепкий кулак, некрепкий хозяин его откидывается назад, зарывается косящими каблуками красно-рыжих ботинок в песок, на лице его выкривилась усмешка: «Без вина виноватый». А вот хлебнул бы, поди не себя, а Машу стал бы винить. Либо и себя, и ее, и всех, и самого судебного Вершителя. «Не угодно ли? На каком таком основании Мелютин Иван, сын Митрофанов, и сир, и наг, и карманы у него дырявые! — и безносые носки никто ему не заштопает, и душа у него не душа, а что твое решето, тоже вся в дырках... Не угодно ли по всей форме жалобу принять и в положенный срок рассмотреть?» Вот как, храбрости нацедивши, растечься можно. А теперь — что теперь? Беда, конечно... Опять клянчить идти? Да и застанешь ли? А застанешь, все равно, верно, не даст. Хоть одну недельку, думал, птичка Божия — так вот тебе. Эх, обидно, право...

Чтоб лучше представить, как все произошло, Иван Митрофанович усаживается поудобнее, упирает подбородок в подставленную рогаткой руку, крепко зажмуривается и бормочет, не обращая ни малейшего внимания на все чаще шуршащих мимо прохожих.

— Так-с... Так-с. Потом на полочку положил. Да, конечно же, на полочку. А вот что потом? Ну потом, конечно, — что и говорить — снял с вешалки парадный свой... Эх, право, обидно. Остался бы в стареньком. Ну да что там! Снял, значит, парадный... Постой, брат!

Как по команде, все в Иване Митрофановиче перестраивается, все тянется в нем кверху. Брови кустиками, одна другой наперерез, взбираются на холмистый лоб. Ничего не видя, серые, выпуклые, точное вставные, глаза смотрят неподвижно, в упор. Вот он уже у дверей, вот вспомнил, что что-то позабыл... Ключи? Нет, не ключи. Адрес Шпицера? Так на кой бес ему сегодня Шпицер. Ага... Нет, и не хозяйка, Бог с ней, с хозяйкой...

— Бог с ней, Бог с ней, — повторяет одними влажными губами Иван Митрофанович, покачивая в такт шар-головой,

и брови его медленно сползают на привычное место, и губы его подрагивают под нависшими усами, и руки скрещиваются над самым животом. — Нет, и не хозяйка. Так и не вспомнил, Балдеев! Позабыл-то ты ведь, дурень, верно, ее, как раз ее, миленькую. Где была на полочке, там и осталась, там и лежит себе, свернувшись, котенок, и не подозревает даже — мхе! — как тут о ней беспокоятся, как хлопчут и стараются.

В серых навывкате глазах поблескивают, расплываясь, серебристые бирюльки — не глаза, а бусы — и полноротая улыбка тоже расплывается по всему ликующе округлившемуся лику. Легкое весеннее солнце в сквозных, зелеными веточками крапленых каштанах и светится теперь, и греет, и радует. Радужные перебегают зайчики по золотистым кошечкам с яркими бантиками, по бледного золота хвостикам двух школьниц, двух красногрудок в белых передничках, впопыхах приткнувшихся к соседней скамейке и дробно-дробно, наперебой, о чем-то щебечущих. Иван Митрофанович прислушивается. Нет еще в нем полно, без задоринки, уверенности. Может быть, еще рано радоваться. Может быть, еще совсем наоборот, еще, может, сегодня понадобится новый адрес Шпицера — что и говорить! Однако же, однако же, — как будто... Великое слово — «как будто»... Чего торопиться? Коль лежит, не убежит. Вскарabкаться наверх, и цап-царап! — зажать ее, миленькую, в кулак — то-то восторг будет.

Иван Митрофанович прислушивается.

— Так дай же, дай же, так дай же сказать...

— Думаешь, что дура я, да? Что совсем дурашка, да?

— Да подожди же, Лотте, дай мне досказать, Лотте!

— Ни за что! Ни за что! У-у, какая ты хитрая? И это все знают. И мой большой брат тоже говорит: Эрика из Америки. И моя мама тоже говорит: Что, лучшую штулу³³ (бутерброд — молниеносно переводит Иван Митрофанов) опять Эрика променяла! И...

³³ Stollen — рождественский кекс (нем.).

— А про картинки уже забыла, целую серию? Забыла, совсем? Пфуй, Лотте, злючка ты, злючка! Вот не думала. Ей Богу, не думала ... и хитрая Эрика энергично трясет хвостиками в красных бантиках, обоими сразу.

Кругло-буро-мешковатый Иван Митрофанович — и он, и он тоже трясет, потряхивает облысевшей своей головой, и лысинка его ловит и отбрасывает в такт расплывчатые блески, и тщетно нижняя губа пытается поймать навесистый ус. «Так-с, так-с... Учись, деточка, учись. Начинать надо спозаранку, иначе не расторгнешься. Ишь, жмырка какая! Туда же лезет. И о чем только оне?»

Овальный — наподобие душистого мыла — скверик нарядно пуст. Реже хрусткие по гравию шаги. Первая волна утренняя уже отшумела и смылась, дымчатым гуденьем настраивается воздух, мягче скрежет рельс, приглушеннее звонки, тихой дробью — мелкая дрожь трамвайных проводов и — шмыг, шмыг — как в калошах, прошмыгнула машина.

Славно-то как на апрельском утреннем солнышке в вольном городе Берлине!

Уж не слушает Иван Митрофанович трещоток в бантиках, уж отвернулся он в сторонку, шляпой накрылся от солнца, и неисповедимо далеко отнесли его сизым облаком наплывшие мысли. Портреты, портреты, портреты. Длинная галерея. И все Маша, все она. Недостигаемая, незабвенная.

Очнулся Иван Митрофанович лишь через минуту или две, а может быть, и три, когда у соседней скамейки стрекотанье внезапно испуганно оборвалось. Иван Митрофанович косится туда, направо, сдвигает прилипшую ко лбу шляпу, поворачивается всем мятым корпусом и смотрит во все выпученные глаза свои: «Что такое?!»

Совсем близко от Эрики с Лоттой — в синем, с синими глазами, бледный, стоит с протянутой рукой, стоит, чуть-чуть улыбается... без воротничка, с непокрытой головой, улыбается и просит, не то просит, не то выставил напоказ свою длинную, узкую, бледную, чуть-чуть согнутую посеред-

ке ладонь. «И как ему не стыдно, у малых ребят!» Эрика, раскрасневшись, пугливо озирается на Ивана Митрофановича, дергает Лоту за руку, нагибается к самому лоттину плечу с двумя перламутровыми пуговками и шепчет задышленным шепотом:

— Отдай, отдай же свой пфенниг, у меня нет, у меня только целый грошен, потом верну, разменяю и верну...

А тот — ничего. Стоит, улыбается, словно ни при чем, только длинные пальцы чуть-чуть шевелятся, и все больше выпрямляется согнутая ладонь. «Нет-нет! Шалишь, брат, это тебе не пройдет...». Иван Митрофанович молодцевато этак перекидывает левую ногу через правую, сдвигает на затылок перекошенную шляпу, делает ораторский жест и весьма внятно произносит на чистейшем немецком языке:

— Да-сс... гейт нихт!.. Бей киндэвр...³⁴

Эрика, видать, того только и ждала. Выручка подоспела в крайний миг. Еще Лотта копается обеими ручонками в своем клетчатом мешочке, а Эрика уже отскочила на середину дорожки, поближе к Ивану Митрофановичу, взволнованно подает знаки, крючком шустрого носика тянет-тянет оцепеневшую, с ручонкой в мешочке, дурочку и, дотянув ее, наконец, до себя, барабанив книжками в ранце, спорой рысью, в четыре переплетающиеся ножки, убегает вместе с Лоттой с поля неожиданного происшествия. Финал.

А тот стоит, будто ни при чем, провожает прощально синеем взглядом, чуть-чуть улыбается вычерченными губами, невозмутимо-бледный, переводит внимание на оробевшего (и чего робеть?), на смутившегося (без детей, с глазу на глаз, неловко даже как-то), на окончательно смущенного (дурень! дурень!) Ивана Митрофановича. Подняться и уйти? Ну хоть бы подать раньше, так ведь вот как назло... Такая ччч... досада! С краской, залившей всю впадинку на левой, противоположной щеке, с беспардонным немигающим упорством пришил Ивана Митрофанович к средней пуговице на синем в диагоналку пиджачке, очень, однако, чистеньком,

³⁴ Это... нельзя!.. У детей... (искаж. нем.).

очень старательно и добросовестно чистом. Но нет недвижности ни траве в поле, ни птице в воздухе, ни человеку на усыпанной гравием дорожке. Хруст и ближе, еще хруст и еще ближе, и еще хруст — и уже взметнулся Иван Митрофанович вверх по всем трем пуговицам, мимо выющейся по краю овала бородаки, в самые синие глаза. Будет продолжение, хоть и неловко, а будет.

Синеокая улыбка ушла в тень, в завитки губ, под кров легчайших ресниц, и две темные заостренные брови — как взмах в стремительном полете. Не больной ли? — щурится Иван Митрофанович. Полувставной серый монокль вдавливаются внутрь (с прищуренным глазом как-то более подомашнему), и узнаете, что ли? Знакомый, что ли? Опять кто-нибудь из заживо погребенных и вдруг воскресших? Щурится Иван Митрофанович и хмурится, и вот — мельчайшая лишь долька секунды — оба, сидящий и стоящий, оба сразу, словно по уговору, дружески друг другу поклонились. Иван Митрофанович даже шляпу снял:

— Да вы никак и по-русски понимаете!

— Отлично понимаю. Ведь я тоже... иностранец — и снова выглянула из-под ресниц, из затейливых уголков губ синеглазая улыбка.

— Тоже, значит, а-ус-лендэр³⁵!

Засуетился Иван Митрофанович, заторопился, приподнялся, присел. Шляпой наотмашь приглашает он и соотечественника присесть, и, едва тот опустился на иностранную скамейку, пошел, и пошел. Вот именно на иностранную. Разве не знает Иван Митрофанович, что когда скитаешься так по свету, и апрель не апрель, и самое солнышко напрокат. Что и говорить — и в вольном городе Берлине жить можно! Однако лишь дотоле, покуда уткнулся носом в память, как в пуховую подушку, или вовсе забылся. Очухаешься, оглянешься, и все кругом сон и мираж. Все — и не то. И небо — как накрашенное, и деревья в сквериках — картонажные, и лица — что размалеванная посуда. Играй рольку свою, топчись на

³⁵ Ausländer — иностранец (нем.).

пыльных подмостках, и всегда-то на первой, заметьте, репетиции.

Говорит, говорит Иван Митрофанович, мыльными пузырями выдувает слова, поиграют, пофорсят они всеми цветами радуги и тут же лопнут, опадут тяжелой мутной каплей. Пусть улыбается! Пусть, пусть! Не дам в сторону отвести. Сначала с делом надо покончить, оплошность исправить. Нельзя же с соотечественником (уж не встречались ли где?) без предисловия:

— Ну, думаешь, на сей-то раз настоящее представление будет. С публикой, с аплодисментами или с шиканьем — все равно. Главное — при всем честном народе, не перед собственным карманным зеркальцем. Как бы не так! Держи карман шире. Выйдешь это на самый край, станешь на позицию, дунешь — плюнешь, и такая зевнет на тебя в самый раз смрадная пустота, что дух захватит. Опять, значит, промахнулся. Опять первая, всего лишь самая первая репетиция. Как в уныние не впасть!

— Вы, простите, артист?

От неожиданности Иван Митрофанович шлепается всей округлою спиною на спинку иностранной скамейки и тут он совершает вторую оплошность. Шляпа, которой он все время обмахивался, прохладя припухшие и весьма разгоряченные щеки — тоже верно от неожиданности — выскальзывает из некрепких пальцев, откатывается прямо под ноги синему соотечественнику, который немедленно подхватывает ее, синим натянутым локтем счищает с нее приставшие песчинки и передает законному владельцу. Все это происходит в мгновение ока. Вместо того чтобы воскликнуть для вящего вразумления непонятливого собеседника (а может, прикидывается? Лоб-то у него умный...): «Какой там актер! Сказано ведь: ауслендэр, волею Всевышнего всего лишь клоун и фигляр...», — вместо этого, очень подходящего для приступа к делу — к извинению и, пожалуй, к возобновлению знакомства — восклицания, вместо него Иван Митрофанович, кивая в знак искреннейшей благодарности за оказан-

ную ему не по чину услугу и направо, и налево, и прямо перед собой, не глядя на собеседника, произносит, как бы оправдываясь в двух оплошностях сряду, совсем никудышные слова:

— Так ведь я это все иносказательно, в переносном, как говорится, смысле...

Почин явно выскользнул из его рук, и синий собеседник вторично берет слово:

— Вы полагаете, что и дети здесь все равнодушные?

Вот! Вырвал-таки, дорвался. Ясное дело — прикидывается. И какая при этом царственная невозмутимость. Чело, а не лоб! Иван Митрофанович начинает сердиться, внутренне, конечно, только внутренне: «Да брось ты, друг мой, улыбаться!» Вслух говорит он, однако, совершенно другое, и притом довольно сбивчиво:

— Видите ли, это как смотреть. Я почему давеча вмешался? Вы только не думайте, что я зазорным считаю. Наоборот. Теперь вот, познакомившись — моя фамилия, кстати, Мелютин, Иван Митрофанович.

— Незнамов, Михаил Артемьевич, — эхоподобно откликнулось рядом.

— Весьма приятно (Незнамов — промелькнуло на закраине Ивана-Митрофановичева сознания; он поворошил на лету пуховую подушку памяти, но ничего не нащупал).

— Видите ли, Михаил Артемьевич, не только не считаю зазорным, а наоборот, всячески уважаю. По простой причине. Тут, чтобы к прежнему вернуться, и шиканье, и аплодисменты, публика и свет рампы. Дела, так сказать, концы с началами. При большой дисциплине я, пожалуй, и сам рискнул бы. Наш брат на все имеет право. И, конечно, если русский человек выходит под ихнюю берлинскую лазурь с открытым воротом — это я, простите, опять в иносказательном смысле — то рука дающего да не оскудевает, и совершенно безразлично, рука ли, детская ли ручонка. Но вот как я Вас иностранцем счел, то есть, ихним же, туземцем — и какие только ошибки бывают! — тут я, не в обиду будь ска-

зано, не Вам, Михаил Артемьевич, вы совершенно ни при чем, хоть повелевает долг международной вежливости во внутренние германские дела не вмешиваться, тут уж я никак не мог удержаться. Помилуйте, во всем профессионалы-с! Защитник отечества — профессия! Гулящая девица — профессия! Побираться — тоже профессия. Не ради Христа о подаянии просит, а из голого бухгалтерского расчета. Проезд к месту действия — столько-то; средняя выводимость милосердия — столько-то; один, к примеру, на двадцать, пять, значит, процентов; средняя продаваемость — три или четыре пфеннига. Детки попадутся без призора, боязливенькие — лови момент, нажми! На тот же расход больше приходу. Вот именно, что профессия...

Кто знает, в какие еще делишки влип бы Иван Митрофанович в защитительной своей речи, когда дал бы, наконец, вставить слово своему терпеливому, с все более заметным участием внимающему ему слушателю, если бы в предназначенном для украшения городского плана овальном скверике не появился статный молодец в кивере, с выразительно короткой палкой у пояса, блюститель законной порядчности, который вот прогуливается с заложенными назад руками, точно в отчей квартирке из комнаты в комнату переходит, похаживает, поглядывает, нарочно ни на кого не смотрит, а всех видит. А если и не видит, то видит за него Иван Митрофанович. Сошлись эти двое, да на двоих одна всего лишь шляпа с контужеными полями, развалились, бездельники, в неприличный час, байбачат дачники-неудачники, лопочут, знай, свое на воровском своем языке! и я-я-я-я-я и ю-ю-ю-ю и і-і-і-і-... чистые жулики! Да и в опрятности ли все у милейшего Артемия Михайловича, то есть Михаила Артемьевича?

— Не закурить ли нам, Михаил Артемьевич!?

Рука Ивана Митрофановича за пазухой; инвалидка-шляпка зажата под мышкой (небрежность — барская добродетель), хоть он собственно и некурящий, давно курить бросил, еще до фронта, но что верно: дым из воздуха — пыль в глаза. Вытащил он свой кожаный портсигар, самое солид-

ное из вещественных его доказательств, держит его на отлете — шляпу под мышкой, а портсигар на самом жар-солнышке — и что же? Мирный блюститель общегражданской квартирки приблизился с заложенными назад руками, поравнялся с живописной — на фотографа-любителя — группой, поравнялся и, никого не примечая, прошел. Славно-то как в вольном городе Берлине!

Иван Митрофанович нажимает на загогулину, половина солидного предмета отскакивает и обнаруживает... ну самую что ни на есть несолидную пустоту. «Ишь, и папироски позабыл сегодня». И мысль его скакнула, как шахматный конь, через пень-колоду. Смотрит он с выпучившимся вдруг беспокойством на нечаянного соотечественника, упирается в синеглазое участие (разве бывают такие глаза у нищих?), обпрыгивает на своем коньке-горбуньке все происшедшее за скамеечный часок, и в тот же миг в нем вылупляются и сплетаются две взаимоподобные, одна к другой, идейки:

— Знаете ли, что бы я вам предложил, Михаил Артемьевич? — восклицает он, все еще не защелкнув свой портсигар. — Не зайдете ли вы ко мне тут наверх? Вот там, видите, дом с ангелом? Под самым этим ангелом и обитаю. Только окна на другую сторону, во двор. В два счета...

Михаил Артемьевич ласково-преласково улыбнулся:

— Да нет же, Иван Митрофанович, — так, кажется.

(Правильно, правильно, — кивками отвечает Иван Митрофанович. — Заприметил, однако!)

— Я, право, отлично обойдусь без папирос. В гимназии я, кажется, покуривал, а с тех пор не вспомню что-то... «Больной, что и говорить, больной», — мелькает наискосок с серовыпуклых окуляров:

— Да не в папиросках вовсе дело. Я не из-за них. Ведь не можете же вы мне как очевидцу отказать в разрешении пособить нуждающемуся соотечественнику (вот неуклюже-то как!). А со мной, видите ли, такой смешной случай произошел. Все рассеянность. Деньги у меня есть, но в одной бумажке, и к тому же оставленной по непростительному не-

вниманию дома. Вот подыдемся, выпьем чаю со шриппами³⁶, а заодно выкроим из вышеупомянутой банкноты марочку-другую... В два счета...

Иван Митрофанович осекается. Ему кажется, что хвачено через край, что мелкотравчатый и слишком откровенный разговор его не по нутру сотоварищу по вольному заграничному житью, что вот сейчас подыметесь вы, медленным, словно далекий отголосок, голосом, скажет свое «Да нет же, Иван Митрофанович!» и как неприметно вышел из-за скобки (встречи всегда алгебра), так же бесшумно и математически точно навеки скроется за ней. Плюс. Минус. Нуль.

— Никаких нулей! — перехватывает он на скаку свою прыткую мыслишку.

— Очень, знаете, не люблю я, когда многоточие, неувязка, как они теперь там выражаются...

И опять осекся, устыдившись более чем неуместного красноречия. Но терпеливейший Михаил Артемьевич, как если бы вторично откатилась к ногам его Иван-Митрофановича инвалидка, поспешно нагибается и поднимает красное словцо ярко-красного оттенка:

— Это вы очень метко сказали, Иван Митрофанович. Иногда не доскажешь чего-нибудь и уйдешь с чувством: на улице ты, а что-то нужное расстегнулось.

— Вот именно-сь! До неприличия не застегнуто — от незаслуженного одобрения у Ивана Митрофановича в сердце почти заклокотало, и речь его забила в два крана: прохладная струйка оглядки насмешливой — на себя, на себя! — перемешана с самой неподдельной горячностью. — Невозможно, совершенно считал бы невозможным, чтобы мы, игрой обстоятельств столкнувшись, так сказать, лбами, принесли бы взаимный пардон, раскланялись бы и разошлись к противоположным полюсам. Я даже случай свой смешной до конца не вывел. Чтоб дорассказать его толком, мне наверх подняться надо, потому что бумажечка моя разменная, Бог ее ведает, где она. За минуту только до вас, Михаил Артемье-

³⁶ Schrippe — белая булочка (нем., берл.).

вич, полагал, что ушла она от меня навсегда, без спросу, через эту вот калитку подкладочную. А потом вспомнил, то есть, уверовал, что осталась она под охраной домашних пенатов, а еще после — тут как раз пичужки эти туземные из-за зернышка клеветаться стали — и в пенатах усомнился. Так помогите моему неверию! Искренно прошу вас, Михаил Артемьевич, заглянем-ка сообща в мое под ангелом сущее обиталище...

Прохладная струйка изнемогает, все сильнее пересиливает горячая, заволакивая Ивана Митрофановича густейшим, лишь для невидящего невидимым паром. Испарина выступила на помалиновейшем лбу его, наскоро погрузил он кожаный свой талисман за пазуху, щипчиками пальцев извлек из-под мышки шляпокляксу — всякие были у него для старушки наименования — и, притопнув рыже-красным ботинком, встал. Поднялся и Незнамов, Михаил Артемьевич. Со стороны видно, что не покинет он среди бела дня столь явно нуждающееся в нем выпученное сердце. Но уроки сомнения не проходят даром. А что как проводит он до подъезда, да у самых ворот вежливо это так... И Иван Митрофанович уже на ходу с непокрытой — для симметрии — головой, самозабвенно наяривает:

— Помилуйте, помилуйте, Михаил Артемьевич! Живешь, живешь, и никогда не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Может, вашему только сочувствию благодаря и сыщется. Случилась у меня в настоящем году пропажа и покрупней. Вещь не вещь, а подороже вещи. Ну, да это сейчас не ко времени. Я только для того...

Для чего? Понятно, для чего. Чтоб опомниться не дать, чтоб на гребешке мыльно-пенистой волны доплеснуть и перекинуть через гостеприимный порог драгоценную, в настоящий текущий момент очень-очень дорогую находку. Не одну деловую резину жевать, не одни немецкие слова произносить, от которых губы пухнут, надо же когда-нибудь...

— Надо же когда-нибудь, — вторит голосу Иван Митрофанович, взяв под руку дорогого гостя и распахивая перед

ним скромно-важничаящую, с высоким стеклом дверь, — надо же, — повторяет он, увлекая вверх по ковровой дорожке ничуть, впрочем, не сопротивляющегося Михаила Артемьевича, — надо же когда-нибудь, ну да как-нибудь...

Так и не договорил. На первой же площадке с многоцветно светящимся в окне трубачом — отдышка. Передохнули — и дальше. Меж третьей и четвертой площадкой — жест вдоль желобка на перилах и отрывисто: «Вот тут налево хозяйка моя... Линдеквист... Только нам еще выше». А затем и последняя пристроечка, шесть ступенек вроде как бы на чердак. По-рыбы глотает воздух Иван Митрофанович, поворачивая ключ в замке, как плавниками, пошевеливает он лопатками в крошечных сеньях, с захолонувшим сердцем пропускает гостя в жилую, еще в дверях, через плечо его, на цыпочках, пытаясь клюнуть единым оком заветную полочку.

— Та — а — аакс! — выдыхает он расколотое надвое восклицание, и глотнувшее воздуха «а!» занозой впитывается ему в глотку. — Обманул-ссс — и слово, свистя, оседает потухающим ссс...а. Вовлек-сь в невыгодную сделку — запихивает он горькую истину безвкусовой скороговоркой. — Что вы, что вы, Иван Митрофанович! — вступается тут за Ивана Митрофановича гость. — Разве можно так!..

И к великому удивлению своему, Иван Митрофанович впервые улавливает в не повышающемся голосе гостя легчайшее, еле звучащее дрожание, и к великому смущению своему, он чувствует, что за столь короткий срок в третий раз безобразнейшим образом оплошал, и к великому огорчению своему, он не находит нужного слова, чтобы искупить сугубую вину. Изумление, смущение и огорчение, столкнувшись и отпрянув по биллиардному как бы распорядку, очищают ровное и голое поле, и с холодным спокойствием, окатившим его с ног до головы, Иван Митрофанович, бороздя комнатку по всем направлениям, учтиво и деловито приглашает гостя сесть, достает с полочки (с пустой полочки — никого на ней нет!) коробку с набивными папиросами, раскрывает, для воздуха, окошко, высыпает из фунтика на тарелку

кубики сахара и, проделав все это, просит разрешения отлучиться, чая ради, на кухню. Широчайший пиджак его расстегнут, фалды болтаются, точно сюртучные, по серым в полоску брюкам топорщатся волны то туда, то сюда. Гость очень внимательно, неотступно следит за хозяином. И в то самое мгновение, когда хозяин собирается исчезнуть за дверью, его останавливает, ну право, совсем никчемный вопрос:

— А скажите, пожалуйста, Иван Митрофанович, вы вполне уверены, что...

— Вот еще! — роняет вполоборота Иван Митрофанович. — Стоит о таких пустяках разговаривать...

— Нет, позвольте. У вас там сзади, под подкладкой, все время что-то бьется, знаете, как если бы...

Иван Митрофанович делает поспешно шаг вперед, обеими запрокинутыми назад руками хватая за нижний край своего одеяния, щупает, мнет, давит, комкает, поворачивается вокруг собственной оси, не выпускает, крепко, изо всех сил держит:

— Да, милый вы мой! — почти всхлипывает он. — Она, ей Богу, она! Бедненькая! Нашлась-таки, отыскалась. Век ведь могла бы так завалью проваляться, никогда могла бы не вернуться.

В окончательном, несоразмерном как бы восторге и забыв обо всех хозяйских обязанностях, Иван Митрофанович тут же скидывает свой черно-бурый пиджак, просовывает руку в расщеп коварной подкладки и вот уже высоко над головой, под самым потолком размахивает он тоненькой трубочкой в резиновом колечке. Михаил Артемьевич привстал, Михаил Артемьевич рад, Михаил Артемьевич улыбается всем лицом, как маленький.

— Голубчик вы мой! Милый вы мой, Михаил Артемьевич, понятия не имеете, что вы для меня сделали. Деньги — пустяки, дрянь — деньги. Не глупая бумажка дорога, а примета, примета... Понимаете ли вы, что это значит, пропала и опять нашлась, не было да не было, а вот есть, есть... — и бросив продетую в оранжевое колечко имперскую банкно-

ту десятимаркового достоинства на стол, к самой тарелке с сахарными кубиками, Иван Митрофанович кидается с подхваченным под суконные мышки пиджаком вон из комнаты. «Все, все разъясню», — доносится уже из крошечной передней.

Когда Иван Митрофанович вернулся из передней с бульбулькающим чайником и прочим всем, что к чайнику полагается, за столом сидел со сложенными на коленях руками верный незаменимый друг. Как старому другу налил Иван Митрофанович гостю в чашку, как доброму приятелю пододвинул он блюдце с нарезанной ломтиками булочкой, как вернувшемуся под родной кров страннику наложил он Мишеньке сладких кубиков:

— И первым делом хотелось бы мне выяснить, Михаил Артемьевич, не скрещивались ли уже когда—либо пути наши змеевидные. Я-то Незнамовых ни за что припомнить не могу, а между тем, со второго же взгляда лицо Ваше показалось мне чрезвычайно напоминающим. Вам моя фамилия говорит что-нибудь?

— Милютин? Да. Это, кажется, фамилия известная.

— Так то Милютин, государственный деятель, а я, хоть и не Малютин, Скуратов сын, но и не Милютин. Мы — Мелютины, от мели, что ль, Емея, твоя, мол, неделя.

— Затрудняюсь, право, Иван Митрофанович, ответить в точности. В моем прошлом новый какой-то порядок с тех пор, как пришел в себя на больничной койке. Ведь я, знаете ли, несколько времени тому назад под машину попал. Только вот сегодня выписался.

— Вот оно что! Ай-ай-ай! Будь оне прокляты, колесницы эти дьявольские. И что же, очень это организм ваш задело?

Михаил Артемьевич все больше светлеет:

— Да нет, сейчас я сознаю себя совершенно здоровым; только многое отпало с тех пор, не обременяет больше и передвигаться как-то легче.

— Но память, говорите, все-таки пострадала? А она какая ведь для брэнной жизни подмога. Шагу не ступишь.

Михаил Артемьевич склонился над чашкой, как карандашом выводит он что-то ложечкой на дне, подпирает бледной рукой:

— Нет, дорогой Иван Митрофанович, не думаю, чтобы вы были вполне правы. Многое из того, что было, лучше бы не было вовсе, лучше бы померещилось только; другое, напротив, представляется как будто только, а пусть оно будет.

— Пусть! Пусть! — бросает вдруг в жар Ивана Митрофановича. Он вытирает ладонью усы, откидывается на потрескивающую спинку стула и дребезжавшим своим, с прихрипом, баском, продолжает. — Что и говорить, пусть! Объясните только, голубчик, что, ежели баронская моя фантазия так замесится фактиками, что не разобрать будет, где что начинается, где кончается, и во всем сомневаться станешь? Вот что мне растолкуйте!

Михаил Артемьевич улыбается одними уголками глаз:

— Сомнение тоже отпадает, когда не знаешь, где начало и конец. Помнится, есть страны, где ночь сразу переходит в день, без сумерек.

— И другие есть страны, доложу я вам, милый друг мой, сумеречные, где круглые сутки ни день, ни ночь. Среди людей проталкиваться надо? — раз! Наготу свою прикрывать для других и для себя надо? — два! И кушать тоже надо — три!.. А вы что же, Михаил Артемьевич, шриппой моей брезгаете? Ведь, наверно, проголодались?

— Спасибо, Иван Митрофанович. Я возьму. Мне не особенно хочется. Я ведь из больницы уже после утреннего кофе ушел.

— Однако без копеечки в кармане! Простите, голубчик, что я по низменности натуры все под горку норовлю. Право старшинства, так сказать. По этому же праву решаюсь поставить на очередь и такой нескромный вопрос, имеются ли у вас, если можно так выразиться, определенные какие-нибудь планы?

— Вы замечательно добрый человек, Иван Митрофанович. Мне это сразу бросилось, когда вы за детей заступились. Я очень рад, что узнал вас. А вы... еще сомневаетесь.

Иван Митрофанович краснеет, как в младшем классе. Серые глаза его затягиваются влажной дымкой, растерянный, он приподнимается, протягивает через стол пять своих усеченных конусов, крепко пожимает длинные пальцы новоприобретенного друга и сердито, из-под навеса усов, выкатывает:

— Вот еще! И как вам не совестно! Тоже сказали — дети. Не дети, а дрянные девчонки. Та, впрочем, поменьше, Гретль, что ли, еще так себе, миленькая, я ведь подслушивал — а вот та, что пошустрее — жмырка, настоящая жмырка. Хитрющая будет баба, эта самая Эрика аус Америка.

Иван Митрофанович смеется; над окрыленными бровями горбинкой вычерчивается складка:

— Вы нарочно противоречите себе, на собственный ум злитесь.

— Не на ум и не от ума это, а от глупого опыта, от многократного спотыкания. Да что обо мне! Я человек почти готовый. Успею обо мне! А любопытно, вот если только не находите нескромным — видите, какой прилипчивый? — насчет ваших, так сказать, планов.

Михаил Артемьевич снова склоняется над чашкой:

— У меня, Иван Митрофанович, строго говоря, определенного плана нет. За час, что я шел из больницы...

— Целый час шли! А можно вас спросить, куда именно вы направлялись?

— То-то и есть, что шел я, в сущности, ощупью. Город этот меня очень интересует, но я его еще совсем не знаю. Под машину я попал не здесь, а где-то в окрестностях. У меня вот тут в бумагах все записано (Михаил Артемьевич достает из бокового кармана бумаги вместе с записной книжкой и кладет на стол перед Иваном Митрофановичем). План мой — навряд ли только слово это подходящее — заключается в том, чтобы немного осмотреться и познакомиться.

— И для этого?

— Для этого я сначала просто шел вдоль улицы, останавливался раза два на рынках, прислушивался к разговорам.

— А по-ихнему вы понимаете?

— О, да. По-немецки я говорю вполне свободно. Сестры в больнице и верить не хотели, что это для меня такой же иностранный язык, как, например, французский.

— Так вы и по-французски говорите! Батюшки! И такой человек должен в наше время... Стыд и позор!

Иван Митрофанович даже руками всплеснул. Оба отпили из уже переставших дымиться чашек, а затем Михаил Артемьевич снова подобрал порвавшуюся нить:

— Уловил я, знаете ли, в разговорах, которые велись при мне, что людям тут живется нелегко — каждая мелочь тяготеет над ними, притом они, однако, отлично умеют сохранять добродушие...

— Ну и сказал! — ввернул тут Иван Митрофанович, совсем повеселевший не от тепленького чая, конечно.

— Особенно дети. Так я и дошел с этой мыслью до вашего бульварчика. Увидел этих двух оживленно беседующих девочек и подумал: не заговорить ли? Очень мне хотелось сразу в здешнюю жизнь войти.

— Да, голубчик вы мой! Так я, олух Царя Небесного, и жест ваш превратно истолковал? Слышу, слышу, как бьется золотое ваше сердце. Да зачем же вы руку-то протянули?

— Просьба о помощи... Кратчайший путь к человеку, разве не так, Иван Митрофанович, — ясно и отчетливо попросить помочь... Затем мне тут же чрезвычайно понравилось, как вы с вашим чисто русским выговором вызвались сами помощь оказать... Вам, Иван Митрофанович, — это каждому прохожему видно — сохранять добродушие не надо, оно вас сохраняет.

— Так ведь исключительно потому, что какой я помощник, сам в подпорке нуждаюсь.

— Все нуждаются.

— Ну, это вы опять маленечко того. Не думаю, чтобы очень многие так нуждались, как, например, мы с вами. У вас, очевидно, в Берлине ни живой души...

— Вот я отправился на поиски и сразу же нашел.

Оба любят друг друга. На неровной глади низкого потолка, над сине-серым в колышущейся светотени — золотистые чешуйки. В растворенное окно — ярко, до снега выбеленная солнцем многоярусная стена. Силуэт сидящего спиной к окну Михаила Артемьевича любовно облит обильно струящимся вокруг головы светом.

— Не нашли, а сами помогали отыскать. Я не о трубочке. Я о том, что в трубочке видать.

И кто бы предположил! Как в младших классах, приставляет Иван Митрофанович валяющуюся на столе свернутую бумажку к прищуренному глазу и смотрит в нее на притаившуюся под тончайшими ресницами синюю звездочку.

— Телескоп моей веры! — провозглашает он, высвобождая бумажку из гуттаперчевой манжетки и разглаживая ее на скатерной салфетке. — Верую, что и для вас, и для меня к добру. Вы, вижу, теоретик, я — практик, нам бы только спеться, и никто козырей наших не переплюнет. Деньги — дрянь, ерунда — деньги, была бы лишь охота их раздобывать.

С ломтиком крошащегося хлеба меж пальцев, Михаил Артемьевич слегка удивляется:

— Я не совсем понял вас, Иван Митрофанович.

— А очень просто. Жить-то вам надо как-нибудь? Уезжать, вижу, из нашей столицы покамест не собираетесь, так почему же ваше законнейшее любопытство к столичной жизни не удовлетворить, как-нибудь вас к ней приладить? По образованной части нынче, правда, трудноато...

— Я и некоторые ремесла знаю.

— Эге, да вы клад непочатый, Михаил Артемьевич. Ну, подавайте, подавайте, какие ремесла?

— Резьбу по дереву, например.

— Тоже сбыта нет. Переполнение рынка. Я и сам пытался то да се, да лишь последние грошки растарабанил. А что вы, позвольте вас спросить, о торговлишке полагаете? Тут всегда на щелку наткнуться можно.

— Торговлей, Иван Митрофанович, я практически никогда не занимался.

— Вот именно что теоретик! В силу этого я говорю, что вам без руководства ни-ни. Перво-наперво запомните, дражайший друг, что руку за помощью незнакомым людям протягивать здесь ауслендэру строжайше воспрещается. Увидит щупоман³⁷ — да и среди партикулярных тут щупомания распространена немало — с места в карьер в участок сведет. Прощай, столица, не былъ, а небылица. Иной разговор — честная, дозволенная законом торговля. Опять же и общественный элемент: все время на людях. И покупать, и продавать — все через людей. Концы с началами!

— Это очень хорошо, как вы говорите, «концы с началами», очень прочно получается... Но вот я внимательно слежу за развитием вашей мысли, а вы все еще не сказали, Иван Митрофанович, что именно надо продавать и приобретать.

— Наоборот, наоборот, милейший мой компаньон, как осмеливаюсь надеяться. Сначала «прі», а лишь затем «про»! Все в свой черед. Как испытанный практик и воспитанник Коммерческого училища подъезжаю я к сути по заранее проложенным рельсам. Без дырки и бублик не бублик. Место надо выбрать, а обстроиться — дело наживное.

— Вот и опять я вас не понял.

— И правильно сделали. Супруга моя, та всегда попрекала: мужчина, а каблуки французские, на пальцах ходишь. Но это сейчас не на очереди...

Иван Митрофанович усмехнулся, как пойманный.

— Меня занимает, какой предмет можно выбрать для нашей торговли, когда на здешних улицах и без того все предметы продаются.

³⁷ Schupo — полицейский (нем., берл.).

— Все, решительно все, от самого первого до самого последнего. Все, да не везде. Папиросы, например.

— Ах, Иван Митрофанович, я так мало в них понимаю.

— Оригинал вы, Михаил Артемьевич, право-дело, оригинал. Не обессудьте за откровенное слово. Что тут понимать! Десять штюк, двадцать штюк, белая коробка, красная коробка — и все. Не в том суть. Главное — караулить у каких-нибудь собачьих пяти углов и в погоду, и в непогоду, от семи до семи, как солдат на форпосте. Один я бы ни за что не решился, а вот с вами попережку — другой разговор.

— Я с величайшим удовольствием.

— Экой вы какой! Даже с удовольствием! Значит, дело наше застрахованное. Одна лишь остановка трамвайная за деньжатами — соображаете? — на обзаведение. Это уж моя забота, конечно. Есть у меня тут человек один, Шпицер называется, из Питера.

— Из Питера?

— Ну да, из города Санкт-Петербурга.

— Петербурга? — чуть-чуть насутился Михаил Артемьевич. — Это ведь... из прошлого, в прошедшей России?..

Лупоглазо-мягкодушно-добросердечный Иван Митрофанович ребячливо пялит свои рябчикового цвета рачьи глаза, и в зыблющейся меж ним и осиянным гостем его полусветлой пустоте возникает незатейливо-назойливый, непростительно-простоватый полувопрос-полуответ: «А ежели он, миллиончик мой, и вовсе без четырех в тrefах!»³⁸ Иван Митрофанович подбрасывает плечи, точно мешок на спине выправляет, и, не поборов кривобокого сомнения, запавшим за жилетку голосом, пытается проскользнуть мимо:

— Может, слышали? Петербургский присяжный поверенный. По нынешним временам от присяги, конечно, освобожден, но православный как будто и в церкви бывает.

Михаил Артемьевич слушает, не слушает, осунулся, как бы в себя ушел. И снова Иван Митрофанович повыправившимся баском:

³⁸ Карточный термин (преферанс): крупный проигрыш.

— Ладно, бросим о торговлишке. Там видно будет. Скажите-ка лучше, Михаил Артемьевич, где пожитки ваши? Не может же быть, чтоб...

— Нет, у меня кой-какие вещи есть. Мало, правда. Я картонку свою у лазаретного привратника оставил, чтобы сперва налегке быть. У меня и воротничок, только не стиранный, а вот фуражка, действительно...

Улыбается, прощенья просит.

— Да бросьте, Христа ради, о мелочи такой! Я адресок хочу предложить вам: Шарлоты-Луизы пляц, 7, бей Мелютин.

— У вас остановиться? Спасибо, Иван Митрофанович. Очень трудно мне на это решиться в виду ваших обстоятельств.

— Не знаете вы моих обстоятельств, вот ни настолечко не знаете! Наперекор предположению вашему, обстоятельства мои в этом смысле как раз наиболее благоприятнейшие. Снимаю хоть и от хозяйки, Линдеквистихи, но замкнутый, как видите, мирок. Покуда супруга моя с дочкой здесь жили, самый выгодный способ был. С тех пор, как уехали, не скрываю, помышляя отказаться от излишней роскоши. Еще сегодня, в долину городскую спускаясь, думал, а не позвониться ли к Линдеквистихе, чтобы насчет первого числа потолковать, крест, так сказать, поставить. Да одумался. Успеется. Ведь по здешней нравственности до самого пятнадцатого — вольному воля. До поры до времени могу, следовательно, гостеприимство вполне оказать.

Размашистым жестом Иван Митрофанович обращает внимание гостя на противоположную стену, вдоль которой, как платформа под брезентом, пухлая кровать и пустая платформа — плоскодонный диван.

— Тут вот за стеной и каморочка есть, если особо хотите. Бывшей дочки моей. Только обязательно прописаться надо будет. Есть там внизу сурьезный такой господин, херр Шмидтке.

— Не знаю, право, Иван Митрофанович, достаточно ли у меня бумаг при себе.

— Разрешите пробежать!

Вместо ответа — давно полюбившаяся Ивану Митрофановичу со всем согласная синеглазая улыбка. Деловой человек и предприниматель Иван Митрофанович достает из верхнего жилетного кармана хитроумно согнутую пенснейку, седлает широко расставивший ноздри нос, медленным темпом наклоняет его над скупающими на столе документами и погружается в работу. Памятную книжку с вырезанной сбоку отлогой лестницей от А до Игрек-Зета он, разумеется, благоспитанно от себя отстраняет, зато остальное все — поглядим, вникнем.

— И почерки же у них!

В листах со сбитыми временем уголками запахи и шорохи ржавой листвы, и каждый из них, чуть развернется, тотчас спешит снова сникнуть в привычную четвертушку. Иван Митрофанович им не препятствует. Каждому посылает он вдогонку одобрительное «так-с!», дружески припечатывая улегшийся лист хлопающей ладонью. Но вот очередь и за листком размером поменьше, мастью посветлее, совсем новеньким. Деловой человек таращит глаза, деловой человек вспотел от недоумения.

— Никак судебская повестка — форлядунг... Vorladung повестка Ан-не Ма-ри-э Хейль-броннер, так что ли? Что же ей от вас нужно, этой фрейлейн Мариэ? Зачем она вас по судам таскает, баба негодная, а?

Михаил Артемьевич возносит руку, касается лба:

— Ах, нет, Иван Митрофанович. Я только свидетель. Эта барышня, Annemarie Heilbronner, сидела, оказывается, за рулем, когда машина на меня наскочила. Должно еще состояться разбирательство, и я как очевидец обязан показать, как все приключилось...

С невероятной при столь мешковатой комплекции прытью, вертя белый листик перед ущемленным носом, чуть не вприпрыжку мечется Иван Митрофанович по комнатке, от

стола к окну, от окна к дивану и от дивана по перпендикуляру — снова к столу, носится, трубит в силпый свой громкоговоритель:

— Да понимаете ли вы, радость вы моя, вникаете ли после происшедшего с вами несчастного случая, что в вас и вправду целый, можно сказать, клад зарыт, что вы, может, на целый год отдых заслужили — от работ и от забот! Ишь, негодная! Ишь, шмыга несчастная! Любишь кататься? Ну и плати! Расплачивайся за удовольствие, бабенка скаредная. По суду! По суду! Обязательно по суду! Я вообразил — обеспокоился даже — что это к вам претензия, ан наоборот выходит, сам собою каламбур выскакивает — кругленькая сумма «наоборот», на все будущие предприятия ваши! Вот где без Клементия Лазаревича, без этого самого Шпицера, ни за что не обойтись. Вот где случай ему таланты обнаружить! Задаст же он ей перцу, шмыге короткохвостой...

Не раз и не два выпрямлял уже Михаил Артемьевич узкую свою ладонь, прося слова. Напрасно. Трубный глас все заполнил, все заслони́л. Лишь когда восторженный поклонник Клементия Лазаревича до щекотки в горле насытился верным, как страшный суд, посрамлением жестокой и жадной лимузинщицы, лишь когда увидел он ее самое раздавленной — нравственно! — и с повинным чеком в руках, лишь тогда спохватился он, что тут же у стола сам виновник торжества, жертва и мститель, орудие справедливости — Михаил Артемьевич.

— Не так ли, Михаил Артемьевич? Сегодня же — чего откладывать — вместе отправляемся к Шпицеру, и в первый раз за все это утро Иван Митрофанович решается прикоснуться к плечу бледнолобого чудака, удачливого неудачника Миши Незнамова. До чего же удивлен, огорчен и — ну да! — возмущен враг лимузинов и друг беззащитных пешеходов, когда блеснувший на него глазами Миша Незнамов, до придирчивости невозмутимый («тоже нашелся тихоня»!) Михаил Артемьевич оgoroшивает его таким примечанием к тексту:

— Вы, Иван Митрофанович, увлечены неправильным представлением. Ни у нее ко мне, ни у меня к ней никаких претензий не имеется. Разбирательство все на основании полицейского протокола. Не нарочно же людей дают. К тому же, m-lle Heilbronner, куда я в лазарете был, была очень добра ко мне. Сестры передавали от нее и цветы, и сладости...

— У, негодная! Еще смеет подлещиваться...

— Что вы, Иван Митрофанович! Зачем задерживаться на теневой стороне? Просто жалко потерпевшего прохожего, хоть и незнакомого.

— Но вина-то, небось, на ней? Что вы, например, как очевидец показать можете?

— Очень немного, в сущности. Это, как теперь оглядываюсь, где-то под вечер было. Я зачем-то дорогу переходил, и тут в сумерках обдал меня сноп света, даже внутри как-то все осветилось, и сразу — как сейчас вижу — совсем вплотную ко мне стекло, толстое-претолстое, никогда, кажется, прежде такого не видел, а потом все вдребезги. Очень ясно слышу, как разбилось, и мысль свою последнюю помню: такое толстое, а разбилось...

— Ну, хорошо. А трубила, ту-тукала она до этого?

— Нет, как будто.

— Попалась, значит! За это и поплатится. На то и дана ей дудка чертовская, чтоб тутукала, добрых людей предупреждала.

— Она, возможно, и предупреждала, да я, верно, нарочно в другую сторону прислушивался.

— Что вы это, Михаил Артемьевич! Адвокат ей что ли?

Михаил Артемьевич покидает насиженный стул и уже сам, по собственному почину, прикасается теперь к подброшенному плечу с пристрастием допрашивающего его обвинителя:

— Я, дорогой Иван Митрофанович, весь случай по-иному воспринимаю. Знаете, какое это стекло разбилось? Призрачная стена, отделяющая от мира. Неправда ли, все видимо

лишь сквозь собственное прошлое, а у меня оно вот в эти поздние сумерки все разлетелось на мелкие осколки. Так ведь так гораздо легче. Что их подбирать? Почему не смотреть на вещи прямо. Шутливо говоря: без очков, неподвзятими глазами. Что нужно узнать, и так узнается, а что не узнается, пожалуй, и не нужно, а?

От прикосновения возмущенное плечо Ивана Митрофановича покорно оседает, он отступает к окну, косится через весь двор на задний многоярусный план, ищущая к чему бы прислониться мысль его налегает на гигантский треугольник, на пятиэтажных размеров тень, успевшую затушевать там налево целый угол от белоснежного фасада: «Учись, учись, и стар, и млад. Коль глаза не предвзяты, и цельный домище — что твоя классная доска. Ничего не скажешь!» Между тем, Михаил Артемьевич стоит почти рядом, как бы в мыслях читает, ждет, верно, на свое вопросительное «а?» ответного «б».

— Ничегошеньки не смыслю я, Михаил Артемьевич, во всем этом — ни бе ни ме! Мудреное что-то. По специальной, не по моей, видно, части. Об одном догадываюсь, что вы своей выгодой поступиться готовы, а чего ради — темна вода. Как угодно, хочу все-таки с Вашего позволения, хоть и без вас, сделать доклад господину Шпицеру.

— Расскажите, конечно. Какой секрет в том, что потерявший иногда в выигрыше.

— Чудно вы, однако, рассуждаете! Слушать вас весьма даже приятно, а вот слушаться — истинная катастрофа будет. Застигни нас тут вдвоем Мария Львовна, строгая моя супруга, непременно сказала бы: чудак чудака чует издалека. Мастерница она поношенные наши пословицы перелицовывать.

— Долго собирается супруга ваша с дочерью в отсутствии пробывать?

— Ох! — отскакивает от окошка Иван Митрофанович, — не спрашивайте, голубчик, не спрашивайте. Это сейчас не на очереди... Может вечерком, при искусственном, так сказать,

освещении. Если ничего не имеете, за пивным кувшинчиком. А в настоящий полносолнечный час не удобнее ли с дневными делами покончить?

Ответная улыбка приглашает продолжать.

— Дела у нас какие? Вам надо в кранкен-гаус за вещами. Проводил бы, если б столп мой и прибежище не вздумал в райские места переселиться, под сень струй, а к нему обязательно в обеденное время надо, семейный стол обожает. Я слетаю, а вы того и раньше вернетесь. Ну и располагайтесь по-домашнему. Хотите — здесь, хотите — в каморочке. Вот давайте покажу.

И Иван Митрофанович, великомосковский практик и любитель удобств, постепенно и последовательно держа дорогого гостя под руку, исполняет превеликое множество целесообразнейших обрядов. Уже кожаный портсигар набит папиросками; уже греется новый адрес Шпицера у скрывшейся в железный футлярчик пенснейки; в книжку с отлогой лестницей на ступеньке «эм» заносится адресок «бей Мелютин»; торжественно вручаются, в копии, конечно, ключи от замка Святого ангела; по широковещательному плану с зеленым овалычиком Шарлотты-Луизиного праца в точности устанавливается, как вернее всего проехать к дальневосточной — что ж, тут и вся наша Империя! — к лежащей на далеком востоке больнице, а также — в райские кущи шпицеровского пригорода. Затем уже все идет в известном порядке, только наоборот, сверху вниз. Крошечные сени, за дверью в галерейке маленькая задержка, чтоб показать, который ключ к которой скважине, дальше — медная ландеквистихина дощечка, еще дальше — не выпускающий из светлорозовых уст светло-желтую тромпету³⁹ трубач, а совсем внизу — у окошечка сбоку, квадратного и с тюлевой пленкой — стук-стук и:

— Гутен таг, хэrr Шмидтке! Дизерр хэrr, фон Незнамов, комт нох — еще, мол, не в последний раз у меня в гостях.

³⁹ Trompeta — труба (испан.).

На улице темп еще убыстряется. Миг — и серо-голубенькая примета у угловой пивной — жалко, а что прикажете делать? — после одной, всего лишь одной рюмочки ржаной превращается в звякающую кучу разнокалиберных монет. А вот и дальневосточный номер со скрежещущим визгом берет дугу. В узкой ладони — полновесные монетки, не дает опомниться Иван Митрофанович, подсаживает:

Бряк — бряк и ззззз... Как истинно здешний туземец, помахивает Иван Митрофанович бескостною кистью, дескать, и здесь без стеснения. Бежит колесико под трепещущим проводом, косым рычагом-кнутовищем подталкивает, подгоняет дернувшийся вперед вагон, гонит его за бульварик, и нет, и скрылся, и снова без дела отборным серебром сияющие рельсы. Иван Митрофанович — один. Стоит на изогнувшейся вдоль рельс площадке, мягкой ладонью вытирает на весистый ус, бормочет:

— Концы-то концы, а вот на началах каких?.. Ну да как-нибудь! И мотнув кулаком в нагретом воздухе, точно невидимый кран повернул, он предупредительно этак пропускает по наезженному до блеска асфальту замухрышку-кабриолетик, а затем и сам пускается в путь.

Уж он знает, зачем.

2. Если правильно рассчитать

Если правильно рассчитать, если точно взвесить, семь раз, раз за разом предусмотрительно отмерить, почему бы после этого разок и не отрезать?

Так не без колкости вопрошает всем прямоугольно трезвым, прямолинейно формульным видом своим светло-зеленого оттенка свежевыкрашенный куб, новокупленный дом К. Л. Шпицера, бывшего присяжного поверенного бывшего округа Санкт-Петербургской палаты, увы, тоже бывшей. Времена меняются, с ними — лица строений, а заодно — и титулы, и звания наши. Был К. Л., т. е. Климентий Лазаревич, присяжным поверенным, а теперь он поверенный просто,

и хуже того! — прилепился к нему новый, отдающий аптекой херр-докторский титул. Жил он на прочном доходном основании с собственными дворниками, старшим и младшим, на улице с тоже прочной весьма репутацией, на Фурштатской; да вот приключилось великое наводнение, размыло основания и устои, швырнуло присяжного поверенного, как был он в шубе и в калошах, в самую пучину бед и выбросило его, барахтающегося из последних сил, уже не в подъезд шестиэтажного доходного дома, а в бездоходную находку, в кубической формы спасительный ковчег. Где тут было заприметить, что выгодной дешевкой отличается до последней завитушки скрытая пружина шпицеровской мудрости? Наперекор голосу куба, четко расчлененного вдоль и поперек квадратами окон, не взвесил, видно, доктор Шпицер, не рассчитал правильно, не отметил семь раз, подписывая у нотариуса купчую крепость на явное самообнаружение. Уж не водила ли его рукой тоска по собственному дворнику?

Но нет у доктора Шпицера ни дворника, ни даже садовника, есть всего лишь одна-единственная горничная в присвоенной, правда, форме, в черном и белом, с наколкой над челкой. Именно она, как в кукольном театре, сразу и появляется на игрушечном крыльчке, едва Иван Митрофанович нажал у калитки на беленькую пуговку в черной медальке, появляется и смотрит, мигая через секунду черными глазами под белой наколкой.

Чувствует Иван Митрофанович, что слово за ним, и слово иностранное:

«Их» — как винительный третьих неведомых лиц, звучит в чужой полднейной тишине личное «я» Ивана Митрофановича, и, чтобы не спутала бело-черная куколка, он еще раз сильнее ударяет на «и» — «Их цу Кле...цу херр доктор».

Хрупкого вида заведеньш-девица покачивает черною челкою, надо объяснить причины и повод, и, округлив руки, Иван Митрофанович собирается грести. Грести, однако, нет

надобности. Откуда-то из-под мышки форменной горничной внезапно вылезают довольно понятные русские слова:

— Мой сын уехал в город. Если хотите подождать... — из-за повернувшейся Иван Митрофанович на каблучках туго заведенной фигурки показывается совсем маленькая старушонка, тоже в черном, но очень широком, до самой земли; в ссохшейся ее руке лишенная конца — отпилили, видно — палка-полпалки.

Горничную относит за створку зеленой двери, что-то вещит с нарочитой хрипотой, калитка в садик Бабы-Яги колдовским вроде способом сама собою отворяется и, миновав синеватую японскую тую, Иван Митрофанович уже на темно-зеленом крыльчке со шляпой в руке и с низким поклоном:

— Как изволите поживать, Сара Абрамовна?

Старушонка приподымает красные веки, удивленно выпевает:

— Господин Мулютин? Я совсем не догадалась Ваш голос.

— Да где ж по-немецки голос мой разгадать?

Иван Митрофанович следует за старушонкой, вступает через изумрудную переднюю в презентабельный темно-коричневый кабинет.

— Сидите пока здесь, читайте пока из той газеты, кажется, наша, а когда мой сын будет...

— Благодарствуйте, Сара Абрамовна.

Иван Митрофанович опускается на указанное ему клубное кресло подле столика с газетами и читательской пепельницей, осторожно кладет на ковер, точно запачкать боится, тульей вниз растормыженную свою шляпу, оглядывается на доброго качества письменный стол, на лапчатую тую, поглаживающую синеватыми лапами четырехстворчатое, в шестнадцать стекол окно, лупоглазо наталкивается на все еще дежурящую у дверного косяка старушенцию и, неизвестно отчего, ему делается нестерпимо грустно.

— Как изволите поживать, Сара Абрамовна? Ни шатко, ни валко?

— Што-о?

Как бы для того, чтобы удобно было подхватить размотавшийся вопрос, Сара Абрамовна, опираясь на палку, отчего делается еще меньше и сгорбленнее, добирается до дивана у стены насупротив, опускается на самый край рядом с книжным шкапом и, сложив костяшки пальцев на костяной ручке обездоленной своей путеводительницы, выжидательно слепнет. Вместо глаз — одни красные веки.

— Осведомляюсь я, как здоровье ваше.

Старушка прозревает.

— Ай, что здоровье, когда здесь так скучно. Вам не скучно? Мой сын всегда говорит, што вы добряк. Когда мой сын говорит, так я верю. Он очень-очень строгий, ого. Ну, так я вас спрашиваю: вам не скучно?

Разговор завязался, поди-ка развяжи.

— Как сказать! Вчера, к примеру, очень скучно было, а вот сегодня немного разошлось. С человеком поговорил. Солнышко греет. Это, знаете, как когда. А вообще-то, конечно.

— Ай, что Вы говорите «конечно» — старушка даже палочкой махнула. — Разведь так живут? Все люди имеют общество, все люди знают, что им надо. А мы знаем? Мы знаем только, што та-ам еще хуже. Ну, так што?

Иван Митрофанович хмурит седеющие кустики бровей, тужится поймать кончик старушкиной мысли:

— Что и говорить! Конечно, времена не те. Не то, что в Петербурге.

— В Питербурге? — старушка снова взмахнула палочкой-хромоножкой.

— Зачем говорить в Питербурге. Вы думаете, што я со всем моим сыном согласна? Ой, как нет! Ой, как нет! Но в Питербурге я могла сговориться с человеком. Там я могла идти на Офицерской в большую молельню. А очень хотела,

так я совсем садилась на поезд и ехала к моей старшей сестре в Гомеле.

«Еще старше!» — изумился про себя Иван Митрофанович, прицепился же он к иному:

— А скажите, пожалуйста, Сарра Абрамовна, ведь молельни Ваши и здесь имеются?

От негодования мадам Шпицер похлопывает клетчатым мягкоступом:

— Здесь! Вы говорите здесь! Вы знаете, что здесь за молельни? Когда я сначала пошла в Судный день — што вы думаете? Это самый большой праздник. Просят жизнь и здоровье, и материально, и снять грехи — на целый год. Так что вы думаете? Тут — я, и тут — одна берлинская дама. Так я, когда Бог силы дает, стою себе целый день и молюсь, а она приходит и уходит, и опять приходит, и опять уходит. Так я ей-таки сказала: в Судный день надо молиться. Ну, вы мне поверите, што эта старая дама сама сказала? Если Судный день, так почему книга порванная и не целая. Когда моя книга порванная, потому что уже мама моя с этой книгой ходила, так она мне говорит, что я плохо держу Судный день. Ой, сказала я, пускай Бог снимает с ней этот грех. Уж лучше, как мой сын, который ничего не держит...

У Ивана Митрофановича чуть не сорвалось опровержение, но он вовремя успел прикусить вражий язык. Старушница же разошлась вовсю:

— Так ну, так я себе сказала: где моя старая порванная книга, там моя молельня. Не надо мне парфюма, не надо мне бальный туалет. Я сама знаю, што надо говорить в понедельник и четверг и што в субботу. Разведь не-ет? Вы думаете, господин Мулютин, я кушаю с ними? (старушка захмехмекала) — таки нет! У меня в Питербурге было каширно — разведь Вы не знаете, што это? И у меня в Берлине было каширно — и у меня, слава Богу, на этой даче будет каширно. Хоть крошка дела. А если невестка моя морщит нос, так невестка всегда морщит нос. Зато Володенька будет знать, что да и што нет. Ведь мальчик уже четырнадцать лет

и ой-ой-ой, какой у него был прадедущка, мой папаша, штоб его добрые дела нам помогли, как мы приняты говорить. Што, не верно?

Если б взгляд мадам Шпицер в эту минуту не затуманился окончательно, она прочла бы на лице собеседника искреннейшее сочувствие. Так вот кем обернулась вдруг шпицеровская Баба Яга! Божьей старушкой, страдальницей, так сказать, за веру, богомолкой беспризорной. Уже не первый год попадаетея она ему на глаза, а вот не подозревалось даже, что за тумбой такой схорониться может. От избыточного чувства Иван Митрофанович переливается в засасывающем кресле с боку на бок и сыплет без разбора своим баском:

— Это Вы правильно выразили, Сара Абрамовна. Обязательно надо знать, что да и что нет. Без этого ни до порога. Я и сам, особенно вот уже здесь, в храм зачастил. Единственное иногда место, где нужные слова высказываются. Нельзя без того, чтоб не высказаться. Того и гляди — сердце лопнет. Трудно нам без сочувствия. И опять же память батюшки. Как и вы, хоть и моложе значительно, свято, свято чту. Тоже купец он был большого размаха человек, но ни на грош, скажу я вам, фальши. Митрофан Мелютин — имя было, весь Большой Черкасский знал. До самой японской войны. Я ведь на чем разорился? На честности. Не знаю уж, интересно ли Вам. Замечательный случай был, и в газетах тогда писали.

Саре Абрамовне очень интересно. Она и голову в сторону, к книжному шкафу отвернула, чтоб слова не проронить. Только не все доходит до нее. Вот что это такое про «черкасов» вдруг? Ослышалась, что ли?

— Извините, пожалуйста, господин Мулютин, што я вмешиваюсь. Когда вы сказали, что черкасы, так я тоже подумала об одном татаре. Он жил в доме у нашего папаша, и у него была жена, тоже татарка. Так вы мне не поверите, когда у них родился ребенок, мой папаша в очень большой праздник не пошел в молельню. Почему?

Узнать, однако, почему покойный батюшка шпицеровской старушки в очень большой праздник не отправился со

своей родовой книгой в молельню, Ивану Митрофановичу не было суждено. На самом занимательном месте вынужден был он перебить посторонним совсем восклицанием.

— Никак ваши!

И действительно, едва хлопнула садовая калитка, как за шестнадцатистекольным окном, за густохвойной туей слышались попеременно с шагами голоса. Старушка привстает; ковыляя за своей хромоножкой, направляется к двери.

Освобождает свое клубное место и Иван Митрофанович. Только старушка за дверь, и на пороге — сияющий по-весеннему, с фиалочками над выхрюпками верхнекарманного платочка, сам Климентий Лазаревич, поверенный и доктор. Вот и толкуй тут без толку, будто в Берлине скучновато.

Небольшого роста вольный поверенный жизнерадостно наклоняет пробор, прямо с порога выбрасывает, как на гимнастике, обе руки вперед, приветствует черносливым глянце-витых глаз:

— Искренне рад Вас видеть, Иван Митрофанович. В самую, что называется, точку попали.

«С чего бы это, — пощипывает под небом у Ивана Митрофановича. — Экая невидаль».

— В свою очередь рад, Климентий Лазаревич, поздравить Вас с новосельем. Не дом, а игрушечка. Ровно как из-под елки.

— Неправда ли, — сухопожатием придавливает Климентий Лазаревич Ивана Митрофановича ладоньи подушечки, наступая, сталкивает поздравителя в клубное кресло и, переступая с ноги на ногу, — шаг назад, шаг вперед — продолжает убедительно спрашивать. — Ведь в нашем положении, пожалуй, лучше такой зеленой ширмочки и не придумаешь. Залезь себе в ящик и выжидай под прикрытием, не так ли, Иван Митрофанович? Не правда ли, не мы, так потомки наши.

От сухого пожатия и обволакивающего клубного кресла Ивана Митрофановича ударяет в пот. Прикорнувшая было за молитвенным разговором грусть вновь протягивает кого-

ток. Неловко. Неуютно. Мягкий ковер теснит. Сами собою утюгами заходившие ноги не могут остановиться, выпаривают из всего корпуса остатки непринужденности.

— Всемерно присоединяюсь, всецело. Как же. На одном терпении и держимся. Сейчас матушке вашей то же самое говорил. Очень мы приятно с ней время провели. Одно единственное смущает, покою, так сказать, не дает.

Изящный поверенный отходит к доброкачественному столу, приспускает черно-бархатными гусеницами пошевеливающиеся брови, глаза его тускнеют, и он четко щелкает раз и второй раз костяными пальцами:

— Что же именно смущает вас, Иван Митрофанович?

Хоть и не впервые ему, щелчки господина Шпицера ударяют Ивана Митрофановича в самый лоб. Он тоже хмурится, раскидывает руки по обе стороны предательски вкрадчивого кресла, подбирает окрепшие сразу ноги и пускается по кратчайшему расстоянию:

— Да как же. Да помилуйте. Как бы нам не обтерпеться. Если уж вы от нас не утек...

Клементий Лазаревич перебивает, обе шевелящиеся головки бровей соприкасаются над самой переносицей, бритые губы — пухлой розеткой:

— Ну-у-у знаете, вот не ожидал.

— Да как же. Как подошел, первая мысль — башенка, что ли с плоской крыши подмигнула — это тебе, брат, не шутки. Что называется, семь раз отрежь...

— Отмерь, — поправляет Клементий Лазаревич.

— Ну да. А уж потом к штуке назад не тянись, никакими нитками суровыми не пришьешь. Бита, выходит, карта наша. Пиши завещание потомкам, чтоб за нас отыгрались. Сами ведь говорите.

— Ах, так вот вы куда метите, — успокаивается Клементий Лазаревич, не без опаски следивший по старой привычке за своенравными наплывами мелютинских новообразований. — В дезертиры вздумали меня зачислить. Сейчас же будете иметь случай убедиться, что дело обстоит совсем даже

не так... совсем, совсем не так, как вы полагаете, — и Клементий Лазаревич многозначительно щелкнул, на этот раз загадочно, всего лишь однократно.

Повисшие вдоль кресла руки Ивана Митрофановича ищут, каким бы образом спросить, на обеих пальцы слагаются в трооперстия. Но выдержав загадочную паузу, Клементий Лазаревич сам разъясняет:

— Имею для вас одно очень значительное сообщение крайне серьезного свойства. Не явись вы лично так кстати, сегодня еще попытался бы... Одну секундочку.

На благоустроенном столе звякнуло в той самой черной рогатой коробке, для которой у доктора Шпицера всегда была наготове ласковая нотка и к которой Иван Митрофанович, напротив того, где он ни столкнулся, питал непреодолимую неприязнь. По тому же звяк-знаку — у всякого свое положение — Иван Митрофанович встрепенулся, собираясь как бы броситься вон, Клементий же Лазаревич, приятно ослабившись и качая энергично головой в знак того, что мол, не мешаете, отчетливо произнес в снятую трубку известную свою фамилию с полным херр-докторским титулом:

— Слу-у-шаю. Да. Это я сам. Кто рекомендовал? Ах, так? Понимаю, да. Так, так. Да, лучше лично... само собой. Тоже лучше лично... Пожалуйста. Значит до свидания. До свидания...

Прижав к уху слуховую чашечку, Клементий Лазаревич еще некоторое время пристально щурится в раструб и, как бы разглядывая что-то на темном его дне, медленно опускает затем херр-докторскую трубку на приутовернувшиеся козлы и, жизнерадостно улыбаясь, обращаясь к полуотвернувшемуся Ивану Митрофановичу:

По тому же делу. Вы, кстати, заприметье новый мой номер. Вестдорф, одиннадцать двадцать. Один, один, два ноль.

— Один да один — два, а в итоге ноль. И записывать не надо. Почти что пословица. А позвольте ли вы, Клементий

Лазаревич, мой повод изложить. Вижу, у нас дело на дело наскочило.

— Само собой, Иван Митрофанович, что за вопрос. Я почему не особенно тороплюсь. Покушение на вас готовлю. Хочу просить вас пообедать с нами.

В затененных глазницах — чернослив деликатес, плечо над выхрюпившимся платочком выставилось вперед, фиалки в петлице темно склонили вялые головки. Ивану Митрофановичу не по себе. Хотелось бы поскорее покончить и домой. От накрахмаленной ласковости шпицеровского голоса у Ивана Митрофановича в сердце стук беспокойства. Безо всякой нужды достает он пенснейку, дышит то на одно, то на другое стеклышко и между делом роняет:

— Весьма (дохнул), весьма (снова дохнул), весьма, весьма любезно, Клементий Лазаревич. Разрешите, однако, если можно, как-нибудь при другом случае (спрятал пенснейку и достал портсигар).

Клементий Лазаревич наперерез: преподносит свой, плоскоський, свободной рукой тянется к спичечнице.

— Спасибо, спасибо, Клементий Лазаревич. Я ведь так, — машинально прячет портсигар, опираясь на вязкие поручни, встает, заставляет любезнейшего гостеприимца отступить подальше от пепельницы. — Мне, знаете, сегодня немного к спеху. Гость у меня, знаете...

— Мария Львовна, — жизнерадостно догадывается Шпицер.

Иван Митрофанович чуть-чуть покраснел, думает и незаметно для себя пятится чуть-чуть назад:

— Нет. Совсем неожиданный гость. Именно о нем хотел бы, так сказать, небольшой доклад сделать. Порядок дня на ваше, впрочем, усмотрение.

— Так что же, Иван Митрофанович, давайте. Не сесть ли нам к столу поближе — упражнением в две руки Клементий Лазаревич сразу указывает место сбоку клиенту как бы, адвокатское — себе.

На твердом стуле Иван Митрофанович чувствует себя тверже. Хозяин — нога на ногу, и он тоже на край стола облокотился.

— Слу-у-шаю, — ласково, как в телефонный раструб, приглашает хозяин.

У Ивана Митрофановича план действий разработан еще в дороге. Со ста марок начать, пожалуй, неудачей кончится. Временной, по крайней мере. Лишний ноль очень может озадачить и, того и гляди, останешься без единицы. Что с того, что свои же просишь. С 19-го года не один должок похерен. На куб изумрудный с форменной горничной есть, а на мелютинское брюхо, коротко выражаясь, нет — и все тут. Стало быть, первоначально заинтриговать надо, интерес пощекотать:

— Интереснейший случай, по вашей юридической специальности, Клементий Лазаревич.

Присяжный поверенный лениво сводит большой и средний палец левой руки — он и левой умеет — щелчка, однако, не издает, немного свысока кидает взгляд на притулившуюся к клубному креслу шляпу и с сокращенной ласковостью повторяет:

— Слушаю.

— Как вы полагаете, Клементий Лазаревич, если человек пострадал от машины, ну от мотора, обязаны ему убытки возместить? Есть сомнение, дан ли был предусмотренный правилами о езде трубный сигнал... Ясно?

— Со-вершено ясно, — почему-то отрицательно покачал приспущенной головою юрист.

— Дальше. Сшибленный — Незнамов Михаил Артемьевич, он-то и есть мой гость — вообще-то после больницы оправился, только память у него сильно подалась, странности тоже некоторые появились, слову «Петербург», например, и то подчас удивляется, а так, конечно, очень в высшей степени приятный человек.

— Ну, это-то все равно, Иван Митрофанович. Важно, имеются ли какие-либо документальные доказательства, свидетели или...

— Как же, как же. Вот прихватил я тут повесточку.

Прихватил-таки Иван Митрофанович повесточку, припрятал в жилетный карман — жилетные самые верные и есть — не доверить же Мише Незнамову благоприятнейший его шанс. Передает он сплющенный документик, откидывается назад, и недовставленные глаза его приковываются к юридическому пробору. Водворяется пауза.

— Это другой разговор. Полицейский протокол, имеется, несомненно, медицинское свидетельство. Частная машина, да еще к тому же женщина-шофер, это знаете, имея в виду местную судебную практику, очень благоприятный шанс. Что-нибудь потерпевший непременно заработает, если только...

— Что же именно «если»?

— Если потерпевший — кажется, Незнамов, — если господин Незнамов действительно потерял значительный процент трудоспособности, а не... ну, знаете сами, Иван Митрофанович, бывает ведь и так, что симулируют.

— ...мулирует? — «си» Иван Митрофанович проглотил вместе с набежавшей от прилива чувств слюною. — Михаил Артемьевич симулирует! Самую мысль отвергаю.

Тут очередь возмутиться за специалистом по несчастным случаям:

— Позвольте, Иван Митрофанович, перестая вас понимать. Надеюсь, что вы...

— Не шучу, не шучу. Не шутки ради драгоценное предобеденное время отнимаю. До самого казуста, как покойный родитель мой говаривал, — упоминал вам, кажется, что он с самим Плевакой на равной ноге был — до казуста-то мы не дошли. Остальное все я и сам как практик осмыслить могу. А вы вот разъясните мне что. Если потерпевший не в твердой памяти, может он сам решить, взыскивать, или простить иск? Вот в чем закавыка.

Сухопалый Клементий Лазаревич проверяет свои заново отделанные ногти. Иван Митрофанович знает, что минута серьезная. Тихо. Муха пролетит... только откуда ей взяться

в заграничном кабинете с четырехстворчатým окном? Весь кабинетный куб до самого потолка с приделанным посередине для матового освещения полушарием наполняется тишиной. Ивану Митрофановичу хочется чихнуть, но он удачно справляется, покуда из юристконсультских уст не вылетает первый звук:

— Гм... Будьте здоровеньки, Иван Митрофанович. Не дует тут?

— Не, не, спасибо.

— Видите ли, Иван Митрофанович, случай с осложнением. Не берусь ничего сказать, пока не переговорю со своим социем.

— С кем, позвольте спросить?

— Да с немцем-адвокатом, с которым я...

— Ага. Понял, понял. С сообщником, так сказать.

Клементий Лазаревич строго смотрит прямо в выпученные серые глаза:

— Возникает вопрос о попечительстве. Срок, правда, близкий, но можно всегда перенести. Лучше всего, если б потерпевший...

— Думаете, сам явился? Так ведь в том-то и штука, что он иску противится.

— А вы давно знакомы? Нельзя ли ему внушить как-нибудь?

— Ох, Клементий Лазаревич, боюсь, как бы он мне не внушил. Любопытнейший человек Михаил Артемьевич. Сегодня только встретились, а как будто век знаешь. Трудно мне это объяснить, словно в один присест полную солонку соли с ним съел. Как-то, знаете, за живое задевает.

Темно-бархатные гусеницы Клементия Лазаревича опять потянулись головками друг дружке навстречу.

— В таком случае покончим вот на чем: я в ближайшие же дни выясню, в какой последовательности надлежит действовать, а вы берите на себя потерпевшего.

— Беру, беру. Как же. Весьма даже охотно. И как что — позволю я вам в Дорф — две единицы и двойка с нулем. По-

чтенный номер, кстати сказать. У нас в училище при таких отметках личное приглашение к самому директору получали. А заодно разрешите еще о другой единице — с двумя нульками, о сотенке...

Выпалил — собственной храбрости изумился. Вот что значит, когда не для одного себя клянчишь. Решительный момент. Либо — либо. Сорвется или не сорвется? А ну-ка, ну-ка... Но богатый сюрпризами день остается верен себе. Вместо того, чтобы с укоризненной заминкой произнести: «однако, Иван Митрофанович, ведь всего только третьего «дни», именно «дни», чтоб совесть ущипнуть», - Клементий Лазаревич подставляет чистосердечно свой взор под самый нажим уставившегося на него Ивана Митрофановича и, совершенно забыв очевидно о последней встрече в городе, не формально, не юридически, а дружески-соотечественно улыбается:

— Очень рад, что как раз сегодня вполне располагаю нужной вам суммой («Эге» — одними кустиками по краю холмистого лба выражает Иван Митрофанович — «эге») — А вы решительно отказываетесь от обеда? Разговор, видите ли, еще большой.

— Как сказал уже, исключительно из-за гостя вот. Простите, Клементий Лазаревич. Мне и столько крупная сумма отчасти для общего с Михаилом Артемьевичем начинания нужна. Я теперь с ним, с Мишей Незнамовым, в компании, так сказать. Концы с началами.

Знаменитая мелютинская концовка действует. Членистые брови Шпицера принимают удобное горизонтальное положение, настольная лампа зеркалится по обеим сторонам хрящеватого, вкось несколько, носа зеленеющей искоркой, и уж наверное приступил бы Клементий Лазаревич без всяких дальнейших приготовлений (сто марок тоже на улице не валяются) к большому своему разговору, не появившись тут в непритворенной двери весьма некстати черномазый вихрастый парнишка в ниспадающих на плотные шерстяные

чулки английских шароварах с непринужденно картавым, отчетливо цецекнувшим:

— Здравствуйте.

— А, Володенька, Владимир, так сказать, Клементьевич!

Володенька подскочил, Володенька здесь, мигнув на лежащую шляпу, подогнув копытце, поздоровался за руку.

— Мама — сказала — обед — через полчаса — ровно. — Отбарабанил.

— Что ж это, Володенька не в школе? — любопытствует Иван Митрофанович, адресуясь не то к отцу, не то к сынишке, не то в бережно лелеемое кабинетное пространство.

— Мы сегодня имели Ausflug, — отвечает, конечно, Володенька. — Я не пошел.

— Владимир! — строго напоминает ему отец — *экскурсия*.

Володенька вертится в английской своей курточке, бьет об ковер подкованными башмаками:

— Когда, не знаю... Прогулька, да, — мягчит и окает он, широко раскрывая пунцовый рот.

Клементий Лазаревич ищет сочувствия не у сына, нет, у соотечественника, приехавшего дополучить сто марок Ивана Митрофановича. Сынишкино сердце однако чувствует, правильно подсказывает, чем бы утешить:

— Ай, знаешь, папа, мне Коля сегодня подарил стихотворение. Таки очень красивое. Про Segel.

— Как тебе не стыдно, Володя. Ну что подумает о тебе Иван Митрофанович? Коля разве тебе немецкие стихи подарил? Это, знаете ли, — поясняет Клементий Лазаревич, — здесь по соседству тоже русское семейство. Очень способный мальчик Коля их. Его ровесник. Какие стихи сочиняет, просто удивительно.

— Знаю, уже знаю, — врывается колин ровесник, подпрыгивая коричневатými шароварами в крупную горошину с молниеподобными зигзагами. — Так! Бьелеет фарус одинокий в морском тумане...

— Голубом — да, Володенька? — вмешивается тут в колиты стихи Клементий Лазаревич и, пропустив мимо ушей оскорбительно маячащий фарус, поблескивая зубами, отмахиваясь неизвестно от чего и головой, и руками, он пытается щелкнуть, но неудачно: Вот так-так...

Иван Митрофанович трясется, будто не твердый клиентский под ним стул, а вроде дачной качалки где-нибудь за Сокольниками. Трясется, хохочет, за платком полез. В чем дело? Володеньке невдомек. Володенька слегка даже огорчен. Черные его вишенки — как бы и им в свое время глянцевиным не обернуться черносливом — черновишенки его перекатываются справа налево, слева направо, ищут, на ком бы остановиться.

— Ох-хо-хо, — не унимается Иван Митрофанович — классик, настоящий классик. Прямо на полочку просится.

Сморкается, слезы вытирает, за стол хватается отец-юриисконсульт, а главное, гуманный педагог, считает нужным поскорей восстановить порядок и по-председательски берет-ся за руководство прениями:

— Мы, Володенька, смеемся по поводу других, очень похожих стихов. Это ничего, Володенька. Плохо вот, что ты совсем говорить разучился. Как ты сказал — фарус. И затем: прогулка, а не прогулька — пфуй дайбль!

— Так его, так его, Владимира Клементьевича.

Но больше слова никто не получает. Прения кончены. Следует резюме:

— Скажи маме, Володенька, что Иван Митрофанович, к сожалению, остаться не может. Через полчаса мы, во всяком случае, будем свободны. А ты обязательно должен...

— Ничего Володенька не должен.

— Послушайте, Иван Митрофанович, мы уже лет пятнадцать знакомы. Всегда считал вас человеком редкого душевного благородства (Ишь ты — признательно выпячивает затылок Иван Митрофанович). Могу ли я рассчитывать на то, что все, что я вам сейчас сообщу, останется...

— Да помилуйте, Клементий Лазаревич, не знаю я что ли, что язык, что называется, до Бутырок довести может.

— Не сомневаюсь, Иван Митрофанович. Я просто, чтоб подчеркнуть. Так вот: дело, вы сейчас услышите, государственной, можно сказать, важности (вздыхнул и снова с твоей посоветовался, в глазах зеленые искорки). Как бы это вам объяснить (палец с заново отделанным ногтем бархатистую шершавит бровь). Вы знаете, что червонец...

— Что червонец?

— Одну секундочку. Изложу вам все по порядку. Советская валюта, как известно («Ишь ты, ишь ты, в финансовые дебри забираемся»), она, попросту говоря, сплошная фикция.

— Само собою, что и говорить, чистое жульничество.

— Ну вот. А между тем, знаете ли вы, Иван Митрофанович, что не только в самой России, но и на окраинах, в этих самых лимитрофах, бррр... не люблю я слова этого — советский червонец — деньги.

Иван Митрофанович скашивает глаза вниз, обсуждает, согласиться с выводом или не согласиться, но у Клементия Лазаревича наготове неопровержимое доказательство:

— Контрабандисты. Имеете ли вы, Иван Митрофанович, представление, какая доля товарооборота проходит через их руки? И очень просто. Поскольку червонец в России деньги, вы там на червонец, вернее, на червонцы, что угодно купить можете, хотя бы чистокровный доллар или фунт.

— И фунтик, и фунтик, как же, — почему-то обрадовался Иван Митрофанович.

— И уж, конечно, любой товар. При всем неслыханном гнете, висящем над людьми (Клементий Лазаревич сокрушается расширенными по новейшей моде плечами). Несмотря на весь гнет. Что же отсюда следует? Очень многое. Во-первых, теперь прошу вас, Иван Митрофанович, внимательно следить (и просить не надо, глазам Ивана Митрофановича и так едва в гнездах сидится), во-первых, отсюда следует, что червонец все-таки в некотором роде валюта. Будучи финан-

совой фикцией, она все же выполняет важную хозяйственную функцию (Иван Митрофанович одобрительно кивает, нравится ему это: и фикция, и функция, с какой стороны взять). Теперь рассудите сами: кто бьет по червонцу, бьет, значит, по самому жизненному, так сказать, нерву их, потому что при господствующем у них материализме — и это, в-третьих — экономическая функция и есть самое основное отправление власти. Кто расстраивает хозяйство, вносит расстройство в самый аппарат насилия, дезорганизует, парализует или, точнее, деморализует его.

— «Лизует, лизует» — неприятно как-то ощущает кончиком языка Иван Митрофанович, и кажется ему вдруг, что это к нему самому, второгильдейскому сыну Мелютину, прилипли, «лизуя», зеленые искорки деликатесных шпицеровских глаз. Накалившимся утюгом снова заходила по ковру с пробойной подошва.

— Бить, говорите... Конечно, бить. И рассуждать не о чем. Чем же, однако, чем? Не зеленым ведь долларом или пятифунтовой, скажем, гирей. Клементий Лазаревич оттягивает назад бритые губы — лучше б с усами, смотр производит ногтям, прикрывает ресницами суетливые искорки:

— Разрешите уклониться немного в сторону и рассказать вам коротенькую сказочку. Представьте себе, что где-нибудь в стороне от всех проезжих дорог, в каком-нибудь непролазном болоте или в чаще, в сибирской, например, тайге возникает в глубочайшей тайне, конечно, никому неведомая, но отлично оборудованная вторая экспедиция изготовления государственных бумаг.

— Если в сказочке, почему же не представить себе, — криво как-то усмехается до испарины разгоряченный Иван Митрофанович.

— Секундочку, — свистом перебивает отдавшийся таежному воображению сказочник. — Представьте себе дальше, что это вторая экспедиция не только не опасается наводнения, но напротив того, о нем только и мечтает, к наводнению только и стремится.

— К наводнению, — хватается как за соломинку разбухающий от влажного пара Иван Митрофанович.

— Ну да. Чтоб наводнить и страну, и окраины потоком бумажек любого достоинства. Чтоб целым водопадом затопить производство первой, тоже ведь самозваной печати. Представляете?

Ах, ах. Ничего не представляет себе Иван Митрофанович, ничего в толк не возьмет. В тесном пространстве на уровне лба, в мутном тумане, лохматыми хлопьями, как ватные пятна, расплясались мысли. В сердце — мазурка, крупная капелька ползет по спине, к пояснице. Почесаться бы надо, ногти погрызть, подуть, задымить, вот именно — закурить.

— Пожалуйста, пожалуйста, Иван Митрофанович, — просовывает сквозь туман серебряный свой портсигарчик потопных дел мастер. Ему ль не сообразить, что заседание прервано до третьей затяжки, что лишь после третьей поймет и оценит разопревший добряк, каков план, каков шанс, к каким, так сказать, араратам возносит потоп.

— Топ, топ, — выстукивает под жилеткой мелютинское сердце. Выдувает, выкуривает Иван Митрофанович запершившую в горле тревогу, хрипло выкашливает, скобой ладони защемив позади себя край сиденья. Перерыв, ясное дело, кончен. Пора продолжать.

— Вижу, Иван Митрофанович, что вы несколько озадачены. Новые идеи сначала ставят в тупик. Самое трудное это, конечно, распространение печатного, так сказать, материала. Но, во-первых, представим себе, что производство поставлено образцово. Ведь теперь можно делать и старенькие бумажки, отлично даже, с так называемой патиной, точно он много лет по рукам ходил. Это, разумеется, очень важное обстоятельство. Есть, во-вторых, еще целое множество других привходящих, однако не менее важных обстоятельств. Но прежде всего, хотелось бы мне знать, как вам сказка моя в общем понравилась.

Ладони Шпицера сошлись меж коленями, от переключины плеч равнобедренным треугольником протянуты руки.

Вот взмахнет он ими, как искусный пловец, что с высокой платформы бросается стремглав в воду. А выйдет ли он, нырнув и отдувшись, сухим из воды? Доплыть ли ему хоть обратно, до ковчега спасительного? Правильно ли он рассчитал, точно ли взвесил? Подумал ли он, подумал ли, ох, о Володеньке?

— Ох, Клементий Лазаревич, сказка о воде, да игра-то с огнем. Клементий Лазаревич жизнерадостно щелкает отпущенной на волю правой рукой:

— Ну, если так, то мы на добрую треть уже стоворились. Против огня, позвольте вам сообщить, у меня страхового полиса — хлопает себя по грудке щелкунчик-юрист. — Меня радует, что вы принципиально согласны. Вот что констатирую я с живейшим удовлетворением.

Ивана Митрофановича огнеупорный каскад несколько не радует. Да и разве согласился он? Принципиально к тому же. В расшатанном его сердце с новой силой топот мазурки:

— Простите, Клементий Лазаревич, я еще ничего, ровнехонько ничего не сказал. Сразу ничего и не скажешь. И еще простите. Сказка хоть и водяная, но называется она, как непременно сказал бы мой покойный батюшка, да и матушка ваша рамовна, то же самое, наверное, скажет: контрабандисты и фальшивомонетки, да — монетки — для большей наглядности отрывает полслова Иван Митрофанович, лысинкой тряхнув, задавив окурок цыгарки.

— Ах, вот оно что — чешет изо всех сил Клементий Лазаревич тремя средними пальцами мякоть большого. — Так мы, значит, мимо все говорим. Почему же вы сразу не остановили? Короче вышло бы (улыбается как бы).

— Помилуйте, Клементий Лазаревич, и вовсе не мимо. Такое дело со всех сторон обмозговать надо. Непредвзятым глазом обсмотреть. Да почему бы и батюшку-покойника по такому экстренному случаю не вспомнить. Я ведь, знаете, хоть и был на войне прапором, но от самого крайнего Господь уберег. И до, и после всегда так случалось, что у са-

мой последней черты — стоп. — И опять под мазурку сердечко. Но слабее, но тише.

Из-под опущенных ресниц Клементий Лазаревич пристально вглядывается в мятый, под навесистыми усами, уже не договаривающийся, а просто по-соотечественному, хоть и с волнением, еще собеседующий рот:

— Да, но причем это тут, Иван Митрофанович. Контрабандисты — да, но против банды разбойников. Разбойники — они вне закона. Тут, право, законнейшее право самозащиты. Сошлюсь, наконец, на народную мудрость: клин клином.

— Это-то так. Однако пожар пожаром никто тушить ведь не станет или там наводнением водой заливать. При всей либеральности взгляда.

Клементий Лазаревич доверительно улыбается:

— Меня, знаете ли, — сообщает он обмякшим, в телефон словно, тоном, — правые считают социалистом и левым, а левые причисляют к правым либералам. Так что с того. Это потому, что не левый я и не правый, а просто-напросто русский патриот. Вот с этой патриотической точки зрения я ко всему и подхожу. Для врагов отечества, полагаю я, закон не писан, не так ли?

— У вас, Клементий Лазаревич, патриотизм, что называется, юридический, всякого, конечно, достоин уважения. Что говорить. А вот наш брат к такому законному нахрапу в обсуждении вопросов не привык. Всякий раз снова как от печки танцуешь.

— Ну что же, Иван Митрофанович, и танцуйте себе на здоровье. Я вас нисколько не тороплю, то есть до ближайшего вторника. Прибавлю только еще несколько данных, что могли вы, действительно, всесторонне опять-таки: во-первых, во-вторых и в-третьих. Во-первых, для вас роль предвидится очень значительная. Мы...

— Вы.

— То есть я, — круто спохватывается вольный поверенный. — Считайте, что только я, я да вы. Так вот, считая вас человеком большого жизненного опыта (в обширные ноздри

Ивана Митрофановича выдувается легкий воздух), в особенности, что касается людей, представлялось мне — думаю, что и вы спорить не станете — одним словом, я исходил из того, что при вашей исключительной памяти, в частности, на лица, — выдумать нельзя лучшего заведующего личным составом, с соответствующим, конечно, очень приличным окладом, хотя бы на представительство. Это опять-таки на вторник. А в-третьих...

Встанет, встанет, еще одно слово — и как встанет Иван Митрофанович на задние ноги, как взмоет его на дыбы, и такое он скажет, что... что одно только останется — себя самого поскорей под уздцы взять, всей пригоршней за собственный галстук уцепиться и, в тесноте вертя головой, от обиды, от смазочной лести отщучиваться.

— В людоведы, херр-доктор, произвести меня вздумали. Чтоб решал, где лицо, где изнанка, как в суконном ряду. Товароведом, не спорю, был я действительно ничего, не плохим. Еще в школе за двадцать шагов бил метко в цель — что шерсть, что бумага. Так ведь одно — товар щупать, другое — в душе ковырять. Не сравнишь. Впрочем, я это так, к слову пришлось, — оставляет, наконец, в покое свой галстук Иван Митрофанович.

Клементий Лазаревич любит японскую туей за решеткой окна, ничуть, ничуть не досадуя, чему-то улыбается, доволен.

— Отлично мне известно, Иван Митрофанович, что с вами надо терпение и терпение. Только об одном мы должны крепко накрепко условиться, и это пункт третий, что как бы мы ни порешили — и володенькин папенька беззвучно целует раз и другой свой указательный ноготь.

— Так с этого мы ведь начали, — растопыривает свои конусы Иван Митрофанович и — почти невероятно — оказывается нежданно-негаданно сам в председателях. — Послушайте-ка, Клементий Лазаревич, — призывает он к порядку готового закрыть заседание финансиста-юриста, — хочу, так сказать, еще пунктик на обсуждение поставить. Разрешите

мне переговорить, в самом общем, конечно, тоне, с... с господином Незнамовым.

— О чем? Об этом? — встрепенулся ошеломленный юрист-финансист. — Христос с вами, — дергает херр Шпицер расширенным плечом. Что вы такое говорите (на плоском лбу рябь морщин)? Человек не в своем уме, и именно ему. Да отдаете ли вы себе отчет, что это, действительно, государственная тайна?

Рановато, значит, предался надежде Клементий Лазаревич. Он — строгий, а Иван Митрофанович на председательском месте и того строже:

— В таком случае давайте, Клементий Лазаревич, сейчас же все и перечеркнем. Не слышал я сказки вашей, померещилось мне все это и шлюс⁴⁰.

Какие тут измыслит гимнаст упражнения, чтоб у самой точки не потерять равновесия. Сто марок. Повестку вернуть в столь неурочный день подвернувшегося калеки. Нет-нет. Мелютин насквозь прорезиненный. Ни лестью, ни силой с ним не сладишь. Коленце тут надо выкинуть. Стул с высокой спинкой отодвинуть. Клементий Лазаревич зашагал по ковру: из гимнастических упражнений самое первое.

— Да вы напрасно беспокоитесь, Клементий Лазаревич. Сами меня в психологи произвести вздумали, да с первого же абцуга⁴¹ и одергиваете.

— Да я и то своим ушам не верю. Чтобы вы, такой знаток людей...

— Никакой я не знаток, — покидает Иван Митрофанович председательское место. — Одно только знаю, что я Михаилу Артемьевичу больше, пожалуй, верю, чем себе самому.

— Вы прямо, можно сказать, любопытство мое разжигаете. Столь большая кредитоспособность в наше время, признаться, явление довольно редкое.

⁴⁰ Schluss — конец, окончание (нем.).

⁴¹ Abzug — каждая метка, пара карт вправо и влево (нем.).

— Редчайшее. А он вот внушает. Именно доверие. И совсем он не полоумный. Это мы все не в своем, не своим умом живем, Михаил же Артемьевич...

— Ладно, — снова выкидывает Клементий Лазаревич свой из рук треугольник, на этот раз горизонтально, острием чуть не в самую грудь срезавшегося людоведа. — Вас, Иван Митрофанович, не переспоришь. Имейте в виду: случись какая-нибудь неприятность, несмотря на всю нашу многолетнюю дру(поперхнулся)жбу, от всего отрекаюсь. Ничего я вам не говорил, моя хата с краю, — и, разъяв треугольник, сдвинув невежливо, чересчур уж поспешно, манжетку в мелких квадратиках, взглянул доктор Шпицер на браслетку с часами.

— Вам, поди, обедать пора.

— Ссекундочку, — свистчикнул в ответ упругий херр доктор, повернулся на каблуках двухцветных ботинок, точь-в-точь, как домашняя горничная, улетучился.

«За сотенной, за сотенной сиганул», — подхватил в тот же миг вниз головой торчащую шляпу хозяин. Уж с нею под мышкой встретил он у самого порога хозяина, главного владельца ассигнаций любого, как видно, достоинства. В заботе о достоинстве собственном отвесил Мелютин, Иван Митрофанович, деньги приемля, поклон с недовесом, зато надбавил с походом словесных приветов на имя супруги, на матушки имя, не забыв под конец помянуть и потомка Володеньку. Церемонии кончились лишь у самой калитки, когда Иван Митрофанович уже за калиткой бескостною кистью сделал новоселу-хозяину: наше вам с кисточкой.

«Существо-то разумное, а все-таки жвачное», — не о докторе Шпицере, а о себе, про себя обсуждает Иван Митрофанович, удаляясь трусцой от зеленого куба, загибая за угол в аллею Франц-Папена. Ни души. Не считая собачьей, которая сейчас за углом вот рассыпчатым лаем извещает домашних: гау-гау-гау — так и знайте, тенью от тучи надвигается запах, совсем чутью незнакомый. Люди обедают, людям не боязно. Им служит верой и правдою пес. Берегись, он кусака —

печатными знаками и шрифтом готическим оскал зубов на чугунной табличке, на скрижали же другой, шрифтом латинским — новейшая заповедь, счетом одиннадцатая: нищенствовать запрещается строго. И за то им спасибо, что сама нищета еще не под строжайшим запретом, — комментирует скрижаль залетная птица из рода Мелютиных, Иван Митрофанович, и как по шпалам скок-скок он по бесплотным полоскам заборной тени, что распластана перед ним частой лестницей. От бесплотного частокола зарябило в глазах. Все быстрее и быстрее с перебоями шаг. Прочь отселева, прочь из Вестдорфа этого, из деревушки той западной. И благо-растворенье апрельское по кубическим здесь футам».

«Вот именно жвачное, потому что разумное», — возвращается к себе с другого конца Иван Митрофанович, грузно влезая во чрево автобусово. Места много, пункт исходный, развалиться даже можно и жевать-пережевывать, варить-переваривать во всю четверку желудков. Что и говорить — коли б до того было — хоть куда искушение. Что Машу винить. Мать она. И на брикетки ведь не было, не то, что на пудру. И кашель вот Сашуркин к тому же еще. Как оне там... Господи, Господи... Ну да. Сказал бы я тут — не мудри, не дури, Митрофаныч, бери, что дают. Очень просто. Иййа, ойнфак — принимает билетик простой, без права пересадки — кто? Не Иван Митрофанович, а некий херр, истинный барин. Ему честь отдают, ему сделали под козырек. И за что? Вот именно за невзятую сдачу, за пятачишко на чай, за кружочек из сплава дешевеньких металлов: «са-тана там правит бал». Та-тана-тана-тана — мягко качает на зеркальном асфальте, как бы в корабле над водой. Можно и поудобнее, концом локтя упереться в стекло, подпереться, от полного сердца зевнуть и, бдя там внутри над прижатым к самой груди основным капиталом, почему б и не вздремнуть. У-у-уморился, у-у-у — дует в нос, выдувает губами именитый пассажир... Чего. Что он это. Зачем. Зачем шаровары-то снял. Вот смешно, право. В воду, в холодную воду прыгать. Секундочку. Всплеск-плеск. Кругом расходится. Зе-

ленные, красные, синие искорки. Сосчитать бы их надо. По всем правилам. Ай, што вы говорите, когда Володенька уж один-один-нуль-нуль. Вот и неверно-но-но, вот и неверно-но, вот и неверно. Стой, держи его — гау-гаугау-гау-дырка в кармане. Не кличи, мамочка, папочка плакать будут. Вот и неверно-но-но, вот и неверно, вот и... Фу ты, опять остановились. Иван Митрофанович отрывает пальцы, примагниченные в боковом кармане к портсигару с казною, под охраной папиросного взвода; кончиком платка вытирает он выдавившуюся под ресницами влагу. И чего это вдруг стали перед самой этой гнусной витриной, с истуканами модными? Все, все они теперь на гимнастике помешались. Упругостью взять хотят, до потолка допрыгнуть. Прыг, прыг, тана-тана. Прыг-прыг. По-ехали. Эге, да мы уж в городе.

Еще подпрыгивает автобус на выбоинах, еще мычит он на встречных и поперечных, пугая и пешеходов, и моторных двухэтажной своей тяжестью. Еще подсаживает на остановках козыряльщик-кондуктор все гуще и гуще текущую публику, а Иван Митрофанович, хоть и прильнул он к окошку — в два обхвата соседка — хоть и читает он вывески, хоть и жует еще жвачку, но душою и сердцем уж давно он дома. Да — дома. Не к пустому жилью, не к чердачной норе мчит автобус, чреватый пассажиром, а к населенной квартирке с уголком для верного друга, для советника — не беспокойтесь, херр-доктор — для советника тайного, для откуда-то вернувшегося Миши Незнамова... Опять гемюзе. И как им не надоест: шпинат и шпинат. То есть теперь уж известно откуда. Из кранкен-гауса, с картонкой — в ремне что ли, или просто веревочкой перевязана. Да и закусил ли он в дороге, Бог его ведает. Хальт. Кажись, на Охотный свернули.

Задача не легкая. Протиснись тут к выходу мимо двухобхватной соседки, сквозь двухрядную очередь. Хоть сквозь строй, а протиснемся. Не какая-нибудь улица. Здесь вот на углу, перед самым углом, кусочек Охотного, всероссийская лавочка с чем угодно: с икрой и сметаной, сдобными булками, с белорыбницей, с балычком, балычком. Охотнорядские

запаху, кажденья московские, памятник прошлому. И Мише полезно будет. Пусть пахнет на него родным хлебом-солью, всколыхнет его душеньку, Незнамова Мишеньки. Чем богаты, тем, мол, и рады.

— И еще заверните мне, Леонтий Яковлич, полбутылочки крымского.

— В две маркуши не страшно? Дороже стало.

— Не-не. Валяйте. Гость у меня сегодня.

Эх, весело это пробираться меж спящих в сонме забот прохожих с увесистым угощением, как в праздник, да по солнечной стороне. Кудрявящейся тучке и той подмигнешь будто. Молодец, молодец Клементий Лазаревич! Всегда говорил. Рассчитывал бы он только поменьше, рубаха бы парень. И ведь совершенно напрасно. Все равно не считаешь всего. Семь раз отмеришь, а на восьмой как резанешь — это собственный палец. Зато вот старушка его — ничего не скажешь. И ведь как по молельням своим скучает, тоже в роде Охотного. Разохотишься тут, поневоле разохотишься. Пуще неволи — охота-то.

Это уже — с одышкой, путающей рассуждение, на третьей площадке, в виду ландиквистихиной дощечки. Не терпится Ивану Митрофановичу. Невзирая на одышку, не дает он себе поблажки и на площадке четвертой. Лишь у самой своей галерейки он — стоп. Быстро ставит увесистый пакет на пол, кидается по ступенькам к двери с прорезом для почты, прикладывает ухо и — мертвая тишина. Некрепкими пальцами поворачивает он ключ и, споткнувшись о порог, как подброшенный, наваливается уже внутри на дверь в жилую — ни звука.

— Михаил Артемьевич... Миша.

Пусто. Ни звука. Только в раскрытом окне отодвинутый гул неугомного города да бездельник-будильник: тик-так да тик-так. Иван Митрофанович всем грузом на стул:

— Вот, поди рассчитай тут.

3. Законное право сомнения

Право вымолвить вслух, пусть в окно, пусть во двор с распростертой по дну его сероватой тенью, пусть на ветер, мимолетно влетающий, чтобы, хлопнув дверью, снова умчаться в сверхэтажную высь, право во весь голос сказать хоть самому себе, что приметы и знаки, междометья явлений и пунктиры событий, — что вся эта грамота алчущих душ, вся сплошь — наваждение и злостный подвох, это право, несомненное право во всем усомниться, взял себе проживающий по паспорту гражданина вселенной Иван Митрофанович, вопреки твердой уверенности, не нашедший в квартирке под каменным ангелом желанного гостя, не сразу. Сначала он ждал. Не трогаясь с места, вытирал он платком то намочшую шею, то лоб, а то и усы. Лишь затем приволок он на галерейке оставленный и вдруг опостылевший пакет с угощением. Для кого приволок? Уж не для своей ли утробы? Развязав пакет и наполнив всю кухнюку всемосковским вкусом запахом, Иван Митрофанович, ведь еще не обедавший, и впрямь соблазнился. Потянулся рукой он к пухлятинке, к капустному пирогу с проступившими пятнами, но тут же одумался, отложил, отодвинулся и кинулся вновь из кухни в жилую, чтоб, усевшись на стул, заняться колдовством. Он умел. Если сжаться в кулак от макушки до пят, подобравши живот, крест-накрест руками этак впившись в бока, если ноги прибить, как гвоздями, к ножкам стула и затылок склонить терпеливо под ярмо ожидания, непременно дождешься, хоть с величайшим трудом, но непременно добьешься наступления того, чего нет и что нужно. Случалось не раз так на фронте — собравшись в кулак, неподвижностью побороть ураганный огонь. Он стихал, и кулак разжимался. Бывало и так, в последние годы все чаще и чаще, что напрасны старания: не хватает сил перестроиться в многомогучий снаряд. Знаешь как, а попробуешь — за ухом почешется, защекочет под мышкой или нога поскользнется, и колдуй не колдуй — все равно. В час дневной, далеко уже не ранний, когда уселся

колдун, чтоб осилить волшебством отсутствие гостя, Михаила Незнамова, сперва все, казалось, шло превосходнейшим образом. Секундная стрелка бойко бежала по кружочку с зарубками, передвигалась по кругу большому не спеша, с расстановкой стрелка минутная, заметно продвинулась, наклонив утолщенную головку вниз, часовая. Иван Митрофанович хоть бы что. Время капало где-то там, в стороне, за стеклянной стенкою. Весь внимание, в полном оцепенении, Иван Митрофанович устремлен был слухом за дверь, за которой вот должен, обязательно должен звякнуть ключ. Но ключ не звякнул, как с места сорвавшись, затрещал вдруг будильник, и с такой наглостью, со столь дикой яростью, что Иван Митрофанович подскочил, что ошпаренный, а оборвался сеанс ровно в пять. Все рассеянность. Заводил бы правильно, не будил бы он бдящего, не настольный тиктакщик, сам виноват.

Итти-так-итти, итти-так-итти, итти-так-итти — лепечут потерявшие от треска голос часы и льстиво глядят во весь циферблат на зашагавшего по комнате Ивана Митрофановича. Порядком, видно, надоел он им, не меньше, чем себе самому. И что, в самом деле, за дурацкие штуки. Наваждение, сплошь наваждение. Еще человек не совсем окреп, значит нельзя одного его пускать. Отлично можно было б Шпигера и на завтра отложить, не тысяченожка, не уползет. Слишком уж находке обрадовался. Шагай, мол, теперь под церемониальный марш от победы к победе, играй во все лотереи, всякие двести тысяч не иначе, как тебе. Ан и первоначальный билетик запропастился. Ищи теперь ветра в поле. Гадай на кофейной гуще... Законное право сомнения входит в силу.

Ведь он, может, и действительно, только кажется здоровым, а по-настоящему-то безвозвратно разбит вдребезги — сам сказал. То есть, конечно, не так он сказал, Миша так не скажет. У него как-то по-своему все. Непременно, непременно разыскать его надо. С Клементием Лазаревичем посоветоваться. Не-не. Михаила Артемьевича я взял на себя. Ни к чему эти дурацкие штуки. Нечего слизняком к стулу при-

сасываться. Просто до времени выписали его, а теперь вот опять задержали. У них тоже ведь на разные случаи особые правила. Не дай только Господь, чтоб похуже что. Позвонить что ли туда? К Линдеквистихе значит? Или еще подождать, может быть?

От сомнения качается человек, словно маятник: есть решение, нет решения, есть—нет, есть—нет. Идти-так-итти, итти-так-итти — подталкивает Ивана Митрофановича лукавый будильник.

Да уж ладно, идем! — и, втянув в распахнутые ноздри смесь из кухни просачивающихся вкусных запахов, Иван Митрофанович запирает за собою дверь на галерею, чтоб спуститься к добрейшей фрау Линдеквист, во всякий час дня и вечера приветливо встречающей добрейшего херр Мельгутина. Перед самой медной ручкой под медной дощечкой Иван Митрофанович, однако, внезапно меняет часами подсказанное решение. Ему представляется ясно, как в сутолоке у трамвайной остановки появляется со своей картонкой, перевязанной крученой бечевкой, — ну, конечно, не в ремне! — Миша Незнамов и как он вежливо переходит через улицу, направляясь к подъезду. Сердце как подпрыгнет, и гололобый, без шляпы, Иван Митрофанович, очертя голову, кидается вниз: вниз-вниз-вниз. Спятил он, что ли? Внизу же, оказывается, никого нет. Ни в подъезде, ни у трамвайной остановки по ту сторону плаца. И все же блекнет сомнение перед ярким видением наверху, на площадке. Одна бечевка с пушащимся кончиком чего стоит. Пусть будильник издевается там про себя, Иван Митрофанович еще и еще подождет. И само ведь сомнение точно маятник: есть оно — нет его, есть — нет, ссс-ннт...

Стайками выпархивают люди из трамвайных вагонов: с места прокорма летят на ночлег, разлетаются по гнездам квартирным, чтоб отдохнуть, отдышаться. Боковое солнце уже плавит кой-где потускневшие рельсы. В лиловеющих шлаках их золотятся кой-где дрожащие огоньки, вспыхивают и гаснут схваченные стремительно несущимся мимо стек-

лом, ярким отсветом бросаются прямо в лицо Ивану Митрофановичу. Он ничего, ждет. Пошаркивают люди, шущукают машины, шаркнет невзначай по тротуару, широкой каймой облегающего скверик, и подошва с пробоинкой — его, Ивана Митрофановича, но внутри его тишь, до самого дна. Он ждет. Прерванный ровно в пять часов сеанс, хоть и под открытым небом, продолжается, значит. Долго ль еще?

...Смею ль просить о небольшом подавании, два с половиной года без места... Искренно буду... Простите что...

— Бит-тэ! Бит-тэ! — вздрагивает от отчетливого шепота, как от укола в спину, Иван Митрофанович, поспешно извлекает из кармана монетку, и снова прервался сеанс. Скорей, скорей к Линдеквистихе. А что если и Миша... То есть теперь уж правда... Все-таки... Скорей же, скорей мимо фрау Шмидтке с отпечатком лица, кукольно-детского, над тройным подбородком.

— Гуттен таг, фрау Шмидтке!

Знаем, знаем, какие у нее новости, у толстой Берты: красивый день, погода красивая. И все-то у них красивое, все красотой блещет. Стой! Что это там у них? Никак...

Там, из-за двери в квартиру домохозяйки, вдовы, военной вдовы Линдеквист, на одной ноте, в два однако голоса, как будто — пение — взвизг, пение-всхлип, пение-плач. Что это? — немеет рука Ивана Митрофановича у самой ручки звонка. Неужели опять у Евхен припадок? Бедняжка! Вот так невпопад!.. Но вот смолкло все, утихло, словно занавес опустился железный. Иван Митрофанович — за медную ручку. Торопливо топчущие ноги, подглядыванье вдовье — чье же еще? — в глазок и лишь затем в отпертую дверь жидкий голос:

— Ах, это вы, херр Мельюутин, bitte, bitte, добрый день, добрый день!

Фрау Линдеквист всегда рада Ивану Митрофановичу, во всякий час дня и вечера. Она знает, что он сын гросс-купца из российской столицы, офицер боевой и женат на дворянке, на урожденной фон такой-то. Дворянка — гордичка, но уж

это сам Бог им велел, зато какая прелестная девочка Сашурхен их. По Сашурхен и сама Елизавета, и дочь ее Евхен часто скучают. Прелестная девочка, смышленная девочка, дитя хоть куда. Весело с ней было, и как по-немецки хорошо говорила, куда лучше, чем мать и отец.

Ну, отец — это как когда, как с кем. С посторонним трудно, конечно, но в пивной на углу отлично объясниться он может, там всякий поймет, потому что известно там: иностранец он, русс, беглец, «вадил покрасивее дни». И с Лизаветой Акимовной с грехом пополам тоже беседовать можно, когда в духе она — на почве взаимной симпатии. Только не любит она, когда по батюшке ее величают «Акимофна», смешно и обидно. Как не стыдно коверкать так красивое имя Иоахим-Фридрих.

Не раскусить их, этих русских, не то всерьез они, не то шутят. Вот и сейчас сказал, кажется, херр Мельюутин, что пришел к телефону, по неотложному делу, а к трубке не притронулся, сидит в гостиной и играет с Вампиром. Вампир не страшный, ручной, он питается не кровью, а ковровою пылью, пылесос он певучий, недавно лишь купленный — ох, в рассрочку, за неимением лишних сумм, в силу вдовьей нужды.

— Да ведь у вас и так ни пылиночки!

— Ах, что вы, что вы, херр Мельюутин! — блеклой пышностью прически протестует вдова. — Мужчине этого не понять — жалуется она, воркуя голубицей. — И какое это успокоение для нервов! — расхлябанным узлом волос указывает она куда-то в сторону, на дверь.

— Что? Все по-прежнему?

Воркованье-курлыкание стягивается в поспешный шепот:

— Ах, херрр Мельюутин, хуже еще, гораздо хуже. По пяти раз в день навзрыд, просто сердце разрывается. Ни капли, ни пилюли, ни вспрыскивание — ничто не помогает. С ума сойти можно. Только теперь мне немного легче стало: чуть она заплачет, я включаю аппарат и сразу крепче себя

чувствую. Это бедное дитя! Да и с лестницы ничего тогда не слышно. Очень ведь это неприятно тоже, нет?

— Как же, как же, фрау Линдеквист!

— Как жалко, что Сашурхен уехала. Эйвхен очень ее любила.

— Жалко, очень жалко, — вздыхает Иван Митрофанович, не выпуская из рук стального Вампира, певчего змея-нервоуспокоителя.

— А вы все еще не телефонировали...

— Я еще чуточку подожду, коли не мешаю — об нихт мише. Мне сперва и номер поискать нужно.

— Ах, bitte, bitte! — и сама Линдеквист опускается в креслице, оправляет свое платье, очень, очень старое, с подпирающим подбородок тугим воротником, и, готовая занимать и внимать, приосанивается — не как домохозяйка, как хозяйка гостиной.

Иван Митрофанович приступает к рассказу. Гаст у него, гаст, его-то он и ждет. Очень хорошее это слово «гаст»: чуть помягче, немец русским станет, гаст — гостем. Не может удержаться Иван Митрофанович, чтоб не поделиться открытием с Лизаветой Акимовной:

— Как «парикмахер» — нихт? Тоже такое вот русское слово. Махт парик — ерошит в виде объяснения редкие свои волосы линдеквистихин гаст.

— Ja, ja, Perücke, — взволнованно догадывается фрау Линдеквист, что у гостя ее на лысой голове русский парик, а может быть, это только гешефт его парики делать, у самого же, пожалуй, роскошнейшая от природы шевелюра, как часто у русских. Любопытно бы поглядеть, проверить. — Молодой он, да, неправда ли?

— О, да, совсем еще молодой, мне в племянники годится.

— Ах, ах! Ваш племянник и тоже херр Мельюутин. Познакомьте же, непременно должны познакомить нас. И для Эйвхен занятно будет.

— Конечно, конечно. Только он не племянник, он только гаст, херр фон Незнамов.

— Ах, ах! Как интересно! Супруги вашей родственник? Слышишь, Эйвхен, — кричит обшарпанная фрау Линдеквист куда-то вбок, тараща в пространство мутно-голубые глаза, — к господину Млютину приехал дядя Сашурхен. Очень интересный молодой человек, херр фон Знамоу... Ииии-ихи-иии-ихи-ихи — доносится вдруг из-за двери с портьерой.

Фрау Линдеквист хватается за голову, вскакивает, уставилась мутно-голубыми глазами на Ивана Митрофановича. Иван Митрофанович растерянно разводит руками. Что тут сказать? Экое, в самом деле, горе. И так куда ни заглянешь. Прислушивается он к всхлипыванью за портьерой, за которой скрылась мать, машинально поглаживает стальное чудище, прислоненный к столу пылесос, — вот теперь бы запеть ему! — и сам того не замечая, размазывает Иван Митрофанович в уголку глаза набежавшую влагу. Сумерки оседают чернотой в углах. Где уж теперь звонить, номер искать. И зачем это глупая мамаша растревожила ее, бедную девушку! Не понимают они, не чувствуют. Иному горю только молчанием и пособишь.

В оседающих сумерках на цыпочках прокрадывается Иван Митрофанович в переднюю, как вор, приоткрывает он бесшумно дверь на площадку, так же бесшумно старается захлопнуть ее и даже на лестнице он сначала почти что не дышит. Зато перед самой галерейкой дыхание его делается учащенным, громко прерывистым, переходит в сопенье и храп. Там движение. Ура! Там шаги. Ура! Дверь изнутри сама отворилась.

Ура! Михаилу Артемьевичу — ура! ура!

В ступившейся темени передней Михаила Аркадьевича еле видать, он еще и голоса не подал, но Иван Митрофанович ощущает легчайшее вокруг него дуновение, наугад протягивает руку и сразу же находит руку друга, руку Мишеньки, узкую ладонь с каким-то, с чем-то... с чем-то мягко-плотно-шершавым, с каким-то...

— Добрый вечер, Иван Митрофанович! Тут почтальон только что просунул для вас письмо.

— Что? Что вы сказали? Кто принес? Почтальон, говорит, — ловит в темноте пропавшую вдруг руку Михаила Артемьевича Иван Митрофанович.

— Иван Митрофанович, пожалуйста, вот здесь, — увлекает его Михаил Артемьевич из передней в жилую.

Там, в жилой, под засвеченной матовой грушей, осторожно разворачиваемой стелющимся по потолку мягковидным сквозняком, вертит Иван Митрофанович это адресованное письмо, серовато-голубенький шероховатый конвертик, вертит и мнет, разглядывает не то штемпель почтовый: исходное место, день и час, не то — свой указательный перст с тусклым отсветом лампы на обгрызанном ногте, а на почерк не смотрит, не замечает Мелютина в средней строчке немецкой и Берлина не видит, не замечает и площади Шарлотты-Луиза с седьмым по ней домом, и квартиры не видит в указанном доме, только тень вот качается на стене над кроватью вправо и влево, и выше, и ниже, и ближе, и где-то еще, где-то сзади и сбоку, и в самых глазах, и в них вот качнулась, задвигалась, замерла и поплыла многоцветно по кругу.

— Присядьте, пожалуйста, Иван Митрофанович, — берет кто-то под руку, стул пододвинул, куда-то ушел и вернулся, нагнулся с чем-то в руке очень белой, с чашкой, с водою, чтоб отпил он, чтоб еще, еще он глоток.

Иван Митрофанович поднимает глаза, меж пальцев зажатый конвертик уходит в карман брюк, на округлом лице — половина нечеткой улыбки:

— Спасибо, родной мой, спасибо. Слаб стал. Не годится это так поздно и все без обеда, — поспекает за первой половиной улыбки вторая, немного отчетливее. — Вот давайте...

— Сидите, сидите, Иван Митрофанович. Я принесу. Чайник, разрешите, поставлю.

Но Иван Митрофанович уже опять на ногах.

— Ну, нет! В первый же день к рукам прибрать вздумали. Не-не. Мы еще повоюем.

— А вы бы, может, тем временем письмо пробежали.

— Не-не. Не к спеху. Успеется, — и Иван Митрофанович всей пятерней хватается за ладонь Михаила Артемьевича и изо всех остаточных сил пожимает, трясет ее. — Спасибо, спасибо, родной мой. Вот хорошо сделали, что вернулись. Порядком вы, однако, пропадали.

Оба на кухне. Там, под жестяной тарелкой, тоже лампа-груша, и столик там есть небольшой, на двоих, в стуле же одном недочетка. Его приносит из жилой сам Иван Митрофанович. Уж разговелся он на ходу кусочком пухлятины, расставил всю снедь охотнорядско-московскую, и раскупорил крымское, и чайник поставил, и туда и сюда он, и так он и этак. Пиджак свой он скинул, рукава подтянул, режет хлеб, перетирает стаканы, и то и дело бросает лукаво-играющий, одобрительный взгляд на Михаила Артемьевича. Сложил Мишенька ручки на коленях, сидит, улыбается, милый. Паинька-гость. Ну пора, значит, и за стол.

— И делов же мы с вами за день обделали! Небось, и вы не обедавши. Кушайте, кушайте, потом отчитаетесь.

Михаил Артемьевич закусывает. Откусит от ломтика с островком балыка по янтарному маслу, нагнется, крошку подберет, улыбнется, отложит хлеб свой насущный, задумается — но не дает ему спуску Иван Митрофанович:

— Кушайте, кушайте, не задерживайте публику, не лени-тесь, от лени — чавк-чавк — и все-то наши ленинцы завелись. Недаром они первым делом ять изъяли.

Догадывается он, Мишенька, в чем соль? Не понять. Сидит, как будто ни при чем. И шуточке и не шуточке — всему улыбается. А сколько он за день перемен начудил! Чудодей, одно слово чудодей. И как он это аккуратненько масло мажет, чтоб, не дай Бог, корочку не задеть. Вишь, опять крошку подобрал.

— Чавк-чавк, — не стесняет вас, что занавеска задернута? Я для воздуха.

— Нисколько, Иван Митрофанович, напротив.

— Ну-ну, вы не бастуйте. Барана за поздним часом уж сегодня не зажарить. И не надейтесь. Гляньте-ка, гляньте-ка, как разбульбулькался! — подскакивает к газовке Иван Митрофанович, заваривает, действует, хлопчет вовсю. — А винцо, полагаю, мы лишь напоследок после пирога с чаем, правильно?

Ширится ответная улыбка. Ясно — согласен, на все согласен, и на вино после чая тоже согласен. Только и знает — всему улыбаться, на все соглашаться. Хорош, право, хорош! И как чудесно мерцают синие его звездочки. Синие? Не совсем. С чернотой. Вот совсем почернели. Иван Митрофанович склоняет голову несколько набок. Сквозь пар от чашки и не рассмотреть как следует.

— Я, знаете, Михаил Артемьевич, вас даже немножко побаиваться начал. Все время только загадки загадываете.

— Вот и не согласен я с вами, Иван Митрофанович. Мы друг друга нисколько не боимся. Это вы просто нарочно.

— Положим, не совсем, а впрочем... Еще, еще кусочек отрежьте. Хорош ведь, признайтесь, чудесный ведь пирог?

— Да, очень вкусный. Только спасибо, я уже сыт.

— А вы, пожалуй, и по почерку читать умеете? — вытаскивает Иван Митрофанович как по наитию из кармана конвертик.

Михаил Артемьевич взмахнул крыльями бровей, на бледных его щеках затеплился отблеск румянца.

— Вы простите меня, Иван Митрофанович. Я ведь знаю, что это сегодняшнее письмо от вашей... уехавшей супруги, — запинаясь и опускает он долу потемневшие глаза.

Сидя на стуле, Иван Митрофанович приседает. Спина округляется, голова ушла в плечи, из-под редких волос покапала к надбровным дугам цельная капля. Хлюп — втягивает он единым духом, давась жгучим чаем, чуть не четверть пузатой чашки сразу, хлюп и хлюп — запивает он глотками еще погорячее, но поменьше. А конвертик у самого пола — в повисшей руке.

— Простите, Иван Митрофанович, — ободряет его синечерным мерцанием Михаил Аркадьевич. Вы сами рассказывали мне сегодня.

— Я? Сегодня?

— Как же, отчасти словами, отчасти без слов. Но очень явственно.

— Возможно, возможно... Так вы, может, без слов и о содержании письма уже догадываетесь? — торопливо сует густо-красный Иван Митрофанович конвертик в карман, хлопает себя по ляжке, переминается с ноги на ногу и замирает. От взгляда. Под взглядом Михаила Артемьевича.

Между Иваном Митрофановичем и Михаилом Артемьевичем образовалось пространство, огромное, не превозмочь, не измерить. Там, на той стороне, далеко-далеко, что-то, нечто сияет, мерцает, излучается и проникает, безмерное преодолевая расстояние, в самое сердце, ласково укачивает в мир и покой. Там? Нет, здесь, вовсе тут вот напротив. Ручкой как будто подать. И впрямь, не подать ли? Не дотянуться, не коснуться ли? — пытается повести плечом Иван Митрофанович, — и не может, не находит для сил приложения. Век так сидеть, он и уже сидел так когда-то, тоже с ним за столом, тоже тарелки отсвечивали, такие же точно, с остатками кушанья, такая же точно бутылка стояла и стаканчики-рюмки при ней, точно так же ощущалось в кармане брюк — полосатых, да, таких же совсем — письмо, с таким же сюрпризом... И когда это было? И что было дальше? Что дальше-то будет?

— Уладится, непременно уладится, — доносится оттуда, с другого конца безмерного как бы пространства, из дали чудесной, отдается в ушах, подымается из знакомых, от века знакомых глубин, из самого сердца Ивана Митрофановича. Встрепенулся он, выпрямился, плечи расправил, раз и два провел по глазам, крепко нажимая на веки, зажмурился, поразмялся, проворчал виновато:

— Неужели сон одолел?

— Это бывает, Иван Митрофанович, при большой особенно усталости, при длительной бессоннице иногда.

— Странное, знаете, чувство такое. Померещилось как будто, а я ведь все видел, все слышал, как наяву, и ваши слова ясно слышал.

— Я, Иван Митрофанович, ничего не сказал.

— Как не сказали?

— Глядя на вас, Иван Митрофанович, только подумал, что вот хорошо, что и вы не сомневаетесь больше.

— В чем, в чем не сомневаюсь?

— Да что уладится все, непременно уладится.

Иван Митрофанович срывается с места, размахивает руками, ходит взад и вперед:

— Ну, скажу я вам, совсем спутался. Ничего не пойму! Ни начало где, ни где конец.

— Самое важное, Иван Митрофанович, мне кажется, все-таки середина, разве не так?

— Ладно! — решительно садится на свое место Иван Митрофанович, наливает вино в стаканчики-рюмки, предварительно вытирает снизу вверх всей ладонью усы. — Ладно! Начнем с середины. За ваше здоровье, Михаил Артемьевич!

— И за ваше! — отпивает в свою очередь Иван Митрофанович.

— Послушайте, дорогой мой Михаил Артемьевич, у меня к вам мильон вопросов. Сказка есть одна про запас и многое другое. Когда надоест, вы скажете. Можно и завтра, и послезавтра. Соседство у нас близкое.

Михаил Артемьевич опять заулыбался:

— Очень прошу вас. Мне, право, в высшей степени интересно.

— Но до всего прочего хотелось бы знать: у вас-то в порядке все?

— Спасибо, как же. Я, знаете ли, задержался только потому, что зашел навестить своих собольных. Там как раз одному человеку операцию делали, а жена его ждала у ворот.

Я с ней постоял, очень она растревожилась, затем я зашел... Это, впрочем, не важно.

— Что же, благополучно сошло?

— Да, я надеюсь. Но в четверть шестого ровно я был уже здесь.

— Позвольте, ведь в эту самую минуту я вам навстречу вышел. Как же мы разминулись?

— Я не по тротуару, а сперва бульварик обошел мимо утренней скамейки. Мне и сказала внизу, у подъезда, полная такая особа, на маленькую похожа, что вы только что вышли.

— Коли так, разрешите еще пустячок. Такой уж день выдался. Картонку вы...

— Как же, принес. Вас не заставши, тут же развязал ее.

— Развязали-таки?

— Она у меня, знаете ли, шнурком перевязана была.

— Бечевкой? Крученая такая, с пушистым концом, знаю.

Ну-ну, продолжайте.

Михаил Артемьевич смеется.

— Видите, какие мы друг о друге подробности знаем. Это от внимательности. А вот чего я вам еще не сообщил, так что я уже воротничок и два платка выстирал и там, в задней комнате, сушиться повесил.

— Вижу, время вы зря не теряете. Где же вы этой премудрости научились? По рукам если судить...

По открытому лбу Михаила Артемьевича пробегает тень:

— Так я ведь уже через многое прошел, Иван Митрофанович, очень долго я странствую. Сюда я — заметили, верно, в бумагах — с чешской границы пришел.

— Ах, вот оно что! Нет, не сообразил, признаться. А я, поверите ли, как вырвался через финляндскую границу, так сразу же попал в здешний капкан. И сижу себе. Природным как бы немцем стал... Пейте, пейте, что ж вы отстаете? — наливает себе Иван Митрофанович и наклоняет бутылку, чтобы и другу налить.

— Благодарствуйте, Иван Митрофанович, я постепенно. Не привык я к вину.

— Постепенно так постепенно. Коль жар души в пустынях не растрочен, можно, конечно, и без пара. Иной разговор насчет нашего брата. Мы зябкие, нам согреться надо.

Михаил Артемьевич слегка отодвигает от себя искрящийся стаканчик.

— Право, вы сильно преувеличиваете, Иван Митрофанович.

— Ни настолечко, Михаил Артемьевич. За ваше здоровье! Ничуть! Я, знаете, и до нашего российского наводнения, до Чингиз-хана⁴², немало мыкался по свету. И в Сибири побывал, по своей, правда, воле. От чалдона не отличили бы.

— Вот как, — взглядывается внимательно в Ивана Митрофановича Михаил Артемьевич.

— Именно-с. От японской войны все началось. Отец разорился. Он, понимаете ли, подряд взял. Триста тысяч пар шаровар, хаки. Тут цены вдруг на материал так подскочили, что мощна затрещала. Другие все бросились, куда следует, подмазали, поехали. А батюшка покойный — ни за что. Крепкий был, кряжистый. Что околоточному мы к Новому году четвертной билет посылаем — бывало, внушает мне — так это, Ваня, потому, что он бедный человек и многосемейный, даром что в светлой шинельке щеголяет; это не взятка — подарок, от души; однако же, примечай, Ваня: иной раз подарок поднесут, ан как посмотришь, подкупает тебя; ты таких не принимай, зарекайся, блюди себя... Ну и здорово же я в сторону свернул. Мне только волю дай.

— Что вы, что вы, Иван Митрофанович, это ведь крайне интересно.

— Верно... Ну что тут рассказывать. Он натурально все из собственного кармана. В долги влез по горло, но к сроку доставил. Все триста тысяч. И что же вы думаете? Тут его

⁴² Символ крайней жестокости и бесчеловечности. См. далее, стр. 155, выражение «Чингиз-хан с телеграфом»; впервые употребил А. И. Герцен, подхватил Л. Толстой (развитие техники за счет «жизней человеческих»). В эмиграции «Чингиз-хан» обозначал восточное духовное наследие, приведшее к революции.

и прихлопнули. Забраковали бóльшую половину. Они в интендантстве зуб на него имели. Не подмазавши, мол, кататься хочешь, как бы не так! Без дегтю им и мед не мед. Впоследствии весь случай гласности предан был, в газетах писали. Только что, уже поздно было. Сломил это его, раздался он, треснул. Окончательно из игры вышел.

— И с тех пор вы на чужбине жили?

— Нет, дорогой мой, не сразу. За ваше здоровье! Одно к одному подбиралось.

Долго рассказывать. Училище я, конечно, бросил перед самым концом. А тоже планы разные были. На большую дорогу выйти намеревался, по банковскому фаху⁴³. Очутился же я после военной службы в мелких приказчиках. Матушка, царствие ей небесное, еще раньше скончалась, сестру замуж выдавать надо было, засиделась она. Ух, знаете, сколько это было всякого. Ну и пустился я, что называется, во все тяжкие. В Новую нашу Америку отправился счастье искать. Ничего, выправился. В Москву с чековой книжкой вернулся. В Лионском кредите на Кузнецком мосту онкольный счет⁴⁴ завел. Тут как раз война грянула. Остальное сами знаете.

— А женились вы, если можно спросить, уже после возвращения домой?

— После, после. Гораздо после. Это, можно сказать, уже совсем в наши дни.

— За ваше, дорогой мой! Может, и вы теперь еще отопьете?

Михаил Артемьевич пригубил, отставил, ласково подглядывает, ободряет.

— В наши дни, говорю. Потому что с 14-го года, знаете, это уж как один нескончаемый день. Поднялась буря и не уляжется, видно, покуда все не сметет. Почти не сомневаюсь.

⁴³ От немецкого Fach — область, специальность.

⁴⁴ Текущий счет в банке, открываемый под залог ценных (процентных) бумаг.

— Да, страшная, — проводит бледной рукой по ясному лбу Иван Митрофанович. — И самое страшное, что большинство людей по добродушию своему не замечает этого.

— Далось вам, Михаил Артемьевич, это самое добродушие. Всех вы на свой аршин. Моя вот семейная хроника не так гласит. Даже светлые явления и те всегда почти из тьмы рождались и ею же поглощались. Вот послушайте, как это у меня сложилось. Объявляется это, значит, в августе 18-го регистрация бывших офицеров. Народу собралось в манеж видимо-невидимо. Меня это мало беспокоит. Знаю, что негоден и негоден, будь армия их хоть трижды архикрасная, сколько они там ни проверь, до того сердце к тому времени распаталось. А у публики в общем, как по команде, все носы на квинту⁴⁵. Не грех, думаю, хоть соседей ближайших рассмешу. Раздали нам тут закуску — много часов ведь нас сряду продержали — кому селедки голова, кому хвостик достается и хлеба этак с полкрошки. Многие с голоду сразу и набросились, а день жаркий-прежаркий, хоть август, да уже по новому стилю. Воды же, не говоря о кипятке, во всем здании ни капли. Смирно, ребята, команду я тут по регистрационной очереди. Оглядываются, любопытствуют. Хотите, чудо покажу? Разворачиваю газетину, располагаю на ней доставшуюся головку, все кругом смотрят. Кто, спрашиваю, поможет вернуть отрубленной голове жизнь? Для этого чуда, говорю, мне туловище нужно и хвостик подходящий. Сразу кто-то этот самый хвостик и предлагает, прямо в пальцах за развилину держит, а собою приятный такой, совсем еще молоденький, черноокий, со жгучим, знаете ли, взглядом. За ним еще и еще. Целая гора выросла, уж боюсь я, газету прорвет. Ну, говорю, господа офицеры, забыли вы что ли, что селедочка плавать любит? Мертвой селедке не воскреснуть, а поевшему ее и не запившему человеку не сдобровать. Кругом смех, и правильно говорят: хоть и не обещанное, а все-таки чудо, голодные сами от пищи отказываются. Завернул я немедля всю кучу селедочную в их же «Из-

⁴⁵ Приходить в уныние, поддаваться мрачному настроению.

вестия» да в угол ее. Так вот и доехал я на той шуточке до будущей моей супруги — неожиданным скачком заключает главу своей повести Иван Митрофанович, опрокидывает стаканчик и разглядывает на свет вино.

Михаил Артемьевич терпеливо ждет продолжения, сутулится, согнутым пальцем поглаживает поросль над верхней губой.

— Удивляетесь перескоку? Эх, милый друг мой, и не такие еще барьеры жизнь берет. Индейка она, судьба, а через любую стенку перемахнет. Тот, видите ли, который первый с хвостиком подошел, уж потом от меня ни на шаг. Конной артиллерии оказался подпоручиком — мы ведь, золотопогонники, конечно, все в штатском были. Тут сцепление обстоятельств и начинается. Иван Митрофанович, шепчет он мне — успели, разумеется, визитными карточками обменяться, а дело уж к вечеру подходило, и все еще мы далеко в хвосте — если бы, говорит, со мной что-либо случилось, ради Бога, позаботьтесь о сестренке моей. Так и сказал, навеки запечатлелось, хоть и были они погодки. Это уж я, конечно, лишь позже узнал, когда с Марьей Львовной лично познакомился. Что вы, говорю я, Михаил Львович, — как и Вас, Михаилом его звали, а Маша, Мария значит Львовна, и по сей день иначе не скажет, как «наш Мишенька» — погодки и единственный брат и очень были похожи, одно лицо, и взгляд тот же и смуглость, и стройность такая, знаете ли... Его, правда, уже не суждено было больше увидеть. Погиб. Не знал я тогда, что отец их, Лев Михайлович Наумов, на той стороне очень заметную роль играл. Что это вы, — журю я Мишеньку нашего, — к черным мыслям прислушиваетесь? Бог не выдаст, хавронья не съест. — Нет, нет, — шепчет он мне, — есть такие обстоятельства, пятьдесят шансов «за», пятьдесят «против», непременно, непременно запомните адрес — писать он, само собою, не решался. Запомнил я, крепко запомнил и теперь еще домик этот в Марьиной роще перед собой вижу... Ах, друг мой, какие только на свете обстоятельства не сцепляются...

Иван Митрофанович откидывается назад, закрывает глаза, берет себя за локти, оцепенел.

— Да-с, приходит он от вырвавшегося вдоха снова в себя, — все уж потом отсюда и пошло, быстро, головокружительно, как в вихре. О сестренке не то что позаботиться, спастись ее надо было. Без промедления. Раздобыл я бумажки всякие, какую шуточкой, а какую за керенки, помните, как марки почтовые, целыми листами их выдавали, двадцатки и сороковки, кофейные и зелененькие с малиновой раскраской. Разузнал какой куда подземный ход ведет. Для упорочения, ради одной проформы, согласно декрета, гражданский брак заключили и уже в качестве супружеской четы в Питер прикатили. Признайтесь, Михаил Артемьевич, не надоело ли вам? Я в любом месте точку поставить могу.

Михаил Артемьевич вздрагивает:

— Нет, нет. Очень, очень прошу вас. Это так важно, так много сразу узнаешь. А правда ли, Иван Митрофанович, керенки ведь и в виде лент употребляли?

— Правильно, Михаил Аркадьевич, вполне. И в виде лент. Я, например, их, как галантерею, в трубочку, в цилиндрик этакий сворачивал. Оглянешься — и даже такая мелочь затронет невольно. И поучительно оно, если хотите. Когда здесь вот в Берлине все миллионерами разгуливали, каждая бумажка была сама по себе, личное, так сказать, достоинство свое сохраняла, а у нас деньги сплошной воблой потекли. Особенно уж когда мы в Питере очутились. Там, должен вам сказать, у меня по отличной рекомендации зацепка была. Уже упоминал вам сегодня раз: Клементий Лазаревич Шпицер. Именно к нему меня из Москвы и направили. О нем еще и особо сказать придется, в ином, как говорится, разрезе. Тогда он очень полезным делом занимался, через финляндскую границу переправлял. Людей спасал и капиталы, ценности всякие, не керенские, конечно. Однако на нашу, то есть четы Мелютиных, беду, вскоре после приезда нашего граница присяжного поверенного Шпицера провалилась.

— Как вы сказали, провалилась?

Иван Митрофанович отводит голову в сторону, косится.

— Не в прямом, разумеется, смысле. Землетрясения никакого не было, а наводнение ведь тоже фигурального скорее свойства. Тем не менее, связи Клементия Лазаревича подмокли. Кто-то из доверенных его лиц на чем-то попался, стали они там нитей и корней доискиваться, самое благоразумное было — на время, по крайней мере — в земле зарыться и мертвым прикинуться. Вот и оказалась чета Мелютиных на мели. Поверьте, Михаил Артемьевич, без всякого каламбура. Уж одно то, что пришлось молодоженам в одной комнате поселиться. И смех и грех. Тогда, впрочем, не до смеха было. В квартирке, в которой Клементий Лазаревич нас устроил, новые, неизвестного происхождения люди появились. Держи, значит, ухо остро, а пуще всего — язык. Для отвода глаз стали молодожены друг дружке на людях «ты» говорить; скажут, смутятся, на уме же одно: как бы смущение скрыть. В своей даже комнате и то иногда нарочно комедию разыгрывали. Только на улице и чувствовали себя в некоторой безопасности. Выйдем и сразу: вы, Иван Митрофанович... и вы, Марья Львовна... Слоняемся возможно дольше по улицам петроградским и с истинным наслаждением склоняем это вдоль и поперек: вы да вас, да вам... Однако, как сказал, не до смеху было. Зима лютая стояла, капиталы давно уже для переотправки на руки Клементию Лазаревичу сданы были, кое-что у меня самого было и наумовского семейного добра немало, больше всё камешки, чуть ли не прабабушкины. Между тем, спаситель наш сам куда-то в провинцию спасся. Мне бы, конечно, следовало отступить временно, без обоза, разумеется, в Москву, чтоб с новыми силами в поход снарядиться, да как ее одну оставишь? Заикнулся я раз об этом, когда мы на вольном воздухе уважительное местоимение по всем падежам склоняли, ну и затряслась же тут моя Марья Львовна, засверкала на меня жгучими своими очами... Очень уж, знаете, я ей как бы дядюшкой стал, тринадцать ведь лет разницы между нами. Так и перезимовали на мели. И намучилась же она, настрадалась на своем двадцать первом году,

на пятерых и то довольно бы было. Про Мишеньку нашего она тогда еще только догадывалась, а что и отца, и мать в эту же зиму тиф унес, об этом стало нам известно куда позже, уже здесь...

Иван Митрофанович обводит глазами кухню, отпивает глоток, запускает руку в карман брюк:

— Именно здесь уже, лишь после того, как мы, ну, одним словом, лишь после того, как мы во второй раз молодоженами сделали. И подумайте, как это в жизни бывает. В один прекрасный день снова появляется на петроградском фронте наш распорядитель по эвакуационной части, восстанавливает свою финляндскую границу — ловкач он — и отдает приказ: правое плечо — марш. Мне чего-то даже жалко стало, с сожалением из этого дома нашего выходя, на подъезд оглядывался. А поверите? Едва за рубеж перешагнули, Мария Львовна, барышня моя благовоспитанная, возьми да и брякни: теперь, когда уже никто не принуждает, я вам, Иван Митрофанович, сама «ты» говорить буду, и вы тоже говорите. — И ты тоже говори, — в тон ей поправил тут же, хоть и совсем опешивший, но тогда не такой еще, как теперь, размазня, прапорщик Мелютин. И так они оба, Иван да Марья, зарумянились, что до самого этого смешного Берлина, кажется, румянец уж и не сходил.

Эх, Михаил Артемьевич, и мы молоды были. Теперь же, теперь (рука Ивана Митрофановича беспокойно ворочается в кармане) — теперь неизвестно, да, совершенно неизвестно: „ты“ или „вы“? Забавно, не так ли, друг милый?

В первый раз за весь вечер замечает Иван Митрофанович в черных с синими ободками зрачках — чуть-чуть колебание:

— Думаю все-таки, — произносит Михаил Артемьевич как будто вслух, — думаю — повторяет он про себя как бы — что все-таки на „вы“.

— Может быть, может быть, хотя, по правде говоря, сомневаюсь, — выволяет из кармана руку Иван Митрофанович. — За нескончаемый день в сумеречной этой стране многое, знаете, из того, что прочным казалось, бесплотной тенью

истаяло. Если б не Сашурочка наша, я в иную бессонную ночь тем бы, пожалуй, и кончил, что весь случай сплошной ошибкой признал бы. Очень уж легко все тут приобретает расплывчатые, как пишут, очертания. Я почему столицу здешнюю смешной назвал? Сама по себе вещь, что и говорить, весьма даже серьезная, да вот для нас, для нашего брата, словно через ярко освещенное окно в незнакомую квартиру заглянул: размахивают они это руками, совещаются, спорят, друг дружке вдруг в вихри вцепятся или напротив того — в обнимку, а ты все ни при чем, тебя все не касается...

— Так это именно потому — оживляется нагнувшийся вперед Михаил Артемьевич — что вы сами сквозь воображаемое стеклянное окно смотрите.

— Ах, Михаил Артемьевич, воображай, не воображай — один итог. Там, дома, какие, случилось, рожи тебе строят, а не смешно. Жутко бывало, страх как жутко — это да. Отдельному происшествию какому-нибудь, что ж, и посмеешься иногда. Но в балансе — никогда так язык тебе не показывали. Тут же... Да зачем сравнивать! Недаром говорится, что мать она, родина.

Михаил Артемьевич опускает глаза, очень длинный палец упирается в переносицу.

— Я ее, Иван Митрофанович, совсем не знаю, она при самом моем рождении скончалась.

Иван Митрофанович мягко отводит рукою сероватый с голубеющими разводами воздух, нижняя губа выпячивается из-под рыжеватых усов:

— Бросим... Бросим... Вижу, совсем в грусть вас вогнал. Я ведь для того лишь некоторых биографических данных коснулся, чтобы вам положение мое яснее было. Мне с вами посоветоваться надо, в известном смысле совсем срочно даже, потому что от этого разное зависит и, между прочим, дальнейшее направление наших общих... Впрочем, лучше сразу к сути перейти — и, закружившись по словесной спирали, то изнутри наружу, то наоборот извне, ввинчивается

внутри Иван Митрофанович в самом, в самом общем тоне, как свято кой-кому пообещал, не называя имен, набрасывает картину, план, так сказать, действий, до того соблазнительный, столь много сулящий, что разгораясь все больше и больше, он, все быстрее кружась и завинчиваясь, под конец уж и сам не знает, советуется ли он с внимательно-неподвижным слушателем, и гостем, и другом, с родной душой Михаилом Артемьевичем, или же раскаленной, как лава несущейся речью вербует его, а заодно и себя самого, в доблестную команду для славного ратного подвига:

— Вы подумайте только, что они с нами сделали! Могло ли это быть, чтоб такие люди, как вы, не находили себе применения. И сколько это таких ценнейших для родины людей по свету развеяно. Возвращайтесь, говорят, помогайте строительству. Поклонитесь в пояс, ручку поцелуйте окровавленную, мы простим. Разбойники! Шулеры! Из крапленых карт вы домики сами строите, над людьми, как над картонными куклами, потешаетесь, всю планету лганьем опутали! Да вас с лица земли стереть мало. Вечными муками и то не искупите... Душегубы! Злодеи!

Плечи Ивана Митрофановича дергаются, из-под усов вылетают брызги, руки в воздухе мечутся без толку, вперегонку одна за другой.

— Ради Бога, Иван Митрофанович, не надо. Не надо так терять самообладание. Простите меня, вы сами себя заговорили. Иван Митрофанович, ради Бога...

Иван Митрофанович бросается к водопроводной раковине в углу у раскрытого настежь окна, вытирает лоб полотенцем, перегнулся через подоконник, всматривается в черную черту, отрезавшую на той стороне двора городским заревом раскаленное небо:

— Слишком громко, действительно, чересчур. Еще снизу браниться будут. Что ж, — круто и даже вызывающе как-то поворачивается он к Михаилу Артемьевичу, — нисколько не отрицаю! Конечно, и личная злоба привходит. Так я и не говорю, что мы ангелы. Есть, разумеется, есть и собственный

интерес. Да чего тут кругом да около? Скажу прямо, не будь этого вот письма, наверное, не стал бы я так неумеренно горячиться. Понимаете ли вы Михаил Артемьевич, где тут узел завязан?

Одна бровь Михаила Артемьевича припала к сузившемуся несколько глазу, другая изогнулась острым крылом вверх, трепещет:

— Участием в изготовлении бумажных денег, вы, Иван Митрофанович, надеетесь облегчить положение...

— Чье, чье положение?

— В частности — здешнюю вашу жизнь. Вы, может быть, потому и вспыхнули, что лично вам этот путь крайне неприятен, не по душе.

— А сами, что вы сами об этом думаете? Скажите, пожалуйста, какие нежности! Не по душе! Неприятно! С 14-го года приятности больше не в ходу, были да все вышли.

— Простите, Иван Митрофанович, что я вас прерываю. Вы ведь не со мною, а все с самим собою спорите. Этот спор вы сами только можете разрешить.

Меж кустиков бровей Ивана Митрофановича что-то проскользнуло и скрылось.

— С вами, погляжу, — полуулыбается он, — не шути. А на вопрос мой вы все-таки не ответили. Допустим, остался я при своем сомнении, ну а вы сами, сами-то вы как?

Михаил Аркадьевич светлеет, встал даже.

— У меня, Иван Митрофанович, никаких ведь побуждений для участия нет. Я своим положением доволен, семьи у меня тоже нет, и кроме того, жажда отомстить или покарать...

— Какое тут мщение! Дело идет о свержении ига, об освобождении закабаленной родины.

Зрачки Михаила Артемьевича — в синем ореоле две черные точки:

— Вот вы раньше все это предприятие сказкой назвали...

— За что купил, за то и продаю.

— Так разрешите мне тоже одну историю рассказать, чтоб осветить собственное понимание. Не особенно длинную...

— Господь с вами. Того лишь и жду, когда наконец мой Михаил Артемьевич сам заговорил. Не вам только, и себе, можно сказать, голову забил я.

Оба снова присаживаются. Михаил Артемьевич берется за чайную ложечку, зачерпывает ею из воздуха блеснувший искрой свет:

— Случай вот какой, — покачивает он на дне ложечки каплю света. — Осталось имение, единое и неделимое. Наследников же двое, два брата. По отцовскому завещанию каждый из них должен в запечатанном письме наперед заявить, как он предполагает имуществом распорядиться, а присуждено оно должно быть тому, чье намерение окажется более достойным, кто проявит большую мудрость. Если пообещаю половину бедным отдать, — рассуждает сам с собой один из братьев, — то как знать, он, единокровный мой, может быть, вызовется пожертвовать три четверти, и он меня перещеголяет; дай-ка пообещаю все имение в пользу неимущих, риску же никакого нет, если только о сроке умолчать: покуда жив буду, все равно мое будет имение. Сказано — сделано. Написал он это, запечатал и отдал судьбе и, как только заявление свое сдал, сразу же уверился, что дело его выигрышное. Не откладывая в долгий ящик, стал он свозить в отцовское имение камни, кирпич, бочонки с цементом, — приступил, одним словом, к постройке нового великолепно-го здания...

— Занятная, очень занятная история. Уж, наверное, как всегда в сказках, умник в дураках окажется, — не может удержаться, чтоб не забежать вперед, Иван Митрофанович.

— Вот послушайте, — улыбается Михаил Артемьевич. Наступает день суда. Судья распечатал сначала заявление нашего строителя. Прочел и огласил. Присутствующие так и ахнули. Совершенно неслыханный до того случай. Строитель победоносно озирается, на второго брата людям и смот-

реть стыдно. С кем, думают, осмелился тягаться. И представьте себе, что дальше случается. Вскрывает судья второй конверт, и листок дрожит в его руках. «Во имя отца, — оглашает он второе заявление, — отказываюсь от всякого притязания»...

— Позвольте, Михаил Артемьевич, так значит что же? И говорить больше, как будто, не о чем...

— Ах, нет, Иван Митрофанович, совсем не так. Судья подумал, подумал и объявил: истинный наследник — второй брат, первый, хоть и обещает все имение раздать, право владения оставляет за собой, пусть хотя бы только для того, чтоб облагодетельствовать ближних; он и унаследует землю.

Иван Митрофанович мерно покачивает головою, приходит в движение и кисть руки — от груди к выкрашенной некогда белой краскою стенке, туда и обратно, туда и обратно; сомневается видно:

— Так-с... Так-с... В общем, конечно, понятно. Только конца как будто не хватает. Ведь братец ваш, действующий во имя отца, пожалуй, и после приговора не захочет во владение вступить. Разве что и он лишь схитрил.

— О нет, Иван Митрофанович, он без всякой хитрости. Но после приговора он уже обязан. И принять, и распорядиться.

Иван Митрофанович вдруг щелкает бескостными пальцами, весьма неумело, точно кому-то подражает:

— Ну, допустим, что обязан и что он в дальнейшем будет действовать от чистого сердца. Так разве все это к нам применимо? Наша-то — единая и неделимая — кому досталась? Строителю ведь, хитрецу?

— Нет, нет, Иван Митрофанович, окончательный приговор еще не оглашен, да и другая сторона заявления своего еще не сделала.

— Сомневаюсь, дождемся ли когда.

— А я, Иван Митрофанович, очень надеюсь.

В глазах Михаила Артемьевича зыблется что-то, по зыбкой синеве уплывает что-то в черную глубь.

— И какой я, Михаил Артемьевич, прости Господи, балда. Поверите ли, я мысль еще имел убеждать вас не отказываться от иска к этой, ну как ее...

— Ах, вы думаете, m-Ile Heilbronner?

— Хейльброн-нерр, да! Она самая. А у вас, оказывается, на этот счет все давно предусмотрено. Как в крепости, можно сказать, кругом окопались.

Михаил Артемьевич трет концами пальцев лоб:

— О нет, вовсе не как в крепости. Мы, Иван Митрофанович, — спешит он пояснить, вернее сказать, — все во рву сидим, с очень вязким дном, в тине...

— Попросту говоря, в луже, — обрадовался Иван Митрофанович.

— Или так, — соглашается Михаил Артемьевич и, разжав сжавшиеся на миг губы, — разрешите мне, — продолжает он, — сказать вам, дорогой Иван Митрофанович, может быть, не совсем кстати, что я твердо надеюсь не быть вам в тягость...

— Тссс!.. Тссс!.. Не так громко — прикладывает расшплившийся ни с того ни с сего Иван Митрофанович палец к губам. — После десяти говорить о делах в нашей столице строго-настрого воспрещается. Знаете немецкую поговорку, над всеми рукомошниками у них вышита: у утреннего часа полна золота касса — это для рифмы, а по-нашему проще: утро вечера мудренее. Я, когда сюда приехал, умываясь, все соображал, чья лучше. Тогда, чего скрывать, сильно еще уважал их, не то что теперь... А, скажите-ка, — склоняет вдруг Иван Митрофанович круглую голову набок, — вы ничего не слышите? Никак скребется кто-то...

— Постукивает как будто, — прислушивается и Михаил Артемьевич.

Иван Митрофанович выходит в сени, притворяет дверь на галерею.

— Ах, простите, пожалуйста...

— Ах, вы, мадам Ландеквист...

— Ах, простите действительно.

— Ах, пожалуйста, пожалуйста, не случилось ли что?

— Нет, нет, херр Млютин, совсем нет, у меня только часы стали, не можете ли вы...

— Бит-те, бит-те, — спешит Иван Митрофанович в жилую к тиктикающему спросонья будильнику.

Успела-таки Елизавета Акимовна закинуть взгляд, один, сразу же отдернутый, в полуотворенную дверь, через переднюю в кухню. «Совсем небритый, как на войне», — только и заметила она, а верно ли фрау шмидткино замечание, что, дескать, очень красивый господин, хотя, видать, в нужде, верно ли так и неизвестно...фон Намау...

— Это, видите ли, — объясняет вернувшийся в кухню Иван Митрофанович, — все от деликатности ее: пол-одинадцатого, боится она, чтоб ей кто-нибудь на шумливость нашу не пожаловался, а прямо сказать неудобно в силу давнишней дружбы. Опять же и на гостя взглянуть любопытно.

— Право, очень мило!

— И больше того, весьма разумно, потому что вам после больницы грех поздно засиживаться. Уж давно пора байбай. За один вечер всеми мыслями все равно не обменяешься. Вот подождите — соорудим вам место для отдыха.

— Следовало бы еще посуду убрать, — пытается возразить Михаил Артемьевич.

— Оставьте, оставьте, — поспешно забирает тарелку из рук гостя Иван Митрофанович. — И права, и обязанности — все завтра распределится. А до завтрашнего числа уж повольте — и, засветив во всех трех комнатках, считая и переднюю, принимается хозяин за заключительные хозяйские действия. Отпирает, достает, еще достает, перетаскивает, передвигает, перетряхивает, взбивает — со стороны послушать, не хозяин, а заправская домашняя хозяйка.

— Ну-с, пожалуйста, Михаил Артемьевич! Готово!

Вселился, значит, Мишенька наш, в добрый час! — уж на кухне, один, допивает остатки вина начальник квартирки под каменным ангелом. Да осталось самая малость. Управившись, сдав последнюю вилку в кухонный цейхгауз, в шкаф-

чик с дребезжащими стеклянными дверцами, Иван Митрофанович опускается на прежнее место и теперь лишь, лишь теперь выкладывает он на стол, на тускло отсвечивающую белесоватую клеенку уж порядком помятый конвертик. Так, так. Херр-ен «И» с точкой Мелютин... Берлин... Вот именно, что Берлин. И как оно это назад откинулось, с гордостью «М»... Машино... Упирается, как бы от собственной фамилии отбояривается.

С бросившейся в лицо тревогой хватается Иван Митрофанович за голубоватый конвертик, раз-раз — край оторван. Так и есть. «Дорогой, милый попочка... (не поправила даже, прикоснуться даже не захотела) — почему ты нам ни разу еще не пишешь. Я очень хочу знать, што (зачеркнуто) — как ты в Берлине поживаешь. Тут (запятая) тоже очень большущий город. Милый, дорогой папочка (теперь правильно), пиши нам, как ты поживаешь. Клепко (дружо-оо-чек ты мой!) — цалую тебя от — Твоя дачулька Александра Мелютина»...

Листик выскальзывает из некрепких, дрожащих пальцев. Ни слова! Ни единого слова. Сюрприз, действительно, сюрприз. На мякине провела. С ребенком, и с тем схитрила. Ясное дело: «Оставила мне место? Хорошо, дочурка. Мапочка потом напишет...»... Актёрка! Не узнать, просто не узнать. Подменили точно. Поманили, и сразу побежала... Подумайте только: с экрана улыбки расточаем, фильмуемся, карьеру делаем... Эх, Мишенька, не знаешь ты жизни. Совсем еще не знаешь... «Полагаю все-таки, что не „вы“»... Половина, четвертушка истины, ни на грош больше. До такой комбинации не додумался, прозорливец ты мой: херрен Мелютин и — пункт. Хорошо еще, что обратный указала — нет, нет, не свой, сохрани Бог — за все, за все Сашульке пальчики расцеловать надо. Без нее еще месяцы и месяцы в полной неизвестности прошли бы. Дружочек ты мой! Так и осталась дачулька при младенческой речи. Где же ей тут разобраться, как правильно. Разберись тут в этом столпотворении вавилонском. Еще, говорит, окончательный приговор не огла-

пен. Жизни не знаешь, золотой ты мой. Окончательных не бывает, до скончания веков не будет...

Недоверчивым взглядом как бы поверх очков упирается Иван Митрофанович в пространство, туда, где черная черта полагает предел полыхающему в сверхэтажной выси зареву. Подходит к окну, перегнулся. Там, внизу, на дне, знает он в вырезанном светом четырехугольнике собственную тень. Поближе, немного направо — еще четырехугольник, размером побольше, в смутном ретуше. Вот он исчез, погас и в тот же миг снова появился, и снова погас и опять всплыл, и опять исчез, и снова, снова, и опять, и опять. Это у них, у хозяйкиной Евы. Давно известно: уляжется, выключит свет и пойдет включать и выключать. Полчаса подряд иногда так. Темноты боится. Проверяет, бедняжка, в исправности ли лампа. Никак успокоиться не может, не доверяет, сомневается.

— Все, все мы сомневаемся — отходит от окна Иван Митрофанович.

4. Ах, так вот он какой!

Восклицание это, восклицание недвусмысленно неуважительное, явно выражающее пренебрежение и возмущение, даже больше того, презрение и негодование, это восклицание вырвалось у Марьи Львовны, едва только Сашурка бросилась из комнаты с крепко прижатым к груди письмом своим, чтобы поделиться новостью, чтобы поделиться необыкновенной новостью, ну, конечно же, все с той же глупейшей Эрной.

— Ах, папа, зо гут, зо гут! — доносилось переливчатое, золотисто-серебристое, иногда ну совершенно несносное щебетанье, откуда-то из глубины коридора, с кухонного порога, через который вообще-то посторонним переступать решительно воспрещалось (так и написано было на двери чернильной готикой: «Не управомоченным доступ запрещен!» — с восклицательным знаком), но посторонним вообще исключено, однако не Сашурхен, хоть и проживает-то

она в этом высокопорядочном пансионе всего каких-нибудь три месяца.

Марья Львовна крест-накрест сжала ладони. Оба больших, совсем небольших пальца слегка подрагивают, сжатые руки, розовые от темно-розового абажура, как будто собираются что-то выкинуть, схитрить, показать, не китайские ли тени? Зайчика с ушками? Козлика рогатого? Волчью пасть?

Нет, не выйдет. Марья Львовна сидит в глубокой тени, в глубоком, старостью продырявленном кресле, в глубоком, глубоком раздражении:

... И как он только смеет! Как смеет погоню снаряжать! Так и подумала: «снаряжать» — словно не свою мысль думала, не по своему поводу сердилась, возмущалась и негодовала. Бог знает, что с человеком случиться может, когда сидит он в провалившемся кресле, в глубокой тени, с порозовевшими от пыльного абажура руками («непременно потребую новую лампочку, совсем издыхает!»), в духоте, в смятении, в полной-полной нерешительности. А оттуда, из глубины темного коридора, этот переливчатый, звонкий, не унимающийся восторг — зоо гутт! зоо гутт!

— Зо гут! — почти вслух повторяет Мария Львовна. Нечего сказать, хорош! — еще крепче сжимает она ладони и порывисто встает.

Духота нестерпимая. Оба окна — во двор — раскрыты, но занавески не шелохнутся. Если Евгений Борисович опять опоздает, сегодня, пожалуй, никуда уж не выберешься. Что за удовольствие на воде, если вдруг гроза? И вообще... Как он, действительно, посмел! Чувства чести нет, порядочности мало. Напрасно, Иван Митрофанович. Насквозь, насквозь вас вижу. И подумать только — злоупотребить ребенком. И как он это только выразил? Вечно эти его завитушки... Ну, разве не погоня?

Марья Львовна порывисто открывает дверь с мутным матовым стеклом в темный коридор:

— Саша, иди сюда!..

— Глайх, мамочка... Бин глайх видэр да!⁴⁶ — топ, топ по шершавой дорожке: Што, мамусечка?

Мамусечка берет Сашу за ручку, затворяет за ней дверь, подводит к розово-красному абажуру. От абажура ли покраснела вдруг мамочка, держа за ручку Сашурку, у которой в ручке другой, летающий по воздуху вверх и вниз, порядком помятый исписанный лист, или от другого чего? Не понять ей самой, не понять.

— Письмо папочки? Да? — отрывается от мамочки Сашурка, сует лист и скок на свою «спальню», на бывший турецкий диван, еще скок, на колени, нагибается вперед, ручками упирается в продавлилки, словно в лошадки играет. — Ну, мамочка, читай! С начала!

Марья Львовна читает, но не вслух и не сначала, а с конца, про себя, от себя отодвинувшись — брезгливо как будто — исписанный и уже помятый порядком листок.

— Мамусенька, ну-у!

— Не могу, деточка. Потом. Ты иди к Эрне. Сама ведь сейчас сказала...

— Ну, мамусенька, только конец, вот там, где ты держишь, ну самый маленький кончик! — и правый кулачок взлетает вверх, дергается правое плечико, два пальчика — колечком, ноготок над ноготком отмерил кончик, ну самый маленький, ну вот такую крошечку папочкиного письма.

Сдается Марья Львовна, прямо как попалась, читает равнодушным читательским голосом: «Только теперь уже поздно, а завтра у папочки твоего много дела. Скоро еще напишу. Будь здорова, дочурка Сашурка...»

— Хха! Хха! — не то взвизгнула, не то заржала еще на трех ножках лошадки девчурка.

«Будь здорова... а когда Михаил Аркадьевич приедет в твой Дрезден поклон передать, ты его не бойся, он хороший, и папочка твой его очень любит. А тебя еще больше, и очень хочет опять поиграть в чоп-чоп. Значит, здоровень-

⁴⁶ Сейчас, мамочка... Я сейчас вернусь!

кой быть, ангелочек мой, и всего тебе доброго желает твой папа, Иван Мелютин».

Как после чрезмерного усилия рука с листом виснет, уходит в глубокую тень.

— Мамочка, мамочка, а там еще было!

— Ну, что было? «Крепко целую».

— Нет, мамусечка, раньше андэрс⁴⁷ было... «Целую клепко, клепко...»

— Ну да! Это — глупость, это все равно.

— А когда он приедет, мама?... Ты его тоже любишь?

— Ах, Господи! Какая непонятливая! Сказано ведь, что совсем новый знакомый. Как же я могу знать? Иди теперь, иди, Сашенька. У мамы голова болит...

Сашенька-Сашурка нехотя сползает со своей спальни, к плечу склоняет пышногривую головку, очень-очень грустно ей вдруг, и совсем не слышно за дверью, что она «видэр да», на кухне, у Эрны. А может, стоит она в темном коридоре, одна-одинешенька, со слезинкой на щеке.

Такая мука! Такая мука! Ни туда, ни сюда. Хоть в воду бросайся (Марья Львовна снова в продавленном кресле, снова с ладонями, сжатыми крест-накрест). Уже когда он похвалит! Такой ж верно чудак. Чудак чудака видит издалека, или как это... Все, все они противные. Был бы здесь сейчас Евгений Борисович, прямо бы в лицо сказала бы. И какая неприятная фамилия Гнедов. Мелютина стоит. А каким он под Новый Год, когда на этой Моуштрассе встречали, каким блестящим тогда казался... Мишура, мишура — ничего больше. Просто статист и на все способен. Не верю я им, никому не верю, когда за Россию распинаются. Если б правда была, и вообще, здесь не торчали бы, уж как-нибудь пробрались бы туда и действовали бы, а то одно разглагольствование, все на словах, все одни лишь слова... Господи, какая мука! Пропадаешь неизвестно за что!

У Марьи Львовны дергается правое плечо, голова наклоняется упрямо вперед, до боли в шее. Она встает, решитель-

⁴⁷ Иначе.

ным шагом направляется в противоположный угол. И все только затем, чтобы включить там, в углу, другую матовую лампочку над трехстворчатым зеркалом с трех сторон, как кулисы в театре, замыкающем стол, стол-подмости, стол-сцену, на котором немое разыгрывают действие флаконы, <нрзб>, коробки, щетки и щеточки и разного калибра другие статисты.

Актеркой стала, роль играю, сама перед собою ломаюсь, — смотрится Мария Львовна в зеркало налево. Больше говорит ей профиль, особенно рот, что направо, с очень благородной линией носа, возносящей к чистому лбу, с очень очень круглою тонкою бровью, чуть-чуть лишь подправленной туалетным статистом. А в зеркале главном тоже смотрит направо выступившая из темно-розового мрака в неуловимо плывущее молочно-расплывчатое облако света Мария Львовна иная, себя не винящая, себя не помнящая, себя не знающая. Сколько решимости в этом наклоне забывшей себя головки, сколько еще не истаявшей прелести в сжатых крест-накрест, в прижатых к груди, открытых по локоть руках, как хорошо это нечто, в каком-то изгибе, нет, во всем этом облике — решимость, и сила, и мягкость, и такая готовность, такая готовность двигаться, жить, излучать доброту, ободрять, уважать, и ценить, и блистать... Да, и блистать. И вот они встретились обе — глазами. Блеснули глаза. Вспыхнули черным огнем. Меж круглых бровей — от них доброта, удивленность, правдивость, меж бровей — углубленная тень. В уголках сжатых губ — горечь насмешки. Над Марией Львовной насмехается Мария же Львовна.

Руки ее разжимаются, она опускает их на край стола, как будто берет аккорды и, лицо приблизив к стеклу, закрывает от света черным ореолом волос весь узкий овал до самого мягко отточенного подбородка. Вдоль уголков губ точно тушью зачернила. Но глаза горят, и дуги бровей еще выше. Как впиалась она горящим взглядом в себя: в горделивую свою насмешку, в презрительную свою гримасу, в презрение к собственной прелести. Не понять, ничего не понять.

Чуть поманили, так сразу — кинулась. Положим, не совсем сразу. Немало промучилась, куда свое решение высказала. Как сейчас — вот эта мерзкая слякоть, этот ни с того ни с сего среди зимы тепленький ветер и эта липкость его ко всем. И как это он вдруг так пристально стал тут же на улице сбоку вглядываться... Ну, конечно, чувствовал, догадывался, а, может быть, стороной уже как-нибудь прослышал — ни к чему было дольше тянуть. И затем этот грубый намек... Нет-нет да и выскочит москворецкий купец. То есть так только и понять было. А может он о разнице лет случайно... Так зачем же тут же Евгений Борисович пришел? Это уже было чересчур. «Ах, так вот вы какой? Завтра же мы уезжаем!» — не своим точно голосом в этом тепловато-холодном воздухе, в этой проклятой вечерней слякоти, в этом противном, трижды противном скверике, только чтобы поскорее, чтоб только без Саша — развязаться и конец. И затем это на лестнице, чуть не ревя, как побитый: «Вы? Кто же, кто вы?» — «Да я с девочкой!»... Ну, тут-то все и кончилось. Больше не о чем было. Боже мой, как все это мучительно... было. И Саша бедная...

— Саша! Саша! — бросается вдруг к двери Мария Львовна. — Ужинать и спать! Давно пора!

Из-за полуоткрытой двери кухни в конце коридора Сашин голос изо всех сил отвечает:

— Гля-а-аайх, мамочка, их ко-о-о-м!⁴⁸

Марию Львовну внезапно охватывает неутомимая жажда двигаться, действовать. Она [...]

London. 10.X—3.XI.1934

⁴⁸ Сейчас, я иду!

О самом важном⁴⁹

Вступительные замечания. —

I. Катастрофа в Германии. — II. Как мы ее пережили? —

III. Навстречу будущему

С 1933-го года все наши размышления о судьбах еврейского народа естественно вращаются вокруг Катастрофы, постигшей германское еврейство.

Это естественно и неизбежно. Линия развития, имевшая своим началом 1789-й год, год завершения еврейского средневековья, внезапно оборвалась. Экспроприация гражданских прав, жертвой которой стали евреи и полуевреи в Германии, не могла не стать одновременно и экспроприацией самых прочных надежд всего европеизированного еврейства во всех европейских и неевропейских странах его рассеяния. Вместе с правовыми основаниями материального, социально-экономического благосостояния полумиллиона евреев в центре Европы рухнули и провалились основные предпосылки их казавшегося несокрушимым духовного благополучия. Благополучие это, эта псевдодуховная, потому что духу от века, враждебная умственная пресыщенность и изобличавшая ее неутомимая жажда беспредметного, хотя и виртуозного, умничанья, не были бы возможны у людей, хоть сколько-нибудь связанных с трагическим смыслом исторического бытия, воплощенного в судьбе еврейского народа, не укоренись в них постепенно в ряде поколений вера, что прошлое безвозвратно прошло, что линия общечеловеческого развития, несмотря на причудливые порою уклоны, неизменно идет в гору, что, иными словами, самый непреложный из законов истории есть движение вперед, прогресс. Не иначе мыслило в основе и все так называемое «прогрессивное» еврейство на всем белом свете, безотчетно отдаваясь

⁴⁹ Беловая копия. SC. Вох VII.

объемлющему его течению общечеловеческой светской мысли.

Этой вере, ставшей чем-то вроде слепого мироощущения, события последних лет нанесли потрясающий удар. Она заколебалась. Лишенная своих внешних, общественно-политических устоев, она повисла как бы в воздухе. Но до полного осознания того, что обман возвышающий есть обман низвергающий, что соблазн духовного уюта есть самый опасный из соблазнов, подстерегающих нас на нашем историческом пути, — до этого все еще далеко. Все еще не исключена возможность, что урок истории будет немедленно позабыт, едва лишь затрещит за дверьми звонок к ближайшей «большой перемене». С. М. Дубнов, самый авторитетный ныне историк еврейства, определяет время, рубежами которого являются мировая война и непосредственная наша современность, как период «третьей эмансипации и третьей реакции»⁵⁰. Эти порядковые числа могут легко повлечь за собой тяжкое недоразумение. Ими непроизвольно подсказывается предположение, что за «третьей реакцией» непременно последует, по правилу чередования, извлеченному из опыта последних полутора столетий, период новой, еще более полной, окончательной, быть может, «четвертой эмансипации». Если мы, несмотря на все, что случилось, как дети, увлечемся таким обобщением-сказкой — то, как бы она, эта прогрессивная сказка о сивке-бурке, не обернулась вдруг жестокой правдой о сером волке, о той семидесятиголовой волчьей стае, с которой старинное еврейское предание сравнивает варварское окружение Израиля.

Вот почему кажется, что самым важным для нас в настоящий миг является уяснение того, в чем суть преподанного нам историей урока и в чем его смысл. А с этим вопросом

⁵⁰ А. Штейнберг поддерживал и развивал концепцию С. М. Дубнова о губительности ассимиляция европейского еврейства, внешней и внутренней, приведшей к отсутствию «источника национальной энергии» и духовному истощению. Новейшая история еврейского народа С. М. Дубнова. Берлин, 1923, т. 3, с. 464, 470.

неразрывно связан другой, не менее важный: начинаем ли мы уже отдавать себе отчет в этой сути и в этом смысле и не тут ли первый проблеск надежды, что наш вековой духовный разброд, тягчайший наш внутренний недуг еще может быть изжит? Как знать? Быть может, время наше и впрямь то «время, бедственное для Иакова», в котором, по древнему вещему слову, — лежит «спасение»⁵¹.

I.

1933 — год, конечно, знаменует собой в известном смысле возврат к прошлому, к времени, которое, казалось, навсегда отошло в вечность. Как резко отличается этот возврат, эта последняя «реакция» от всех прежних явлений подобного рода на всем протяжении минувшего века! После Венского Конгресса еврейское население в разных частях центральной Европы лишилось равноправия, признанного за ним в предшествующий период французского влияния; ни одно из немецких правительств не зашло все же и в этот период восстановления старых порядков так далеко, чтобы воскресить, например, для подвластных ему евреев поголовную пошлину, взывавшуюся с них у городских застав в конце XVIII века. Победившая после 1948 г. контрреволюция превратила в ряде западноевропейских стран принцип гражданского равенства, поскольку дело зашло о «лицах иудейского вероисповедания», в фактически неосуществимое, так называемое «голое» право; но и при этом не отрицался самый принцип. Сверх того, на родине еврейской эмансипации, во Франции, основы нового порядка, установленного для евреев безотносительно к проходившей там смене режима и форм правления, от десятилетия к десятилетию крепили, незаметно становясь общенациональной французской традицией. Даже в Восточной Европе, в Польше и России вопрос об уравни-

⁵¹ «Увы! как велик день тот, нет подобного ему! Это час бедствия для Иакова, и в нем же его избавление». Иеремия. 30:7.

нии евреев в правах с соответствующими слоями нееврейского населения все время не сходил с очереди и непрерывно близился к своему разрешению. Темп этого движения то ускорялся, то замедлялся, но не было сомнения, что оно, как на Западе, так и на Востоке, развивается по восходящей линии. Короче говоря: ни одна из бывших волн общеполитической или общественно-духовной реакции на всем протяжении времени с 1789-го до 1933-го года не в состоянии была уничтожить без остатка еврейские достижения предшествующего периода, и наоборот, каждый новый прилив энергии в сторону исторического движения, которое сознавало себя поступательным, приносил с собой для европейского еврейства, сверх восстановления уже раз им достигнутого, подъем на еще более высокую ступень гражданского существования. И что же? Если до самых последних лет за этим волнообразным процессом еще мог мерещиться некий «закон», мы ныне знаем, что это не более чем обман исторического зрения. В кратчайший промежуток времени германское еврейство отброшено не на два или три десятилетия «назад», как это было при прежних поворотах исторических судеб, а на целые века. Нельзя даже сказать, что оно снова очутилось в XVIII веке, в эпохе, предшествовавшей отождествлению прав человека и гражданина, хотя одного этого было бы достаточно, чтобы превратить разницу между «реакцией» нынешней и минувшими из количественной в качественную. Слово, навязывавшееся теперь, когда ищешь исторической аналогии, есть «новое средневековье». Избиение, разорение, истребление и изгнание, — вот чем характеризовались преследования евреев в средние века. В Германии Гитлера не было массовых избиений, но изгнание и разорение проводится методически, а небывалое количество самоубийств среди немецких евреев невольно воскрешает в памяти образы мучеников, которые в эпоху крестовых походов бросались с женами и детьми в Рейн и Дунай. Целый ряд других, не менее выразительных черт — от «желтого пятна» на фасадах еврейских домов до строжайших кар за брачные отношения меж-

ду евреями и неевреями — еще больше сближает две во всем остальном столь мало схожие эпохи. Все это не только воссоздает средневековую символику, фразеологию и казуистику, но и свидетельствует неопровержимо, что в центре Европы как будто снова, и притом сознательно, проводится программа тех достопамятных церковных соборов, которые своим законодательством создали для евреев, наряду с гетто видимым, невидимую и потому еще более непроницаемую ограду социальной отверженности. Можно ли после этого усомниться в том, что времена, даже самые стародавние, повторяются, и что мы присутствуем при очень глубокой, но, тем не менее, в свете исторического процесса в целом, все же вполне естественной «реакции»?

Против такого в каком-то смысле все еще достаточно успокоительного заключения всем нам необходимо себя предостеречь. Аналогия, установление сходства есть первый шаг мысли; за ним должен последовать второй: установление различия. Уже один тот факт, что немецкие «реакционеры» нашего времени, в отличие от реакционеров прежних времен, свои деяния поставили не под знак отката назад («реакция», как известно, проклиняется ими даже в их официальном гимне), не под сень каких-то вновь оживающих «традиций», а под знак «динамики», напряженной воли к какой-то еще неизведанной новизне — одно это должно было бы заставить нас призадуматься. Но есть различия гораздо более существенные, которые, кстати сказать, могут придать притязаниям нынешних властителей Германии на «динамичность» или «неопрогрессивность» как раз в глазах прогрессистов даже известную убедительность. Ведь самой характерной чертой всех реакций до второй трети нынешнего века был возврат к средневековой религиозности и церковности. Стоит лишь вспомнить французских реакционеров послереволюционного периода или немецких идеологов «христианского государства» или, наконец, место православия в триединой формуле российского ретроградства. А между тем, нынешняя реакция в Германии, если уж так ее

называть, есть одновременно движение церкви не только не родственное, но ей прямо враждебное. Больше того, как бы назло всем светски настроенным просветителям, оно опирается на науку: на биологию, антропологию, палеонтологию, короче говоря, на естествознание. Что толку, что в «науке» этой научные данные искажаются до неузнаваемости; метод, подход к мировоззрению, тем не менее, те же, что у всех «свободных от религиозных (и прибавим — нравственных) предрассудков» позитивистов. Недаром идеологи новейшей Германии заодно с христианством во всех его разветвлениях отвергают и классический немецкий идеализм. В этом коренное отличие нынешней бедственной полосы уже не только от всех ее предшественниц в XIX веке, но в гораздо более далеком прошлом, включая и средние века, различие тем более существенное, что оно ведет к трагическим последствиям.

Когда евреев преследовали как «лиц иудейского вероисповедания», у них всегда была возможность с отказом от вероисповедания своей веры переменить и лицо. С точки зрения религиозно-нравственного человекознания, такая перемена мыслилась вполне реальной, а в результате спасались от физической гибели не только отдельные, но спасался от них, от духовно-слабых и неустойчивых, и еврейский народ. Иное дело при господстве антропологии позитивистской, антирелигиозной и антиэтической. Она оказывается губительной для многих десятков тысяч отдельных, ни в чем, кроме как в своем происхождении, неповинных людей, и навязывает сверх того еврейству самую злокачественную ассимиляцию: ассимиляцию ассимилированных другими народами элементов, скрещение его центростремительных сил с силами сознательно центробежными. Религиозные преследования содействовали как бы искусственному отбору в еврейской среде и ее тем самым закаляли; светские преследования ему прямо противодействуют и потому среду эту расплавляют.

Преобладание «научного» образа мышления в Германии есть, по всей вероятности, также ключ в разгадке того загадочного на первый взгляд факта, что из «просвещенной» части немецкого народа не прозвучал ни один влиятельный голос в защиту гонимого и поносимого еврейства. Та молниеносная быстрота, с которой гонения стали фактом, заставила всех потенциальных критиков перед фактом смириться, потому что для позитивизма нет суда высшего, чем наличная, реальная действительность. Она для него то же, что для человека средневекового «суд Божий», испытание огнем или водою. И нельзя считать случайностью, что первым, выступившим в роковой 33-й год в самой Германии с публичной апологией еврейства, был католический архиепископ, ныне кардинал Фаульгабер.

С таким ключом в руках легче, быть может, понять и отношение, проявившееся к стрясшейся над немецкими евреями беде за пределами Германии. Один единственный еврей Дрейфус вызвал к себе еще не так давно во всем мире несравненно больше сочувствия и просто интереса, чем целое осужденное на гибель колено Израилево. Само собой разумеется, что вялость, почти паралич нравственной воли в современном человечестве есть следствие тысячи и одной причин. От поколения, прошедшего через огонь мировой войны и оглушенного медными трубами революций, нельзя было, конечно, ждать особой отзывчивости к чужому страданию. После переворота в России имущие слои уже не в состоянии были особенно возмущаться, когда насильственно стала отчуждаться еврейская собственность, да притом еще с нарочито выставленной целью охраны от грозящей якобы всеобщей социализации. Наконец, что значат все несчастья немецких евреев по сравнению с надвигающимся катаклизмом, грозящим гибелью всей Европе, и не ей одной! Действительно, причин и поводов для равнодушия без конца. Сведенные, однако, к одному знаменателю, все они знаменуют лишь одно: лицо мира переменилось. Люди научились летать, они слышат друг друга от одного края земли до другого, они

властны превращать черное в белое, уголь в сахар, но воображение их бескрыло, но им нечего сказать друг другу, но им не хватает голоса, чтобы заклеить черную неправду и назвать ее черной. Как мало, в самом деле, пострадал мировой престиж Германии за это пятилетие. Да и с чего бы? Разве самолеты ее не быстры, броня не огнеупорна, суррогаты не диво? Сила должна сравняться по силе, а не право по праву — вот основа миропорядка, переставшего быть нравственным, чтобы стать физическим. Так, вместо равноправия, еще недавно считавшегося мерой общественного устройства, его осознанной нормой стало соотношение неравных сил. По этой норме слабым не остается ничего другого, как пересилить в себе самих голос возмущенного чувства справедливости, чтобы со спокойной совестью преклониться перед фактами.

Дурные примеры заразительны. Если изгнание евреев из Испании в конце XV-го века уже через короткий промежуток времени встретило сочувственный отклик не только в близкой Португалии, но даже на далекой Литве, а немного спустя и в Московском Кремле у Иоанна III, то как мог немецкий пример не стать сразу классическим в век эфирных волн и организованной телепатии? Ему подражают, везде стараются от него не отстать. Ты победил, ефрейтор!

II. «Победил»?

Немало поражений суждено было испытать еврейскому народу в борьбе его за историческое существование. Его побеждали цари Востока и Запада, полководцы и первосвященники, творцы новых вер и калифы на час. Почему бы ему не потерпеть поражение и от фаворита загнивших масс удачливого барабанщика? Чем поражение нынешнее страшнее прежних? Впервые ли меняет мир свой лик? Впервые ли суждено ему пройти через нравственный кризис, всегда ведь и везде сопровождавшийся откровенным торжеством механических сил? Не вправе ли мы, умудренные ты-

сячелетним опытом, вновь и вновь повторить примиряющие с роком слова: «Все, все уже бывало»?⁵²

Если бы дело шло только о внешних обстоятельствах, о преследованиях извне и о равнодушии внешнего мира, мы на худой конец могли бы еще, пожалуй, отступить на последнюю из остающихся позиций и укрепиться за кажущейся неопровержимостью исторического фатализма. Но дело вовсе не идет об одном этом. Самое грозное во всем, что произошло, это то, как мы сами отнеслись к происшедшему, наша собственная «реакция» на «реакцию» германскую. Никогда еще экспроприация человеческих прав не встретила у самих евреев такого широкого «понимания», как в эти последние годы. Мало того, что германское еврейство как целое приняло нанесенный ему удар почти без протеста — оно приняло его как нечто неизбежное и должное. Его непротивление можно было бы объяснить более или менее естественно терроризованностью, мало отличавшейся от запутанности его немецкого окружения, как мещанского, так и дворянского и пролетарского. Но как объяснить тот столь поразительный для всякого непосредственного наблюдателя факт, что среди немецких евреев, за крайне редкими исключениями, не проявилось даже нравственного возмущения? Один страх не мог его погасить, а от стоической «апатии» по отношению к делам мира сего современные немецкие евреи, во всяком случае, дальше, чем их предки, которые терпели без того, однако, чтобы притерпеться, умирали, но внутренне не сдавались. Изменился, значит, не один мир внешний, изменился до неузнаваемости и лик самого еврейства.

В известной мере мы знали это, конечно, и до 33-го года. Как раз прогрессисты наши склонны были изменение это считать явлением не менее положительным, чем секуляризацию всего внешнего мира и ее следствие — социально-экономическую эмансипацию еврейства. Наш прогрессивный национализм всех толков исходил при этом из предположе-

⁵² «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем...». Кохелет (Экклезиаст). 1:9.

ния, что вполне возможно отрезать от эмансипации начисто ее тень — разъедающую дух и плоть еврейства ассимиляцию. Лишь теперь, после антиеврейского переворота в Германии, возможно, наконец, проверить эту теорию на фактах и установить более или менее точно, на какой стороне плюс, на какой — минус. Кто, свободный от предвзятости, станет отрицать, что итог превосходит худшие ожидания?

Евреи были эмансипированы в силу нравственного постулата о прирожденном праве человека на достойное существование. Тот же сдвиг, однако, который привел к эмансипации евреев, «эмансипировал» объемлющий их мир и их самих от общеобязательности религиозных догм и нравственных норм. В результате нравственное основание их освобождения исчезло не только вне их, но и в собственном их сознании. И когда разразилась гроза, когда в Германии во имя новой «научной» теории стало попирается человеческое достоинство евреев, сознание их этому напору враждебных сил уже ничего не могло противопоставить. Лишь наличие такой «нечистой совести» делает понятным тот факт, что ответственные представители немецкого еврейства могли с самого начала гонений действовать заодно с гонителями, всячески стараясь успокоить те круги еврейства заграничного, в которых еще сохранилась общеврейская солидарность прежних веков. Что солидарность эта, в свою очередь, была сильно подорвана, тоже было давно известно. И тем не менее, кто предположил бы, что в час общей беды евреи в самой Германии окажутся всего-навсего лишь человеческой пылью, массой разрозненных, сталкивающихся друг с другом молекул? Так открылась возможность уничтожить их по частям, изгонять группу за группой, расправляться с ними поодиночке. Связанная с традицией ортодоксальная группа отчасти злобствовала, а группа сионистская отчасти торжествовала по поводу того, что прогнозы ее противников оказались ложными.

Позиция, занятая сионизмом по отношению к Катастрофе в Германии, симптоматична для внутреннего положения

во всем мировом еврействе. Задача дня, возможность форсировать заселение Палестины заслонила в глазах многих светски настроенных руководителей сионистской политики самые насущные интересы народа в целом. Еврейство ни в коем случае не может поступиться своим правом достойно существовать на всей поверхности земного шара теперь меньше, чем когда-нибудь, потому что больше, чем когда-нибудь, судьба его связана с судьбой всего человечества. Как святой день, суббота, в традиционном еврейском понимании для всей жизни человека, а не наоборот, так и Святая Земля, Палестина для всего Израиля, а не наоборот. К каким результатам ведет противоположный взгляд, обнаруживается постепенно со все большей и поистине трагической ясностью. Уже в 33-м году именно из-за этого ложного взгляда все старания противопоставить напору антиеврейских сил организованный отпор должны были кончиться неудачей, и место вопроса о будущем европейского еврейства занял лишь в очень незначительной части с ним совпадающий вопрос о будущем еврейского населения Палестины.

В связи с этой неудачей следует подчеркнуть особенно важную для нас здесь подробность, что предложение прекратить торговые сношения с Германией до восстановления немецких евреев в их правах самое горячее сочувствие нашло в тех еврейских центрах, которые сохранили связь со старой Россией, будь то Варшава или Нью-Йорк. Можно сказать в общей форме, что готовы к жертвам в противодействии германскому нападению были всего лишь две (пересекающиеся, конечно) группы мирового еврейства: евреи русские и ветхозаветные, т. е. те, которые либо еще не успели, либо не захотели соблазниться плодами эмансипации. В отношении языковом это почти одна группа — говорящих на народном идише. Показательно, что и в пределах сионизма решительными сторонниками бойкота Германии были одни лишь в основе «русские» ревизионисты. Когда попутно вспоминаешь прежние попытки и неудачи подобного же рода (например, бойкот Анконы в половине XVI века) сама собой

напрашивается мысль, что в нынешнем рассеянии русским евреям выпало на долю играть ту активную, стимулирующую волю и мысль народную роль, которую некогда выполняли изгнанники из Испании.

Но это относится уже к будущему. Подводя черту под ныне завершающимся немецким уроком, надо сказать, что он с бесспорной очевидностью обнаружил коренное и роковое заблуждение, общее всем нашим центробежным умственным течениям. Их общим принципом было: прочь от традиции! Для одних, индивидуалистически настроенных одиночек, принцип этот был однозначен с антинациональным и эгоистическим лозунгом: спасайся кто и как может! Другие, мыслящие национально, полагали, что заимствованный извне массовый национализм и переустройство еврейства по образу и подобию современного понятия о нации смогут создать в еврейском народе новый центр сцепляющих сил, который сделает излишним «отжившую» религиозную традицию. И что же оказалось? За индивидуализм отщепенцев их потомки расплачиваются личными трагедиями, между тем, как светские наши националисты стоят лицом к лицу с тем фактом, что степени омертвления религиозной традиции прямо пропорционально ослабление народной энергии и направляющей ее действенной солидарности. Ставка на вне- и антирелигиозный протест в обоих случаях проиграна. Антирелигиозный мир начинает впадать в прародимое варварство и воплощается в «Чингиз-хане с телеграфом». Сверхнравственная и внерелигиозная наука вырождается в лженаучное язычество и человеконенавистничество. Вместе со значительной частью еврейского народа, отпавшего от еврейства, отпали от христианства массы христиан. Между евреями и христианами, не отпавшими еще, возможны были диспуты, у отпавших нет больше общего даже для спора. Конечно, «Чингиз-хан» не может явиться решающим свидетелем против техники, но и она, но и научно-технический прогресс нисколько не исключают торжества

зверя в человеке. Надо, значит, всем нам, евреям и неевреям, снова обратиться к человеку в человеке.

III.

В мире, все круче отворачивающемся от преданий, связывающих еврейство с христианством, обостряющаяся изолированность еврейского народа должна была бы уравновешиваться усилением его внутренней сплоченности. Без нее невозможно было бы все то, что является положительным содержанием еврейской истории и в духовном, и в физическом ее планах. Каждый из глубоких кризисов в ней вел к новому росту центристремительной энергии. В Вавилонском плену выковалась всенародная еврейская религиозность; одновременно с падением царства Маккавеев заложено было основание цитадели, которую мы называем Талмудом; после изгнания из Испании расцвела Каббала и окрепла власть сведенного в кодекс Закона; даже распад польского еврейства в конце XVIII-го века сопровождался взрывом единящего энтузиазма, породившим всенародное почти хасидское движение. Есть ли основание думать, что мы снова накануне внутреннего обновления, нового подъема сплачивающих сил?

Наследие, доставшееся нам от эпохи эмансипации, тягостно. Мы у разбитого корыта. Куда ни заглянешь, везде в нашем внутреннем духовном хозяйстве опрокинутые сосуды, обломки и осколки. И до последнего периода история наша полна была борьбой идей, порой и спорами о йотах и запятых. Но запятые и точки эти всегда были частицами текста, для всех спорящих одинаково священного, и столкновение идей никогда не переходило за порог Святая Святым в граде видимом или невидимом. Иное дело теперь. Утерян не только общий язык с недругами нашими, мы сами перестали понимать друг друга. Перестали потому, что в очень многих из нас угасла та изначальная искра веры, которая была общей нашей точкой соприкосновения. Разве может такая социологическая абстракция, как понятие нации, за-

менить живой источник тепла и света? К разброду внутреннему, к рассеянности духовной присоединился разгром внешний, распадение всей международной структуры нашего Рассеяния в смысле пространственном. Чем больше сближалось еврейское население в каждой стране с непосредственным своим окружением, тем больше удалялась оно от еврейства в других странах Диаспоры. Верно, что Израиль искони распадался на обособленные колена, и есть достаточное основание сравнить «сефардов» или «ашкеназов» еврейского средневековья, как и русское, немецкое или французское еврейство нового времени с древними коленами Израилевыми. До нынешнего кризиса, однако, по меньшей мере, одно колено всегда чувствовало себя ответственным за прошлое и будущее всего народа. В последние десятилетия перед мировой войной это призвание достойно выполнялось и в литературе, и в жизни русским еврейством. Ныне собственная его судьба под вопросом, тем более — способность его продолжать дело собирания, а заместителей не видно.

Так во всей своей остроте выступает вопрос: намечается ли хоть какой-нибудь поворот в этом критическом нашем положении? Заметны ли хоть какие-нибудь признаки такого поворота? Можно ли действительно надеяться, что «в нем же, в бедственном времени для Иакова, спасение»?

Первым условием выхода на новую дорогу, как уже было отмечено, является осознание происшедшей перемены в ее настоящей всемирно-исторической перспективе. Признаки того, что процесс такого углубленного понимания нашей «злобы дня» постепенно захватывает все более широкие круги еврейства, для внимательного наблюдателя несомненны. Нет ничего удивительного в том, что поколение немецких евреев, созревшее уже до Катастрофы, почти целиком застыло в растерянности и недоумении. Сколько раз приходилось слышать в германизированных еврейских семьях восклицание отчаяния: «Неузнаваемый мир! Ничего не понять!..» Фейхтвангер и другие еврейские писатели уже успели при-

дать этому настроению художественное выражение. От потерпевших крушение нельзя было, впрочем, и ожидать, чтобы они тут же, на обломках его, нашли в себе силу для нового созидания. Еще меньше было оснований ждать этого от нашей распределенной по партийным рубрикам публицистики, для которой не может быть ничего нового под луной, что не служило бы подтверждением правильности раз навсегда затверженной программы. Но в литературе на идиш, на еврейском, на других языках, не связанной партийной предвзятостью, но среди еврейской молодежи в самой Германии и особенно среди широких масс восточного еврейства, сознание, что пришел конец каким-то временам и срокам, что мир меняет свое обличье не как вчера и позавчера, а как в самые роковые его минуты, — там сознание это глубоко и действует оно там, не парализуя волю, а вдохновляя и окрыляя ее. Даже такие «политические новости», как английский проект восстановления еврейского государства в Палестине, воспринимается там не как успех той или иной еврейской партии, а как весть о новых концах и началах.

Вместе с тем устанавливаются и делаются более и более прочными «поперечные связи» между такими еще недавно казавшимися непримиримыми умственными течениями в еврействе, как религиозная традиция и социализм. В русско-еврейской эмиграции, среди еврейских выходцев в Америке, в Польше и в Палестине, идет напряженная работа в этом направлении. Среди сионистов раздаются голоса о переоценке роли Диаспоры в духовном развитии Израиля и одновременно укрепляется среди них «ересь», что будущее его не укладывается целиком в пределах Палестины. Даже из блокированной России доходят вести о новых религиозно-нравственных исканиях тамошней еврейской молодежи. Самый глубокомысленный из пишущих на идиш поэтов, Лейвик, сознательно продолжает линию мессианизма. В широком пласте еврейства, в котором, казалось, вера потухла навсегда, все чаще и чаще вспыхивают то там, то здесь яркие

искры. Возгорится ли из них пламя, вокруг которого мы смогли бы все снова собраться?

Если этому суждено сбыться, русское еврейство не оставит и своего светильника под спудом. Еще не утратило оно до сих пор своего объединяющего значения. Проявления его в поле общенародного действия должны были бы стать предметом особого изучения. Но на некоторые особенности того вклада, который русское еврейство как бы предопределено внести в наше будущее духовное развитие, можно, кажется, указать уже сейчас. В России мы приобрели смелость начинать сначала; мы остались там свободными от страха перед материальными преградами; мы научились там видеть человека и ценить человеческое его достоинство независимо от внешнего его положения, от его наружности вообще. Все это — необходимые положительные и отрицательные условия религиозно-нравственного обновления. Без смелого исторического почину наше внутреннее положение в корне не изменится, а без такого коренного изменения мы будем все более и более беззащитны перед лицом внешних опасностей. Великая ответственность ложится на каждое из колен Израилевых. Неужели же она окажется не по плечу нам, знающим тверже, чем любой из соплеменных нам колен, что прогресс не факт, а норма, идеал, за который надо бороться; что право человека на достойное существование не может быть даром или ценой за какие бы то ни было уступки с нашей стороны; что, наконец, судьба еврейского народа соизмерима лишь со смыслом исторического существования всего рода человеческого; что «вопрос» еврейский есть иными словами вопрос, поставленный Единым Богом единому человечеству?

Об этом последнем и самом твердом нашем знании мы, как это ни странно, по-русски почти не говорим. Покойный М. О. Гершензон решился заговорить об этом под самый конец жизни уже слабеющим голосом, между тем как в Германии в это время слышны были, пусть в тесном лишь кругу, голоса Германа Когена, Франца Розенцвейга и Макса Брода.

Быть может, нам казалось, что говорить на эти темы не прогрессивно, даже реакционно. С этим недоразумением надо раз навсегда покончить. Исходить из религиозной еврейской традиции можно и нужно для того, чтобы идти вперед; даже если мы вернемся к ней, движение наше не будет движением вспять, потому что мы обратимся к ней лишь затем, чтобы укрепить нашу волю к борьбе со всеми силами мрака, сковывающими человека в человеке в пределах и за пределами еврейства. Это движение не будет поэтом и уходом от мира, а наоборот, приятием его в его истинной сущности. Под давлением внешних обстоятельств, через силу нельзя, конечно, ни любить, ни надеяться, ни верить. Но еврейский традиционализм и не требует этого. Он призывает лишь к тому, чтобы мы в поступательном нашем движении оглянулись назад, вспомнили и узнали, как занесло нас до нынешнего рубежа — тогда в нас, быть может, из самого нашего существа, из последних глубин нашего знания возгорится вера в благой Промысел и открылится надежда на исполнение данного нам обетования, и живым ключом забьет в нас любовь к неиссякаемому источнику всех наших надежд, всей нашей веры.

London. XII 1937. А. 3. Штейнберг

II. Портреты и идеи

Бялик и Баал-Махшавот *Иврит и еврейский язык*⁵³

В канун нового, 5673 (1923) года довелось оказаться на одном заездем дворе творцу ивритской литературы Хаиму Нахману Бялику и критику идишской литературы д-ру И. Эльяшеву, известному под именем Баал-Махшавот. В тот период оба они были скитальцами, покинувшими большевистскую Россию и поселившимися в Германии. Один, Бялик, был готов совершить алию на древний Восток, в Эрец-Исраэль, другой, Баал-Махшавот, тоже стремился за море, но не к Обетованной земле праотцов, а к земле нового обетования — в Америку.

И это перепутье, и неопределенность своего положения: за Рейном, в ненадежном месте, находящемся в распоряжении англичан и французов после поражения немцев в Первой мировой войне, и тяжесть расставания с Европой, — сильно ощущались обоими, словно оторванными от своих истоков. Было также ощущение, что закатывается счастливая звезда нашей двуликой национальной литературы, приближающейся к разделу.

Все это сблизило и сильно привязало друг к другу писателей, совсем разных — и по облюбованному каждым из них языку, и по поведению, и по тому, как они росли и учились, хотя близкие по стремлениям. В те дни Бялик тоже стал на

⁵³ Ялкут. Zionist Hebrew Supplement, July—September. London, 1941, s. 45—46. Перевод с иврита М. Улановской и Л. Цинман. Благодарю З. Копельман за оказанную помощь..

некоторое время критиком и посетителем⁵⁴, несмотря на то, что жил в Гомбурге, а временная квартира Баал-Махшавота была в другом городе той же местности, в соседнем Висбадене. Бялик пользовался любым предлогом, чтобы посещать своего нового друга, гулять с ним часами по саду и по лесу, проповедовать, критиковать и рассуждать, иной раз одновременно, — о жизни и о смерти, что попадет на язык. В тот год автор этих заметок приехал из России в Германию и часто бывал у своего дяди Баал-Махшавота. Потому он был свидетелем этого интересного обмена мнениями — частично непосредственно, присутствуя на их встречах, частично слушая о нем позже, в их пересказе.

Тема, больше всего занимавшая собеседников: двойственность литературы. Вокруг нее постоянно вращались их разговоры. Естественно, что говорили они на идише, «языке матери», а не на отцовском языке, иврите, который не был привычен еврейскому писателю с таким замечательным ивритским именем.

Однажды Бялик в шуточной форме коснулся имени собеседника: «Существует выражение Хазаль⁵⁵: «Пусть Всевышний воздаст». Каково же было его изумление, когда намек на агаду из Санедрина 19:20 не удивил моего дядю. Как стрела из лука, последовал его ответ: «Написано: «Разве я вместо Бога?». Берейшит 30 (Здесь нужно объяснить тем, кто не знаком с рассказами Хазаль, например, писателям на «жаргоне» предыдущего поколения, что кличка «Баал-Махшавот» служила рабби Шимону Бен Шетах⁵⁶ именем самого Всевышнего: «Вы размышляете еще, как поступить? Пусть же Ведающий помыслы воздаст вам!»).

⁵⁴ Здесь игра слов: «посещать» и «критиковать» имеют общий корень „ לבקר “.

⁵⁵ Хазаль: Хахамейну Зихронам ле Браха (наши мудрецы), мудрецы эпохи Талмуда.

⁵⁶ Шимон Бен Шетах — законоучитель конца 2-го — первой половины 1 в. до н. э.

— А кроме того, — не замедлил Баал-Махшавот поддеть собеседника, — разве «мой долг» у ценителей иврита больше «твоего долга» у целого народа — читателей твоих стихов, желающих получить их не через посредника, а лично от тебя? Если я — должник, не платящий долгов, то твой долг больше моего в силу твоего богатства.

Лицо Бялика несколько помрачнело, улыбка исчезла, и он очень серьезно ответил: «Ты прав — мы грешники и преступники. Если текущая из рая река — наше творчество — делится на несколько русел и каждый из нас пьет из своего стакана и зарабатывает из него; если ты, — и улыбка снова расцвела в уголках его губ, — сидишь на реке Тигр, а я на Евфрате, — нечего нам сердиться и жаловаться друг на друга. Но о чем речь? Вопрос в том, являются ли эти воды «спорными ради святости», другими словами, служит ли разногласие благородной идее и есть ли в нем нечто святое. Но к великому сожалению, мне кажется, что не каждый из ручьев увеличивается, а, наоборот, увеличивается разделение между ними. Если бы это происходило для возвышения души — у народа всегда одна душа, я бы промолчал, но, к сожалению, нет основания для этого предположения. Увеличиваются признаки усиления разрушительных и подрывных сил. Я сказал «к сожалению», имея в виду, что ты принадлежишь к нашим единомышленникам как один из тех, кого становится все меньше в нашем мире, роль которых — целое, мир и совершенство, короче, все, а не часть, народ, а не племя, литература, а не корзина, полная книг, разве не так? Пусть Баал-Махшавот дополнит!

Глубокая серьезность Бялика не прошла даром и, пока он говорил, пронзительные глаза Баал-Махшавота наполнились светом и теплом, исходящим из глубины его души. Но все же он задал вопрос, то ли всерьез, то ли в шутку: предположим, что мы оба правы и не собираемся обанкротиться. Но, несмотря на это, в той мере, в какой ты мой ровесник и я твой ровесник, что же будет с трудом нашей жизни? Сменит ли негр кожу и писатель, как леопард, — пятна, ведь

его произведения и язык, стиль и его личность связаны с языком и письменным творчеством? Неужели муж с женой разведутся на старости лет?

Бялик разгневался и стал упрекать друга: «Зачем ты меня испытываешь твоими загадками? Я тоже задам тебе вопрос: разве не достаточно умному звука, без всяких редакций и добавлений? Могу ли я думать, что ты сможешь «гебраизироваться» или я смогу стать «идишистом» в большей мере, чем мы удостоились впитать из груди дочери нашего народа? Не дай Бог предположить такую глупость! Если я предъявляю тебе претензии, то это только потому, что я не могу понять, почему ты ограничиваешь свое искусство и свой интеллект только одной половиной нашей литературы, которая и по твоему мнению состоит из двух частей, составляющих целое. Почему бы тебе не пахать и пожинать на всем поле, с начала до конца? Такое молчание — прости меня — не делает тебе чести! В этом моя претензия, и я не отступлюсь от нее».

Через несколько дней дискуссия продолжилась с того же места. Теперь Баал-Махшавот начал ткать нить вопросов и ответов:

— Не стану отрицать, — воскликнул он вдруг посреди легкой беседы, перескакивающей с темы на тему во время дневной прогулки по саду висбаденского отеля «Черный козел», — не могу отрицать, что ты очень красиво рассуждал во время нашей беседы о конфликте языков. Красиво — по справедливости, но не по степени сострадания. Действительно, мы все в долгу и во взаимодействии друг с другом. Если мы не обратим на это внимания, мы не только не придем к преобразованию нашей литературы, но каждая из сторон не сможет сохранить даже свой виноградник.

Бялик прикоснулся к рукаву Баал-Махшавота: «Если ты не для себя, то кто же для тебя?»⁵⁷ Я готов принести себя в жертву сейчас же на твоём операционном столе, если этим

⁵⁷ Перефразировка известного выражения Гиллеля: «Если не я за себя — то кто за меня? А если я только за себя — то кто я? И если не сейчас — то когда?».

я смогу помочь тебе снести перегородку, которую воздвигли неучи. Пусть Баал-Махшавот растолкует!»

С этого момента Баал-Махшавот начал излагать Бялику свое понимание еврейских основ его произведений, а потом приступил к секрету его уникальной личности.

— Знай, что после исследования всех напевов твоей поэзии, я понял, что ключ к ее самобытности невозможно подобрать только на основании стихов, что его надо искать во всем, тобой написанном. Сторонники иврита хвастаются, что среди них появился пророк. Но ты не пророк и не сын пророка, а простой волинский еврей, так же, как я — литовский еврей, и в этом неповторимость твоей личности и мужества. Ты не столько человек души — души поэта, сколько «плотский человек», подобно Арье Баал-Гуфу времен твоей молодости. Я считаю, что ранние произведения, если погрузиться в их вкус и запах, обнаруживают человека Хаима Нахмана больше, чем кучи стихов, которые ты написал после того, как стал рабом своего имени и был вынужден отчуждаться от себя... Я могу продолжать? Я не задеваю, не дай Бог, твоего самолюбия?

— Как тебе могло такое прийти в голову? Меня обидеть, меня? продолжай! Ты не сможешь доставить мне большего удовольствия — и рука Бялика потащила Баал-Махшавота к садовой скамейке. — Мой друг! Ну, скорей!

И Баал-Махшавот сказал: «Разве это не Арье Баал-Гуф собственной персоной? Могучий, и напористый, и стоит на своем, фантазер и насмешник, и вместе с тем — „скромен и кроток необыкновенно“. А теперь расскажу тебе, как я пришел к этому открытию. Ты сам, возможно, помимо воли, мне в этом помог. Твой рассказ „За оградой“ относится к тем годам, когда ты сторонился еврейства. И все же даже слепой увидит, что отрок Ной, который заглядывал за завесу нашего мира — дитя из дома Арье Баал-Гешема (Арье-Здоровяка). И вот я стал допытываться, отчего это автор выбрал такое неподобающее имя, ведь „Ноах“ и поэт — две стороны

одной медали, и сейчас же мне стало ясно, что это имя — инициалы твоего двойного имени: Нахман Хаим».

По словам моего дяди, он никогда не видел такого удовольствия, которое появилось тогда на лице Бялика. Звон его смеха разнесся по всему саду, и незнакомые посетители, находившиеся на террасе напротив, смотрели на них с изумлением, не понимая, чему они так радуются.

— Я рад, — ответил Бялик, — что ты невольно попался в мои сети. Ты должен записать то, что сказал. И если мне на самом деле удастся издать все сочинения «Ноаха», хотя это не единственная моя забота, ты должен сочинить предисловие, а я переведу его с идиш.

Баал-Махшавот ответил: «Обещаю, я этого хочу, и все знают, что если я Баал-Махшавот, то ты — Баал-Хешбонот, как написано в твоём рассказе «Баал-Гуф»⁵⁸.

Однако тогда Баал-Махшавот не знал, что стоял на пороге смерти, унесшей его в начале 1924 г. И этот счет до сих пор не оплачен.

⁵⁸ Баал-Махшавот — хозяин (владелец) мыслей, Баал-Хешбонот — хозяин счета. «Арье Баал-Гуф, — писал Х. Бялик, — обычно не ошибался в расчете».

Соломон Михоэлс, художник и человек

*Личные воспоминания*⁵⁹

В ноябре 1943 г., когда я познакомился с Соломоном в Лондоне, мы оба пребывали в некотором замешательстве.

Ни профессор Михоэлс, ни я не могли избавиться от чувства, что обстоятельства нашей встречи не совсем естественны. Выдающийся актер, директор Московского государственного еврейского театра, маститый преподаватель театрального искусства, он находился в Англии от имени советского еврейства с официальным визитом доброй воли. Я принимал его в качестве члена Британской секции Всемирного еврейского конгресса. И тем не менее, пожимая руки и глядя друг другу в глаза, мы оба сразу же поняли, что все тонкости этого формального и на фоне войны достаточно торжественного события совершенно неуместны. Сила памяти, незаметная для остальных присутствующих, презрев все правила приличия, отбросила нас на сорок лет назад в дни нашего счастливого отрочества. «Счастливого», потому что в то время в нашем родном белорусском городе ничто не отделяло одного еврейского мальчика от другого: не было даже малейшего намека на непонимание или страх. Мы твердо стояли на земле, такими же твердыми и четкими были наши юношеские надежды.

Шлоймке Вовси, как тогда называли профессора Михоэлса, выделялся во многих отношениях. В возрасте четырнадцати лет он писал поэмы на иврите. Они были так кристально чисты и так потрясающе выразительны, что мы, изучавшие иврит, предрекали ему далеко не последнее место в еврейской литературе. В то время он уже начал свою театральную карьеру. Возможность для этого представилась на спектакле о Маккавеях, которую сочинили и поставили

⁵⁹ SC. Box VII. A. Steinberg. Solomon Mikhoels, the artist and man. Машинопись. Перевод М. Шраберман.

молодые, как и сам Соломон, люди. Я, среди прочих, вместе с Соломоном был ответственным за декорации и костюмы. Он очень переживал, что может перепутать цвета мантий, предназначенных для каждого из братьев Маккавеев. Сила аргументации, которую он демонстрировал во время споров по этим и другим подобным «проблемам», единственным, которые тогда нас разделяли, его пылкая любовь к прекрасному, его поклонение героям Израиля, этим древним борцам за свободу, ни в коей мере не влияли на пронизательность его ума. Очевидно, самой природой ему было предназначено стать великим политиком или адвокатом. Позднее он действительно изучал право, и от его сокурсников я слышал, что русские профессора, как и учителя иврита, в один голос предрекали ему блестящую карьеру юриста.

Его жизненный путь окончательно определился в начале двадцатых годов. Безошибочное чутье не подвело его: он выбрал род деятельности, в которой все его разнообразные таланты могли проявиться одновременно. Безусловно, решающим фактором выбора была великая традиция русского театра. Идеальный человек и провидец, проповедник героической морали, художник и актер мог легко найти соответствующее место на театральных подмостках России. Однако в Соломоне было нечто значительно большее: он никогда не скрывал своей приверженности самым возвышенным устремлениям еврейского народа. После русской революции эта важнейшая составляющая его личности тоже могла найти свое место под прожекторами театральной рампы. Таким образом, история жизни Соломона и история еврейского искусства в Советской России слились в одно целое.

Теперь его нет в живых. Но колоссальные усилия, которые он предпринимал в последние несколько лет, пытаясь использовать свою художественную славу для выполнения благородной и трудной миссии по воссоединению разделенных частей еврейского народа, не прошли даром. Закрытая книга жизни Михоэlsa убедительно доказывает, что талант и созидание, которые, кажется, могут существовать раз-

дельно, силой воли могут трансформироваться в гармоничное целое. Его личные достижения должны стать в еврейской политике образцом титанического труда в мировом масштабе.

А. Ш.

Мой двинский друг Шломо Михоэлс⁶⁰

Ровно шестьдесят лет назад я познакомился на берегах Двины с братьями-близнецами реб Михаэля Вовси — Хаимом и Шломо.

Мы встретились неслучайно. Оба брата Вовси были, как мой брат Ицхак Нахман и я, младший, верными учениками Исая Герца Гордона, в те годы хорошо известного автора учебника еврейской грамматики «Ха-Морé». Педагогом, каким заповедал быть царь Соломон, и был автор «Ха-Морé», т. е., как сказано в переводе из «Притчей»: «Наставь юношу на путь его»⁶¹ и т. д. — что значило развивать в каждом ученике то, что может стать его собственным путем в жизни. Но для того, чтобы с самого начала избежать искажающей односторонности, он добавлял, так сказать, недостающие качества, и сочетания при этом получались необычными, как например, мальчик с развитым чутьем грамматики как таковой, с персонажем из книги Авраама Мапу «Любовь к Сиону». Или юноша, пробующий себя в стихосложении, с кем-то, кто, понимаешь ли, не может насытиться «Историей» Греца в шеферовском⁶² переводе на иврит. Так, примерно, в первый раз в нашем доме прозвучали имена Хаима и Шломо Вовси. «Особенно — Шлоймке», — с сожалением в голосе рассказывал реб Исая Герц, — если бы все шло, как следует, от него многого можно было ожидать: его стихи были так остроумны, что из него мог получиться второй Ялаг⁶³. Йегуда Лейб Гордон был для нашего Исая Герца всем.

⁶⁰ Di Goldene Keyt. Tel-Aviv, 1962, № 43, с. 142—152. Перевод с идиша М. Улановской.

⁶¹ Мишлей, 22:6.

⁶² Шефер — акроним общественного деятеля, публициста и историка Шауля Пинхаса Рабиновича (1845—1910).

⁶³ Ялаг — акроним поэта, прозаика и публициста Гордона Йегуды Лейба (1830—1892).

Ныне, шестьдесят лет спустя, по долгому опыту я знаю, что среди наших мальчиков всегда есть четыре категории: те, от которых ничего не ждут, и из них ничего не получается; те, от которых также ничего не ждут, и из них как раз получается многое; и третьи, от которых ждут как раз многого, но не получается ничего. И есть самая удачная категория — те, от которых многого ждут, и из них многое получается. К этой четвертой категории принадлежал двинский юноша, брат-близнец Хаима, сына Михаила Вовси — проказник, смельчак и поэт Шломке.

Мой брат, с детских лет писавший «драмы», был еще как-то наслышан похвальных отзывов учителей и сильно интересовался поэтом Вовси. А я, младший, естественно любил то, что наш учитель называл «наукой о природе», и знал о созвездии Близнецов высоко в небесах, но живой близнец, с которым можно было бы разговаривать и вместе учиться, для меня был чем-то мистическим. Я себе представлял, что настоящие близнецы должны быть сращены, быть двумя в одном лице, или, если их, действительно, пара, а не один, то двое должны всегда ссориться, как Исав с Яковом. Только тут мне открылось, что у нас в Двинске имеется такая необыкновенная пара братьев. И я тут же сообразил, что, не зная, кто они и что, я их часто видел на улице и не единожды удивленно на них смотрел. Несомненно, это должны быть они, те самые близнецы-ученики Гордона — Шломо и Хаим Вовси!

А почему в моих глазах они всегда были чудом? Очень просто! Во всем Двинске больше не было двух других юношей, которых всегда видели вместе и никогда — одного без другого; кроме того, у них была особая манера ходить вдвоем: один на шаг впереди другого. Тот, кто шел впереди, — не шел, а подпрыгивал, а тот, который за ним следовал, — своим замедленным шагом как бы указывал ему путь назад. Были они очень похожи, как и подобает братьям, но у более торопливого нижняя губа сильно выступала — вот-вот он кому-то покажет язык, а у того, что помедленней, были очень заметные брови, он как бы сердился на своего младше-

го насмешника-брата... Думается, что «младший», кроме прочего, был капельку ниже ростом и шире в плечах. Когда наш учитель горестно заговаривал о Шлоймке, я не мог удержаться: «Тот, с торчащей губой?» — «Правильно, угадал, — отвечал реб Исая Герц, — он-таки немножко моложе, но Хаим зато заметно стройнее. И подводя итог: «Это ошибка. Ни младшего, ни старшего — это близнецы, особое явление». И неудивительно, что, сами того не зная, Хаим и Шломо были для меня чудом.

Я не случайно подчеркиваю, что Шломо Михоэлс родился под созвездием Близнецов. По моему наблюдению, суть его личности была подвержена влиянию этого «астрального» феномена. Братские чувства близнецов друг к другу способны были достигать необыкновенной теплоты, воспитывали в каждом естественное понимание внутреннего «я» другого, его чувств, мыслей и побуждений. Без такого инстинктивного понимания невозможно никакое большое театральное искусство. Шломо Михоэлс такой степенью постиженья другого владел с колыбели, впитал с молоком матери вместе со своим братом Хаимом.

Через сорок лет, при встрече со Шломке в Лондоне в качестве главы Московского Антифашистского комитета он тут же меня спросил: «Помнишь Хаимке?...» И когда я стал о нем расспрашивать, Шломо помрачнел. Между бровями пролегла складка, совсем как в детские годы у Хаима, и он, судорожно вздохнув, выговорил: «Нет больше Хаима, давно уже нет...». Он повернулся к окну и минуту молчал. Как видно, он тосковал о Хаиме до конца жизни.

Благодаря И. Г. Гордону мы вскоре познакомились. В одно солнечное летнее утро 1902 года я сидел с толстой книгой на скамье на бульваре и вдруг услышал у самого уха что-то вроде чириканья птицы. Я повернул голову, а он уже тут как тут — шлемкины штучки: тихонько подобрался к скамье из-за спины Хаима и раздражается громким смехом:

«Ага — здорово испугался?! — а ты ведь Ареле Штейнберг...». Ну и что, конечно, я им и был, но никто меня так не называл, кроме ковенской бабушки, и вообще... Я совершенно растерян. Но Шлемке не перестает веселиться, слегка меня подвинул, садится рядом вместе с Хаймке и весело продолжает болтать: «Хаим сердится, но он ведь, ты знаешь — ученик Гордона, и как раз самый младший?» «Тоже мне шутка!» — и он спрыгнул со скамьи, стал на цыпочки, скривил нижнюю губу, вытаращил пару томных глаз и снова рассмеялся: «А это — его старший брат!»

Все еще в некотором замешательстве, я с удивлением смотрел на фокусника, который в минуту устроил на бульварном песке настоящий цирк ... и вот он уже опять близнец! Запинаясь, я решил спросить: «А меня ты тоже можешь изобразить?» «Что за вопрос!» — коротко бросил циркач, — поэтому я тебя и назвал Ареле — Ареле-нареле⁶⁴...», — продолжая говорить, он вырвал у меня из рук толстую книгу, глянул в нее и выкрикнул: «Ага, Лермонтов! Ты любишь поэзию, может, ты сам пишешь стихи? Я — пишу, но не по-русски, а на святом языке...»

Так шестьдесят лет назад началась на двинском Малом бульваре моя дружба со Шломо, сыном Михаэля Вовси.

С первой встречи быстро установились теплые отношения. Немало этому способствовала судьба народа Израиля вообще. В то лето среди еврейской молодежи в России, в частности, среди мальчиков в возрасте бар-мицвы, возникло сильное желание приложить руки к делу доктора Герцля. А что могли сделать молодые люди? Прежде всего — превратить святой язык в язык на каждый день. С таким намерением мой брат в нашем родном Двинске энергично взялся за работу. Благодаря ему сразу же после Симхес-Тойры было создано общество под названием «Возрождение нашего языка», которое, среди прочего, выпускало (понятно, что в рукописной, а не печатной форме) ежемесячный журнал «Шушана». Нечего говорить, что близнецы Вовси были

⁶⁴ Т. е. «дурачок».

полностью захвачены этим делом, а Шломо Вовси стал одним из «постоянных сотрудников» раздела поэзии в «Шушане».

Здесь стоит упомянуть, что, когда на первом, «пленарном» собрании нашего общества (состоявшего из двух десятков молодых людей в возрасте с двенадцати-тринадцати до четырнадцати-пятнадцати лет) я сделал «поэтическое» предложение — украсить журнал красивейшей розой — царицей всех садовых цветов, — товарищ Шломо вмешался: «Будем скромнее! А это было бы неким реверансом в сторону комплимента из «Песни песней»: «Как между тернами лилия...»⁶⁵ И слишком напыщенно наша принцесса выглядела в своем сиянии. Через два дня после первого собрания близнецы пришли к нам домой (поскольку мой брат стал главным редактором — это называлось «шеф-редактор») и принесли пачечку листков — узких и широких, коротких и длинных — по стихотворению на каждом. Точно как форма листков, различались и подписи под стихами. Как секретарь редакции я считал своим долгом понимать каждую строчку в рукописи с первой и до последней, до самой подписи. Но одна из подписей Вовси меня озадачила: «Что значит «Стур, Нахби»? — спросил я близнецов. Хаим сделал шаг назад, Шломо — шаг вперед, руки в боки, больше обычного выставил нижнюю губу и процедил с насмешкой сквозь зубы: «Не знаю, Ареле, ты что — и в самом деле «нареле», тем более, и рифмуется здорово — но дикий неуч ты уж точно! Загляни в книгу «Бемидбар», глава «Шлах» и сразу найдешь: «От колена Ашера — Стур, сын Михаэля; от колена Нафтали — Нахби, сын Вофси»⁶⁶. Это стихотворение мы написали вдвоем. Хаим — сын Михаэля, поэтому он Стур, а я — сын Вофси, а оба вместе — Стур Нахби... Просто, как дважды два четыре». Я был воодушевлен. И даже Хаим, что для него было редкостью, радостно улыбался.

⁶⁵ Песнь песней, 2:2: Кетувим, Мегилот.

⁶⁶ «Бемидбар». 13:13—14 (Пятикнижие, книга Чисел).

Но что касается стихов, — они их подписывали то «Хаим Вовси» — всегда без буквы алеф⁶⁷, то «Шломо Вовси», а иногда просто «Братья Вовси». Главным мотивом в них было — насколько я помню — что, несмотря на все несчастья, которые приходится выносить народу Израиля, — придет, наконец, избавление, настанет праздник, новый праздник, «праздник Мессии», случится это в тускло-мистических сумерках святого города Иерусалима. Считалось, что скорбное в стихах шло от Хаима, в то время как уверенность в основном бурлила в озорных фантазиях Шломке. В редакции однако установилось также прочное мнение, что все — и свет, и тень — плод творчества Шломо, плод его пера. Ну и что? Чтобы не обидеть своего напарника, часть стихов он подписывал именем Хаима. Глядя в прошлое, я до сих пор считаю, что это было здоровое предположение. Доброта Шломо вообще, а в отношении своего не слишком одаренного брата в особенности, была безграничной.

Я бы с удовольствием привел здесь целиком хоть одно единственное стихотворение из того детского цикла. Но речь-то идет о событиях шестидесятилетней давности. Полный комплект «лилии между тернами», докатившийся вместе с нашей семьей аж до Москвы, потонул там в 1918 году в водах революционного потопа. И все-таки я до сих пор вижу, будто сквозь туман, листочек с четырьмя четверостишиями, написанными четким почерком Шломо Вовси. На нем отчетливо выступают начало и конец того стиха. Первые две строки читаются так:

Ныне на берегу Двины
Грусть, тоска и стенание...

А последние две:

Ныне на берегу Двины
Радость и ликование.

⁶⁷ Т. е. следовали библейской форме написания имени, а не той, что принята в идише.

Понятно, что читать это следует в тогдашнем ашкеназийском произношении и тогда можно представить, что в недостающих двенадцати строках звучала труба великого спасения. Во всяком случае — это я точно помню — там рифмовалось «тиква» и «микве. Взято или из книги «Эзра» (10:2): «но ныне есть в этом деле надежда для Израиля», или — по современной географии — Страны Израиля.

Шломо Вовси стал одним из активных деятелей нашей компании, и близнецы не пропускали ни одного «пленарного заседания», происходившего каждую вторую неделю после «Авдалы». Каждый раз повестка дня завершалась обсуждением на разговорном языке материала из редакционного портфеля «Шушаны». Шломо любил, чтобы его собственное творчество критиковали как можно резче, но при этом бросался в битву, как лев, если кто-то задевал стих за подписью Хаима. Что писали другие, ему редко нравилось. Всем он желал — пусть сварятся, сторят, передерутся, или, по крайней мере, перекусаются. При своем бурно-пламенном темпераменте он на одном из вечеров разгромил наш отдел в пух и прах за его «мушинные следы». Это были четыре страницы каждого номера, где я оставлял такие следы, а точнее сказать, выдавал тайны редакции: раз в неделю муха окунала ножку в чернила и писала черным по белому, что она видела и слышала, сидя невидимо на шпилях хриплых двинских колоколен. «Мы требуем, — подогревал себя Шломо, — чтобы товарищ, подписывающийся как «Миролюбец», был не мухой, не слабеньким насекомым... Пусть перестанет гладить и щекотать нашу крашеную птицу, суета наших писак, со слабыми чернильными ножками. Пусть он колет их и кусает, как комар, как оса, как беды, изгнавшие непотребных ханаанцев из Святой земли...»

Атака Шломки причинила мне истинное огорчение. Он меня унизил публично. Все знали, что «Миролюбец» — это Арон, и совсем не было тайной, что он сидит в редакции, совсем рядом с «главным редактором». Самого себя защищать

я считал недостойным, и мой брат еще раньше считал, что если то, что опубликовала «муха», не является чистым вымыслом, из этого никак не следует, что она — «за мир». Вот и скажи в ответ: «Шломо заодно с главным редактором». Я и в самом деле был огорчен. И это мой милый Шломка сразу почувствовал. Когда стали расходиться, он меня подтолкнул в угол и быстро-быстро зашептал в ухо: «Не будь дураком! Не понял, что я имел в виду? Размазывай дальше листочки «Шушаны» своей ножкой, как тебе угодно. Ты и так невольно кусаешься. В городе уже довольно сильно злятся на наш цветок и, главным образом, я их хотел попутать «мушинными следами». Если для них и это уже слишком — то они получат вдвойне, как того заслуживают... Наши двадцать товарищей раструют мою сегодняшнюю проповедь в пять раз по двадцать домов, и — увидишь — к концу недели мы будем иметь дюжину новых подписчиков! Объясни это своему брату, если он сам не понимает...»

И опять же: сейчас, почти через шестьдесят лет после событий, я знаю, что в тот самый вечер для меня выявилась новая сторона в характере моего друга: Шломо Вовси — политик, Шломо Вовси — дипломат, и сверх всего, Шломо Вовси — пламенный оратор. Кто мог тогда предвидеть, что это станет «путями», которые его очень далеко заведут. Следует придать педагогическому изречению царя Соломона (а также и И. Г. Гордона) новую версию: «Наставь юношу на пути его» — во множественном числе.

Но в том же 1902 году (5062—5063) выявился для всех нас Богом отмеченный артист театра, дремавший в юной душе Шломо Михоэлса. Тогда, на Хануку, он в первый раз выступил как ведущий актер (кстати, я этот эпизод упомянул в книге⁶⁸). Он играл Иуду Маккавея в драме моего брата на иврите «Хасмонеи», которую наше общество любителей языка иврит поставило для широкой публики. Его первые шаги на сцене, как бы ни были мы все беспомощны, сохра-

⁶⁸ Ицхак-Нахман Штейнберг. Дер менш. Зайн ворт. Зайн ойфту, *ibid.*, с. 36.

нились у него в памяти до последних лет его жизни, когда он встречался со мной в 1943 г. в Лондоне после перерыва в целое поколение лет, после, можно сказать, «сорока горьких лет поколения». Он, не раздумывая, заговорил со мной «на ты», на наш прежний двинский манер, и тут же меня спросил, помню ли я еще наши старые добрые времена. «Ведь ты, — воскликнул он с теплотой, — был моим первым режиссером!..» И действительно! «Возрождение нашего языка» мне доверило подготовить представление и вершить делами в качестве «театрального директора». Если все наше общество было некой игрой, то постановка «Хасмонеев» было «игрой в игре» в лучших романтических традициях. Мы и так принимали все дело очень серьезно, а тут у меня случай — быть свидетелем того, как Шломо Михоэлс устремляется на свой истинный путь.

Он был полностью захвачен мероприятием. Две репетиции в неделю было ему недостаточно. «Нет! Не меньше трех!» Когда дошло до распределения ролей, то он, в своем стиле, пожелал, чтобы главная роль (Иуды Маккавея) досталась Хаиму. Я, однако, малейший и неопытнейший из режиссеров — ни за что не пожелал уступить, считая, что главную героическую фигуру никто не может воплотить лучше, чем милый горячий Шломка с его широкими плечами и низким, хрипловатым голосом. Последним его аргументом было: «Хаим, хоть и невысок, но все же выше меня». На что ответом «театрального директора» было: «Значит, тебя надо сделать выше». И так оно и было. Шломке примерил дома гамашу своего отца реб Михаэля, затолкав в них поверху каблуков целый фунт ваты, и в продолжение всего спектакля ходил на цыпочках. Ему также пришла мысль, что для «алтаря», который должен был стоять в самом начале с правой стороны сцены, хорошо послужит большая плетеная корзина, набитая крашеным полотном — вообще его артистическое воображение пробудилось.

Но главным в этом случае было не его режиссерское искусство, новой была его игра, и это производило на двин-

скую публику наибольшее впечатление. Это была игра! Это было самовыражение! Роль совсем не была легкой. Мой брат хотел сделать из Иуды Маккавея и военного, и духовного героя — прямо по тексту песни «О чудесах...» Шломо Михоэлс пришлось играть двух разных людей в едином образе. Короче, это была «роль близнецов», его собственное изделие. И он так быстро с этим справился, как способен лишь тот, кто родился великим театральным артистом. Последние слова Иуды Маккавея в драме: «Традиция героев — в руках слабых» — он не выговорил, а пропел — пропел, как мелодию молитвы из «Страшных дней». Тон был — физической слабости, возвышенной до уровня духовной отваги. Это было неожиданностью даже для режиссера. Он вместе со всем большим залом изо всех сил кричал: «Браво! Браво!»

Я это ему напомнил здесь, в Лондоне. «Да, — сказал Шломо, — я помню. Я сам этого не ожидал. Как будто мне кто-то просуфлировал мелодию... Но так не годится! Артист не должен дать себя увлечь даже святому духу! По-русски это называется «отсебятиной». Артист должен слушаться режиссера, даже если оба они — в одном лице, а режиссер дает свои последние указания перед самым открытием сцены».

Шломо Михоэлс (по-русски: «профессор Соломон Михайлович Михоэлс») как известно, прибыл в Англию из Америки в ноябре 1943 вместе с Ициком Фефером как представитель русских евреев. Это было политическим и дипломатическим представительством. Война еще была в полном разгаре. Советский Союз нуждался в симпатиях западных народов, в том числе, и евреев из западных стран, а Запад должен был найти надобность в Востоке. «Моральный климат» для членов московского Еврейского комитета был в Англии вполне благоприятный. Для приема двух еврейских посланцев, «профессора Михоэлса» и «полковника Фефера», был создан специальный комитет, в состав которого кто только ни входил! — от жены Уинстона Черчилля до деятеля еврейского рабочего движения Уайтчепеля. Также и британская секция Еврейского всемирного конгресса устроила

у себя в зале конгрессов вечер в честь важных гостей из Москвы. Председательствовала за столом леди Рединг, невестка первого маркиза Рединга. Ее антиподом, на другом конце стола, сидел левый социалист британской Нижней палаты Сидней Сильверман. Михоэlsa посадили по правую руку от леди Рединг. Присутствовал также брат леди Рединг, второй лорд Мелчет. Меня попросили занять место рядом с Михоэлсом, поскольку уже было известно, что мы — друзья детства. После положенного угощения началось нечто вроде беседы-дискуссии, обмен вопросов и ответов. Михоэлс говорил на своем великолепном идише. Леди Рединг и ее брат пытались его понять с помощью небольшого знания немецкого, я же давал объяснение на английском для наших англичан или переводил их английскую речь на идиш для гостей издалека. На все вопросы, которые наш политический директор Алекс Истерман или член Нижней палаты Сильверман задавали о положении евреев в полуразрушенной России, Михоэлс отвечал авторитетно и подробно, как опытный министр на пресс-конференции. За столом ощущалось лично к нему особое почтение, удивительно было наблюдать за присутствующими, моя соседка слева шептала: «Как он блестяще играет свою роль!» И тут г-жа Ривка Зиф вылезла с бестактностью:

«Скажите, профессор, — обратилась она звонким голосом со своего дальнего конца стола к Михоэлсу, — вы знаете, конечно, как сильно мы здесь интересуемся будущим Страны Израиля. Не можете ли вы нам что-нибудь рассказать о позиции вашего правительства в этом вопросе?»

Михоэлс достаточно знал английский, чтобы понять, чего от него хотят. Тем не менее, он попросил меня переводить вопросы слово в слово. Мой умница из города «на берегу Двины», понятно, хотел выиграть время. Потом он отодвинул слегка свой стул от стола, будто хотел встать и всем телом дал понять, что собирается не просто что-то ответить на вопрос, а сделать обдуманное, искреннее заявление.

Он выпятил нижнюю губу, сузил глаза, улыбнулся и начал говорить очень медленно: «Вопрос этот — очень важный вопрос, и я рад, что он здесь поставлен. Вы не должны, не дай Бог, думать, что он интересует только вас — также и для нас он представляет жизненный интерес. Но решение его, мне кажется, зависит больше от вашего правительства, чем от нашего. Поэтому я мог бы ответить вопросом на вопрос: «А какова позиция вашего правительства в отношении будущего Страны Израиля?» Но я этого не сделаю, потому что знаю, что вы мне не можете ничего ответить. Возможно, что даже ваше правительство не имеет еще на это ответа. Война еще далеко не закончилась. Судьба народов и стран еще висит в воздухе. В этой ситуации наивысший интерес нашего правительства — не испортить добрые отношения между нашими странами. А Страна Израиля — как вам это хорошо известно — это острый вопрос только для английской, а не для советской стороны... Я это говорю лишь от своего имени. Я не уполномочен говорить от имени Советского Союза. Наш общий интерес, в частности, интерес еврейских масс, состоит в том, чтобы союз между нашими странами оставался всегда таким крепким, как сегодня. Вам я могу только пожелать, чтоб решение Англии было таким, как вы сами этого хотите. Могу добавить к этому только один пункт: судя по опыту евреев в Советской России, можно быть уверенным, что если Англия решит превратить Страну Израиля в еврейскую республику, с советской стороны, безусловно, не будет никакого препятствия...»

Закончил и снова придвинулся к столу. Стало тихо. Как после длинного монолога в классической трагедии. Непонятно: то ли это театр, то ли искусство пропаганды, политическая речь или отзвук самой трагической действительности. Шломо Михоэлс все больше превращался в великого трагического шоу-шпилера: с нами сидела за столом глубоко трагическая личность.

Двумя днями позже принимал своих гостей Союз еврейских журналистов и писателей. На Лондон опустился в тот

вечер поэтический смог. И я поэтому несколько запоздал. Зал на Сохо-сквер был сильно набит. Еще в прихожей я услышал голос Шломо. Он напевал, и это звучало, как что-то из Гемары. Я остановился на пороге, как зачарованный.

«...А дальше, говорит Гемара, — напевал оратор с широкими сильными плечами, высоким круглым лбом и глубоким голосом, — Адам никар бе-косо, бе-кисо уве-каасо... Человек, — перевел он с тем же напевом, — познается тремя вещами — своим стаканом, карманом и гневом. «Стаканом» — это значит, как он принимает гостя: с широтой или скупостью; «карманом» — как он помогает бедным; и «гневом» — остается ли он добрым в гневе или нет... Сегодня же вечером мы оказались среди еврейских писателей, и что касается «стакана» — мы его имеем; по правде сказать, вина нет, имеется только чашка чая, но от всего сердца — и это красиво, хорошо, в порядке. «Карман»? — что можно пожелать от еврейского писателя? Сколько есть в кармане — столько дают! Пожалуй, больше, чем богачи...». Тут оратор сделал долгий перерыв и вдруг ударил ладонью по столу: «Однако, гевалт..», — закричал он уже без напева, — евреи, где ваш гнев? Почему вы так спокойны, так хладнокровны, будто вас не касается»... И он порывисто, прерывающимся от пенящейся страсти голосом, стал перечислять ужасные злодеяния нацистов и нечеловеческие еврейские страдания. В зале начали всхлипывать.

Передо мной — русская книга «С. М. Михоэлс; статьи, беседы, речи» (вышла в Москве в 1960 г.). Все мы знаем, что это — вид покаяния за преступление, совершенное около 15 лет тому назад. Я читаю книгу уже третий раз. Я обыскиваю ее и обшариваю. Мне хочется из нее извлечь мораль для всего нашего поколения, и я прихожу к выводу, что мой двинский друг живет и будет жить. Во всем, что он высказал, сыграл и написал, отозвалось его чистое светлое сердце и верящая души. Я перечитываю фотокопию моего письма

1943 г. в честь московского гостя, включенного в том «Приветствия английского еврейства — советскому» (вышел в Лондоне в 1944); в этом письме я сравнил русское еврейство с «коленом Иуды» — сердцем сообщества, носящего имя народ Израиля... Не будет никаким преувеличением, если мы согласимся, что Шломо, сын Михаэля Вовси из Двинска, был истинным посланцем российского еврейства.

Лондон, месяц ияр 5722, канун Лаг-Ба-Омер

Мой двоюродный брат Самуил (Из семейной хроники)⁶⁹

Лицо Самуила с юношеских лет привлекало внимание своеобразной выразительностью.

Большие серые глаза смотрели пристально и пытливо, как у вглядывающегося в микроскоп ученого, но этот упорно-серьезный взгляд непроизвольно смягчала оттенявшая его насмешливая улыбка проницательного наблюдателя мелких человеческих слабостей. Так, в самом внешнем облике Самуила своеобразно сочетались любитель точного знания и точности выражения с умным спорщиком, упражняющимся для схваток на общественной арене. В заключительной период разносторонней деятельности Самуила его склонность улыбаться и углубляться бросалась в глаза многим из окружающих. Но в семейном кругу «Муля», как мы обычно называли его, стал загадочным оригиналом значительно раньше, с ранних лет, чуть ли не с колыбели.

По обеим сторонам этой колыбели, как два ангела-хранителя, стояли два деда Самуила: справа, с отцовской стороны, младенца оберегал «светоч изгнания» равви Давид Карлинский, крупнейший авторитет в талмудическом законоведении последнего века; слева же, с материнской стороны, над колыбелью склонялся наш общий ковенский дед, р. Соломон-Залкинд Эльяшов, выдающийся представитель группы так называемых «жагорских мудрецов», доказывавших и доказавших на деле, что европейское просвещение совместимо с безграничной преданностью древним святыням. Оба деда уходили корнями в глубочайшую подпочву всенародной творческой стихии, но в каждом из них она преломлялась по-своему. Сам того не сознавая, их ковенский потомок стремился воссоединить эти разнородные струи в обновленном идеальном воплощении.

⁶⁹ Вох VII. Рукопись. Впервые: Мой двоюродный брат Самуил. Публ. Портновой Н. IN: Архив еврейской истории. М., 2005, № 2, с. 66—81.

Карлинский гений, посвятив жизнь изучению и приумножению духовного достояния народа, ничуть не чуждался вопросов, лишь косвенно связанных с духовной традицией Израиля. В сумеречные часы, когда на дворе, как говорится, «ни день, ни ночь», он старался проникнуть в суть того, что делается в мире нееврейском, чтобы можно было заблаговременно предотвратить опасности, постоянно грозящие родному народу. Он стал влиятельным общественным деятелем и глашатаем политических идей своего благочестивого круга. Ознакомившись постепенно с механикой международной политики, он сам стал естественным выразителем дипломатической дальнорукости народа. Некоторые его прогнозы изумительны. Когда началась война 1914 года, он на вопрос, чья сторона возьмет, ответил в кругу приближенных: «Ни та, ни другая. Обе воинственные монархии, и наша, и германская, будут сокрушены».

В то же время он отчетливо предвидел разложение Оттоманской империи, связывая с этим мессианскую надежду на возвращение Израиля в Сион. Его реалистические прогнозы были известны в семье не только Самуилу, но и старшему его брату Марку и младшему Иосифу и повлияли на их мировоззрение уже в школе. Но глубже всего сказалось влияние миниатюрного с виду вещего учителя из пинского Карлина на рослого, широкоплечего внука его Самуила, унаследовавшего и глаза, и чуткое зрение деда. Не могло быть сомнения — та же порода.

А что стало с благословением другого, нашего общего деда из Жмудской школы европейско-еврейской мудрости?

Кратчайший путь к деду из дома Эльяшовых ведет в данном случае через его дочь, третью по счету, т. е. мать Самуила, мою «тетю Соню» («Шейне»), которая всем своим существом срослась с домашними ценностями и оценками.

В отце ее, благочестивом и безмолвном ковенском деде Мули, не было и следа поползновения заслужить милость небесную подвижничеством за оградой собственного дома. Он преклонялся перед не слабеющей силой воли и напря-

женной творческой энергией своего прославленного современника-свозяка из Карлина, но ему самому и на ум не приходило отдаться сочинению ученых трактатов; он уважал широкий почин последователей Карлинской школы на общественном поприще, но сам он ограничился сотрудничеством с проповедниками углубления личной морали в духе еврейского пиетизма на Литве; его главная забота была не что станет с народом, а с его собственными детьми: будут ли они продолжать питать семисвечники изгнания неиссякающим елеем.

Тщательно избегая повседневной суеты с ее соблазнами — тщеславием, злословием и завистью, как бы питаясь постом и молитвою, наш дед к старости обрел несокрушимый внутренний мир. И с благообразного, нежно-розового цвета лица его не сходила блаженная ласковая улыбка. Он полюбил людей и весь Божий мир, и, вздыхая, восклицал: «Господи, сколько красоты!». Наш дед Соломон, блаженной памяти, несомненно, был прирожденный эстет: в те самые сумеречные часы, когда вещей Карлинский ученый разбирался в какой-либо политической головоломке, Ковенский праведник зачитывался «Войной и миром» Толстого (в немецком переводе, конечно). Гостя в раннем детстве в доме деда, я сам слышал, как он, входя перед вечерней трапезой в столовую с томиком Толстого в руке, со своей ласковой улыбкой, как бы невзначай произносил библейский стих о том, что есть «в шатрах Сима» место и для Иафета (Эллады).

Вспоминая все это, не находишь ничего удивительного в том, что все птенцы гнезда Эльяшовых той или иной окраски подпали под чары эстетики и искусства. Мать Самуила, пожалуй, наиболее типична в этом отношении. Недаром и имя ее было Шейне — «красивая» по-немецки, хоть отчий дом внушил ей благонравное правило, что молодой девице неприлично не считать себя дурнушкой. Красавица ли, дурнушка ли, но «тетя Соня» страстно обожала все красивое, а литературу не просто любила, а была в нее просто влюбле-

на. Она целыми страницами могла повторить наизусть прозу Тургенева. Вместе с тем, она любила наблюдать и вглядываться в людей. Тут ей немало помогало острое чувство юмора и дар подражания (ее смешливость не в одном эляшовском доме, а чуть ли не во всем городе, особенно среди молодежи, стала синонимом своевольного необузданного веселья). Но добросердечная хохотунья была далека от мысли кого-либо обидеть или огорчить насмешкой. Тем не менее, не все легко прощали яркое изображение дурного русского произношения, хотя бы во имя искусства для искусства. Тете Соне ничего не оставалось, как удивляться: «Почему люди так глупы?»! и тут же сыграть еще какой-нибудь «момер», заключив представление веселым смехом.

Как не узнать в этом профиле тети Сони ее среднего сына, моего двоюродного брата Самуила в его юношеские годы?

Уже в поздние годы мать его овладела библейским языком и в секрете от детей стала пробовать перо сочинительницы. Но в той же степени, в какой она ценила юмор и сатиру в жизни, она отвергала их в своих литературных опытах: библейский язык в ее чувстве должен был согласовываться с художественным возвышенным содержанием. Когда об ее литературных упражнениях узнали, и дома, и у соседей стали посмеиваться. Поверив мне, ее мимоезжему племяннику, свою литературную драму, она заметила с горечью: «Это заслуженное наказание за мое издевательство над людьми, теперь я сама — балаганная кукла...» — «Скажите, тетя, — пытался я ее ободрить, — а не пишете ли Вы слишком изысканным языком, так что нынешние горе-новаторы вас просто не понимают...» Она широко раскрыла глаза и совершенно неожиданно для себя самой прыснула со смеха... «Выходит, что смеяться надо мной, они, в сущности, смеются над собственным невежеством — вот глупые люди!» — и, продолжая посмеиваться, она тут же решила, что надо поскорее переселиться в Палестину. «Там, — прибавила она в своем юмористическом тоне, — даже глупцы знают толк в нашем древнем языке...»

Мать Мули скончалась на земле, которая была святой для обоих дедов ее сыновей.

В раме и под стеклом семейной фотографии Эльяшовых и их карлинской родни индивидуальный облик Самуила на первый взгляд теряет большую долю своей самобытности, и отдельные черты его лишь воспроизводят как будто штрихи, характерные для его близких. Впечатление это и верно, и неверно. Воздействие старшего поколения Эльяшовых несомненно должно было отразиться и во внешности Самуила, и в очертании его жизненного пути. Но на всех перекрестках этого пути выбор направления принадлежал ему самому, и последнее слово оставалось за ним. Все Эльяшovy вокруг него, не исключая матери, были причастны к литературе. Даже дядя Моисей, признанный чемпион в шахматном мире, был первоклассным знатоком трех европейских литератур, да и младшая из сестер Эльяшовых, тетя Эстер, пользовалась своим философским образованием для углубленного анализа художественных произведений. Однако племянник их, Самуил, даже после того, как он стал пролагать свой жизненный путь вдоль большой эльяшовской дороги, избрал своим единственным наставником в области литератур «дядю Исидора», то есть д-ра медицины Исидора (Израиля) Эльяшова, родоначальника самобытной литературной критики на идише, известного под псевдонимом «Баал-Махшoves» («Человек Мысли»). В этом выборе своего профессора эстетики, так сказать, Самуил проявил свое оригинальное стремление к синтезу мысли и художественного вдохновения, к слиянию Карлина и Ковны, к согласованию изящного с вещим, потому что доктор из эльяшовского дома, наподобие карлинского подвижника, верил в целебную силу объективной правды и погиб за красоту.

Сближение дяди Исидора с юным Самуилом вскоре после окончания первой мировой войны знаменовало не только новую эру в жизни племянника, но было примечательным событием и в собственной семейной хронике дядюшки. В начале 1920-х годов Самуил уже сам был «литератором».

Ему едва минуло шестнадцать, когда петербургский еженедельник «Рассвет» напечатал его сатирический рассказ (а каким мог быть рассказ сына тети Сони, если не сатирическим), в котором чрезмерно увлекающийся чистотой русской речи еврейский гимназист ранен в самое сердце, когда русский товарищ поднимает его на смех за смешение слов «уплетать» и «удлепетывать». «Теперь все кончено...», — падает духом мечтающий о полном обрусении юнец, — больше жить не стоит». Стоило бы разыскать это раннее произведение Мули: оно подтвердило бы, между прочим, значение матери в его развитии и эльяшовское чувство юмора вообще. Сама тема повторяет «момера» тети Сони: чужой язык, неправильное произношение и смехотворность ассимиляции, унижительной и глупой в чужеродной среде. Но Муля обо всем этом тогда не думал: для него было важно, что дядя Исидор похвалил его дебют и сам стал строить планы, в которых предусмотрено было место и для Самуила.

Между тем, великая война 1914—1918 гг. постепенно перешла в России в стадию «великих потрясений» и разметала еврейские семьи из черты оседлости по всему лицу страны. Доктор Эльяшов очутился в Нерехте Костромской губернии, отбывая там службу как военный врач. Самуил со всем своим ковенским училищем осел временно в Рязани. Овдовевшая за несколько лет до того ковенская наша бабушка нашла убежище в Украинской Полтаве, где постоянно жил миллионер-мукомол Молдавский, зять великого Давида и скромного Карлина. Так породнился с Полтавой и Самуил. Ставши там соседом одного из «праведников-иноверцев» известного русского писателя В. Г. Короленко, внук двух выдающихся праведников Самуил без особых усилий нашел доступ в дом Короленки. У Владимира Галактионовича была открытая душа для идеалистически настроенной молодежи, прогрессивной и народолюбивой, но не поддающейся соблазну партийной диктатуры. Его положительное отношение к еврейству было общеизвестно. Тем не менее, или точнее, именно поэтому, когда дядя Исидор приехал в Пол-

таву навещать мать, нашу ковенскую бабушку Эляшову, Самуилу пришлось долго убеждать его повидать полтавского друга евреев, чтобы выразить ему признательность. Дядя всю жизнь питал подозрение, что юдофильство — большей частью дешёвая компенсация за неосознанное юдофобство, как он это высказал уже раньше в полемике с Максимом Горьким⁷⁰, о чем Самуил дал подробнейший отчет в воспоминаниях, напечатанных в томе «Литва»⁷¹.

Полтава, как и вся украинская оправа, очаровала Самуила. Его первый университет был в украинском Харькове. Прославленный сахарный украинский юмор и особая сочетающаяся с ним чувствительность задевали в сердце Самуила созвучные струны. Еще тридцать лет спустя, прогуливаясь под звездным небом на морском берегу в Тель-Авиве, он скандировал шелестящим южно-русским шепотом: «Тиха украинская ночь... Своей дремоты превозмочь не хочет воздух...» И была тому особая неповторимая причина: Полтавщина наградила молодого студента невыразимо чарующей мелодией, музыкой бьющегося сердца, подругой жизни. О Рахили Марголиной здесь достаточно сказать, что с ее привязанностью к литературе соперничало лишь ее восторженное отношение к живописи, которая скоро стала ее главным занятием. Брак Самуила (Мули) с Рахилью (Руней) был заключен на небесах.

Но в 1920 году до свадебного пира было еще далеко. Самуил должен был сначала подумать о профессии. В среде «Молодежи Сиона» он проявил недюжинное ораторское дарование и уменье ловко справляться с текущими делами. Продолжающаяся гражданская война на юге России подсказывала отступление в сторону Литвы, обещавшую стать уми-

⁷⁰ См.: Н. Портнова. «Горький» и «Мыслитель». Из архива А. З. Штейнберга. IN: Вестник Еврейского университета. М.—Иерусалим. 2006, № 11(29), с. 351—368.

⁷¹ Dr. Samuel Eljashev (Friedman). The Family Eljashev of Kaunas. IN: Lithuania. Translation of Lite Edited by: Dr. Mendel Sudarsky Uriah Katzenelenbogen J. Kissin Berl Kagan. NY, 1951.

ротворенной независимой республикой. Самуил решил посвятить себя дома адвокатуре и литературе, расширяя одновременно общественную сионистско-социалистическую работу. Однако на пути к себе он в Берлине столкнулся с дядей Исидором, которого судьба уже в России лишила руля и ветрил. Это было вскоре после его развода с воспетой живописцами Полиной, которая предпочла бы выйти замуж за делового, не воспевающего и не обожающего красоту прозаика. Как близкий друг дяди, тоже доктор медицины, поэт Самуил Черниховский в их гейдельбергские годы поклонялся статуе Аполлона («Ле-ногах песел Аполло»). Человек мысли осознал под конец, что и обожаемая им богиня красоты была лишь холодной мраморной статуей. На пороге отчаяния он вернулся к своей первой любви, к еврейской литературе на народном языке, и ему нужен был достойный помощник. Счастливому случаю угодно было, чтобы путь его рокового отступления из Петербурга скрестился в Берлине с наметившейся судьбой его племянника Самуила.

Война и революция превратили еврейскую культуру России в груды развалин. «Лиге культуры», пытавшейся в Киеве, столице «самостийной южнорусской державы» гетмана Скоропадского, приняться за реставрацию запущенных питомников, скоро пришлось искать более надежного убежища в разбитой войной Германии. В это время немцы уже сами принялись за восстановление опорных пунктов своего культурного влияния, и взоры их естественно обратились в сторону западных окраин России, быстро превращавшихся в цепь независимых, сначала враждебных коммунизму государств. В этот переходный период у еврейских деятелей, столпившихся в Берлине, появился редкий шанс приступить к реставрации тут же, так сказать, в гостях, в бывших западных окраинах России, на общей платформе с немцами и их союзниками. «Литвин» д-р Эляшов и его племянник Самуил отдались этой работе безоглядно. Ковенская Лига культуры воскресла в Берлине и, чтобы провести ангела смерти, лишь переименовала, как это издревле велось, название. Но

суть возникшего в Берлине нового якобы учреждения под именем «Всеобщее издательство» («Клал Ферлаг») осталась киевская: об этом позаботился в первую очередь д-р Эльяшов.

Формально «Всеобщее издательство» фигурировало как самостоятельное коммерческое предприятие, фактически же оно было подотделом издательской «империи» братьев Ульштейн, по природе чуждавшихся «жаргона» и предпочитавших во всех операциях, в которых замешан был народный язык, скрываться за кулисами. Какие же факторы, помимо уже упомянутой общей политической конъюнктуры, сделали возможным крутой поворот одного из господствующих немецко-еврейских издательств от отрицания «жаргона» к его утверждению? Не думаю, чтобы д-ру Эльяшову могла прийти на ум такая с виду нелепая идея, как «аннексия» Ульштейнов, не оказись в решительный момент в Берлине в качестве его тайного советника его племянник Самуил. Это «дипломат» Муля внушил дяде Исидору, что с его литературным именем он мог бы добиться и согласия фирмы Ульштейн на новый план их финансовой поддержки, однако лишь при соблюдении обязательств держать это соглашение в строжайшем секрете, иначе толстосумы от всего отрекутся.

Осталось и в еврейском мире секретом, каким образом Берлин принял на время ответственность за сохранение восточно-еврейской культуры на «языке мамы», но для дяди Исидора не осталось секретом, что его племянник Самуил — прирожденный дипломат. Утвердившись под псевдонимом руководителя «Клал Ферлаг» в империи Ульштейна, Баал-Махшовес стал называть своего племянника «мой статс-секретарь».

Так, ровно пятьдесят лет тому назад началось дипломатическое творчество Самуила, о последующих благотворных результатах которого надо искать справки не в нашей «семейной хронике», а в анналах еврейского государства. Однако без этой семейной частной летописи навряд ли можно было бы ощутить настоящие, глубоко народные корни как

общественной, так и литературной деятельности двоюродного брата Самуила, да покоится он безмятежно в царстве Вечного мира.

Крепко его помнящий Аарон.

Aaron Steinberg — London, Tamuz 5733 [1973]

К Архипелагу начала века⁷²

Пятница 2 августа. 1968 г.
London

1. Красная Летучка, Кишиневский погром и письмо царю

В России начала века Революция открывалась нам с ранних лет. В ней было нечто таинственно-страшное, но и феерически-увлекательное. Она захватывала дух.

Весной 1903-года мне не было еще двенадцати лет, когда она подбросила на подоконник нашей гостиной подметное письмо, напечатанное мелким красным шрифтом. Квартира наша в доме Руно на Болотной улице, считавшейся после ее осушения одной из благопристойнейших в Двинске, помещалась на невысоком бельэтаже прямо против обширного здания казарм Ивангородского полка. Искони любитель военного дела и необычных красок, я увидел в залетевшем невзначай (невзначай ли?) листке секретный полковой приказ и, не разобравшись в тайной грамоте, показал ее пришедшему вскоре учителю латыни. Тут я впервые услышал слово «революция». — Откуда это!? — с ужасом вскричал учитель, едва разглядев, что у него в руках. Кто Вам дал?! Никто не должен знать, что вы это передали мне.... Да ведь это пахнет... ре-во-лю-ци-ей (так у автора! — *Н. П.*), — растянул он, насколько мог, все пять слогов отдающего латынью русского слова.

Мое изумление и все мои настойчивые расспросы привели лишь к тому, что предо мною возникла какая-то необъяснимо страшная тайна, в которую вовлек меня прихотливый

⁷² Box VII.

случай. Тайна эта становилась со дня на день страшнее и, чем страшней, тем привлекательнее.

Когда я впоследствии рассказывал об этой красноцветной прокламации, мне не верили, что в начале века наши подпольные революционные организации прибегали к таким наивно-лубочным средствам воздействия на умы. Скептики подозревали, что детское воображение само окрасило опасный листок, кончавшийся боевым возгласом: «Долой самодержавие!», в традиционный цвет Революции. Однако я был под таким сильным и непосредственным впечатлением от первого соприкосновения с революционным движением, что еще десятилетия спустя искал убедительного подтверждения моего воспоминания, восходившего к 1903 году. Я нашел его лишь в 1957 году в Нью-Йорке, в Библиотеке и Архиве имени Франца Курского. И там меня сначала встретили полунасмешливо: «Вы принимаете за факт, — заверили меня, — выдумки черносотенцев того времени... Это под стиль «Бъсов» Достоевского!..» Тем не менее, я продолжал настаивать, и когда на конторке появилась картонная коробка с разрозненными листовками, распространявшимися в Северо-Западном крае до «5-го» (т. е. 1905-го) года, в нем сразу бросилась в глаза «красная прокламация». «Да, вы правы, — несколько смущенно сказал библиотекарь, — очевидно, и такое случалось...»

Ряд мотивов побудил меня остановиться так подробно на этой красноцветной случайности. Прежде всего, мне всегда казалось, что в моей первой «мимолетней» — в буквальном смысле слова — встрече с Революцией заключалось какое-то предзнаменование. В общей форме можно сказать, что Революции, наряду с Войной, предназначено было определить характернейшие извилины в течение моей жизни. В этом смысле я, как и многие мои современники, нераздельно связан с историей двух третей этого века. Вместе с тем, как и самое первое мое соприкосновение, все мои последующие встречи и столкновения с событиями исторического порядка, даже когда они угрожали мне физической гибелью, неиз-

менно оборачивались ко мне своей живописной, красочной стороной, и эта их окраска нередко отвлекала внимание от их более отвлеченного «теоретического» смысла. Так же эстетически, литературно я воспринимал и действующих лиц, все равно, действовал ли я с ними сообща и заодно, или считал себя их смертельным врагом. Когда я, к примеру, в группе, включавшей Виктора Михайловича Чернова, теоретика неонародничества и в будущем председателя Учредительного Собрания «на час», принимал участие в подготовке покушения на жизнь министра юстиции Щегловитова (о чем отчет впереди), оба они были уравнены в живости моего интереса к их человеческой сущности; Щегловитов, пожалуй, занимал меня даже больше, чем Чернов, потому что я не мог о нем думать иначе, как сквозь толстовский образ Каренина. Такое «художественное» отношение к Революции я, конечно, не мог не держать про себя, и вынужденная скрытность окружила меня невидимыми экранами, еще больше уединявшими меня и в революционном подполье, и на полях политики. От всего этого выиграла моя способность наблюдать, замечать и видеть, тоже пробудившаяся как будто от дуновения того самого ветерка, который занес к нам впервые краснобайствующее произведение подпольного печатного станка.

Употребляю саркастический эпитет не без намерения. Хотя я тогда, на двенадцатом году жизни, вынес и сохранил из всей чудной летучки всего лишь два слова: «Долой самодержавие!», но эти слова сразу запечатлелись в сознании и стали для меня с течением лет прообразом всякой политической, да и не только политической, крикливой риторики недобросовестной проповеди. Но что бы там ни оказалось впоследствии, при первоначальном их восприятии они открыли передо мной узенькую расщелинку, сквозь которую показался неведомый мне до тех пор мир неистовых схваток между свившимися в клубок гигантскими чудовищами. Жуткий мир; страшный мир; но столь же реальный и осязательный, как моя детская и классная в родительском доме. Что

такое «самодержавие»? И почему его «долой!» И кто, и кого так призывает? Солдаты из казармы насупротив?

Постепенно все стало разъясняться и принимать упорядоченный стройный вид, как весь Ивангородский полк в табельный день на Парадной площади: все под знаком Революции.

Той же весной, на Пасхе, произошел ужасный еврейский погром в Кишиневе. Это был мой первый «погром». Я еще очень плохо соображал, в чем дело. О еврейских делах я привык к тому времени думать по образу и подобию библейских повествований, так же, как о человеческих делах вообще — по аналогии с рассказами в десятках томов русских книг — от Пушкина до Чехова. Но о еврейских погромах там, как будто, ничего не было. (Гоголевского «Тараса» я тогда еще не усвоил). Взрослые при мне шептались с омраченными лицами и еще больше понижали голос, когда упоминали кишиневских женщин. Опять нечто таинственное и жуткое, но уже — ничуть не привлекательное. Брата не было в городе: он сдавал экзамены за четыре класса гимназии в Казани, значит, нельзя поговорить обо всем этом даже с ним. Я настороженно вслушивался и напряженно соображал. И вдруг все молниеносно осветилось: Революція! Революція!

Еврейским женщинам вспарывают животы и набивают их перьями из вспоротых подушек потому, что самодержавное правительство считает евреев главными зачинщиками «революции». Погромы считаются лучшим средством против Революции, а она сама готовится смести «самодержавие». Вот и оказывается, что листок, о котором я не мог никому рассказать, в сущности, был напечатан для предотвращения погрома, но нам, евреям, надо оставаться в стороне, не то будут снова погромы. Так ли? У меня появились головокругения. Казалось, весь вопрос сводился к тому, кто начал. Как это бывало в драках с уличными мальчишками, которые больно толкались, швыряли в брата и меня камни, и ругали нас «барчуками» и «кровопийцами». Это тоже

было непонятно, но теперь, после погрома и красного шрифта, как-то связалось воедино с выкриком «долой», то есть с тем, что «пахнет революцией».

Картина расширялась, усложнялась и своей бросающейся в глаза бессмысленной противоречивостью ставила в тупик. Еще раз: как это? Погромы против нас. Потому что мы, евреи, за «долой самодержавие», за «революцию», но и она, очевидно, против нас, потому что иначе она не угрожала бы нам подметными письмами, не швырялась бы красными бумажками, как уличные мальчишки камнями. Сплошная белберда! Поди, разберись тут... И все же одно остается: кто против погромов, должен стоять за Революцию, хотя бы она и была против него. Потому что что может быть хуже того, что случилось в Пасху? Ведь это ужаснее, чем египетское рабство! И я придумал сравнение, вернее, уравнение: Революция это Исход из Египта, Праздник Освобождения.

Несколько смущало меня лишь превращение «самодержавия» в имя прилагательное. Что такое «самодержавное правительство»? Это задевало мои монархические чувства. Да, в одиннадцать лет я был непоколебимо предан царю и отечеству. Нет сомнения, что занятия Библией сызмальства воспитали во мне преклонение перед самодержавием и перед коронованными особами вообще. Я уже тогда успел прочесть, поправляясь от кори, «Войну и мир» и я был всецело на стороне Александра против выскочки Наполеона. Особая симпатия связывала меня с царствующим императором Николаем II и всей его семьей. И сам Николай Александрович, и царица Александра Федоровна, и девочки их, раскрашенные фотографии которых украшали стенные календари, не раз являлись мне во сне, часто, как гости наши за обеденным столом в столовой (в отличие от английской королевы Виктории, опускавшейся обычно, как бабушка, в зеленое бархатное кресло в «зале»). И вот обнаруживается, что эта обаятельная, столь дорогая мне, почти родная семья каким-то образом замешана в «самодержавии», том самом, от которого происходит устроившее кишиневский погром

«самодержавное правительство». Больше того, само «самодержавие», как мне объяснили, основано на том, что император всероссийский, царь Николай II, правит страной, как «самодержец». Мысли мои стали все больше путаться, головокращения учащаются.

О Николае II я знал со времени его коронации, когда няня Агата взяла меня с собою на торжественный парад всего гарнизона на Александро-Невской площади. Рождение первой царской дочери Ольги и особенно второй, Татьяны, было событием и в моей детской. И что же? Эти восхитительные девочки и вспарывание животов; эти голубые и розовые платица — «самодержавное правительство»... Тут что-то не так! Неужели Революция и ее «долой!» даже против этих милых «великих княжон» с их прекрасной мамой? С этим я не хотел и не мог примириться. Даже еще в году 1918-м!

Мне пришла на выручку счастливая мысль. А что если правительство вовсе не «самодержавное» и так только думают; что самодержец это одно, а «правительство» совсем другое, и император вовсе не знает, что правительство притесняет евреев и даже натравливает на них погромщиков. Или, может быть, министры — злодеи, как часто поминавшийся Плеве, оклеветали нас перед ним? Надо открыть ему глаза.

Как это сделать? Я отлично понимал, что «до царя далеко», так же, как высоко до Бога. Но Господь Бог все же может, если позволит (если позволит — в тексте), открыться даже маленькому мальчугану (такое уже случилось!), а царь объявится разве что во сне. Ждать, покуда я вырасту и стану большим? Но погромы ведь не ждут, да пожалуй, не дай Господь, и Революция может прорваться и смести вместе с «самодержавием» самого «самодержца» еще до того, как я успею разъяснить, что мы против погромов и против злодейского правительства, но вовсе не против царской семьи, не против великой княжны Татьяны.

Покуда развивался и укреплялся мой доморощенный либерализм, моя мечта сговориться по-хорошему с высшей

властью, чтобы можно было отойти в сторону от кровавой схватки между Самодержавием и Революцией, она незаметно все больше и больше меня очаровывала. Я постепенно узнал, не только против чего она направлена, но и за что «революционеры» (новое слово!) борются. Учителем моим по этому предмету был приказчик Ям.

Яков Ям был один из тех молодых людей из неимущих семей, которые стремились пробиться к образованию и выбиться в люди на гребне поднимавшегося народного движения. Они появились тогда в большом количестве, и в городе нашем их можно было видеть на всех перекрестках, часто с укороченными черными палками в руках, обычным их оружием обороны и нападения. Зарабатывая на жизнь каким-нибудь скромным занятием, они, лакомясь даровыми уроками, готовились по ночам к экзамену на аттестат, будь то «аптекарского ученика» или «вольноопределяющегося второго разряда», и жили целиком в будущем. Таким полу-приказчиком — «полуэкстерном» был Яков Ям.

Познакомились мы в частной библиотеке братьев Падежиных. Его поразило, что я обмениваю немецкие книги (немецкие романы входили тогда в круг чтения матери), и он меня спросил, умею ли я говорить по-немецки. Несмотря на то, что я и читать-то по-немецки умел лишь едва-едва, мой сосед по библиотечному прилавку смотрел на меня, как на некое чудо и, взяв ласково за руку, предложил пойти, посидеть с ним на бульваре. Так начался наш обмен познаниями: я передавал сероглазому Яму начатки немецкого и латыни, а сероглазый Ям стал обучать меня, едва ли намеренно, Революции.

Подумать только, как много нового я узнал от него в эти короткие, быстро пробежавшие месяцы! Это была целая энциклопедия социальных наук с приложением сокращенного конспекта всеобщей истории. Не все, конечно, было на уровне «науки». Как сейчас помню, например, как я был ошарашен, когда мой ментор, сначала просклоняв латинское существительное четвертого склонения «fructus»,

стал меня уверять, что после Революции «при социалистическом строе» все «фрукты» будут совсем не те: не будет больше ни разных языков, ни разных народов, ни царей, ни армий, ни даже нашего Ивангородского полка, и кто захочет, сможет ездить куда угодно, хотя бы в Петербург и Москву, и не только ездить, но даже лететь на воздушном шаре. «Да чего тебе больше, — воскликнул, заметив мое сомнение, разгоряченный Яков, — вот видишь на небе луну? Так при социализме электричество так усилится, что можно будет закинуть крюк на этот серп, зацепить его и притянуть к земле». Мне все это вместе казалось что-то слишком «чересчур» — похоже на чистейшую чушь, но не хотелось спорить и огорчать добряка с ласковой улыбкой. Промолчал я тоже, когда услышал, что после Революции, с утверждением «социализма», исчезнет и еврейский народ, и еврейская вера, — «как все прочие веры», — прибавил Яков, дернув презрительно рукою в сторону ограды Александр-Невского собора, окаймлявшей край бульвара.

Вопреки всему этому, было бы непростительно исключить милого Яма из моей учительской. От него я впервые узнал, что деление людей на бедных и богатых несправедливо, хотя это как бы подсказывалось и библейским учением, и нашим домашним воспитанием. «Благотворительность, — твердил отец, — лишь уплата долга». Но Яков Ям был против благотворительности. «Твой отец, может быть, и приличный человек, но все богачи вместе — кровопийцы». «Ага, — подумал я, — теперь понятно, почему нас хотят избить на улице: на нас смотрят как на детей кровопийцы, потому что мы живем в хорошем доме, и с улицы видно, что в гостиной высокие зеркала и зеленая бархатная мебель... Выходит, что мы сами виноваты, и если кто кого обижает, то не оборванная детвора нас, а мы — ее, именно мы зачинщики, и даже Ям должен быть за них и против меня. Я решил прямо спросить его об этом и договориться начистоту.

Однако еще до того, как я успел это сделать, он доказал на деле, что можно быть за социализм, а потому, естествен-

но, за Революцию, и все же питать добрые чувства к таким выродкам, как я.

На окраине города случился пожар. Ветер раздул его во все стороны, и пожарные команды напрасно старались спасти вспыхивающие, как спичечные коробки, косые домишки. Образовался огромный костер, и казалось, само небо полыхало пламенем и дымом. Огненное, красное и страшное, неодолимо влекло и приковывало. Я не отходил от жаркого зрелища, пропустил час обеда и жестоко досадовал, когда пожарные в каком-нибудь углу овладевали огненной стихией. В один из таких приступов бешеной страсти меня внезапно что-то ударило со всего размаху в спину под самую лопатку: очевидно, острый камень. Было так больно, что я едва мог оглянуться. И уже я ощутил еще удар, и еще, и еще — со всех сторон. «Наконец-то поймали тебя, гнусный барчук, кровопийца», — услышал я знакомые слова, содрогаясь от боли и стыда. Колени подгибались; я готов был броситься на землю, покрытую пеплом и сажей, лишь бы был конец. Но вместо конца, началось новое, действительно, новое начало. Раздался невероятно громко голос, всегда такой тихий и ласковый, Якова Яма: «Оставьте мальчика в покое. Немедленно — не то перестреляю вас всех, как собак!» Едва веря ушам, я раскрыл зажмуренные от стыда и боли глаза и увидел перед собою моего спасителя, в руке которого и в самом деле был длинноствольный пистолет. Удивляться было нечего. Через два года я узнал, что Яков Ям — «большевик». Еще через год он сидел в тюрьме и участвовал в отчаянной голодовке, а в последующий период столыпинских полевых судов, при рыцарской попытке освобождения невинно осужденных, стал вместе со своим ближайшим другом, тоже большевиком 1905 года Аркой Розенблат-Глускиным жертвой белого террора.

Но до «революции 1905 года» было еще далеко. До поры до времени Яков Ям продолжал просвещаться и просвещать. Между латинским и немецким спряжением он объяснял мне, что, покуда существуют полицейские темные вооружен-

ные люди, покрывающие погромщиков и помогающие богатым притеснять бедных, бедные и честные просвещенные люди любого звания должны научиться владеть черными палками, а не то и огнестрельным оружием. «Хочешь? — предложил он мне однажды, — я научу тебя стрелять в цель... А кто, ты думаешь, застрелил в Дубровинском саду этого разбойника, пристава Курляндского?», и прибавил по секрету, что у многих «товарищей» в черные палки, внутри полые, воткнуты тонкие ножи. «Хозяева это подозревают и поэтому они стали так церемониться с рабочими и приказчиками...»

Ну да, — я понимал — это не может быть иначе: это революция. Дело очень страшное... Но как же быть таким доблестным рыцарем, как Яков и друг его Арка, когда они до глубины сердца возмущены несправедливостью и готовы пожертвовать жизнью, чтобы высвободить людей из египетского рабства?! Впрочем, они иногда тоже сбиваются. Почему, например, Яков заступился за меня во время пожара (я еще долго после этого кашлял и щупал синяки на всем теле)? Ведь они были правы. Я из «богатых» — чем же я лучше пристава Курляндского? Уже не потому ли взял мою сторону Яков, что, как и он, я — еврей? Но ведь он сам говорит, что после Революции евреев больше не будет, так какой смысл за них заступаться? Опять все спуталось, снова появились головкружения, а некоторые тщательно скрываемые синяки и кровоподтеки очень даже чесались. Я набрался духу и вернулся на послеклишневские позиции.

— Послушайте, — сказал я Якову, сидевшему рядом на бульварной скамейке, — я хочу с вами посоветоваться! Но только с вами, не рассказывайте об этом даже Арке.

— Гут, — ответил Яков «по-немецки», — зи битэ заген (говорите, мол, пожалуйста). И я принялся объяснять. В скобках надо вставить, что мои встречи с Ямом, ставшие все более частыми и продолжительными, носили под сенью домашних законов полулегальный характер: приходилось выдумывать невинные предлоги для отлучек и называть иг-

рою в крикет или в шашки всестороннее обсуждение всевозможных подходов к Революции. Вся она в целом должна была, мне казалось, распутать один гигантский узел, в котором можно было, однако, различить три отдельные причудливо переплетающиеся нити: нить правителей, угнетающих население, нить притеснения бедных богатыми и нить подавления одного народа другим. Ям каскадами своих отрывистых и часто фантастических разоблачений научил меня, иначе говоря, различать политический, социально-экономический и национальный факторы революционного движения. Набравшись духу и вернувшись на послекишиневские позиции, сердце мое естественно сосредоточилось на сплетении «политического» фактора с «национальным» или, точнее, на стремлении положить конец погромной политике правительства против еврейского народа. В этом открылся сквозь мою скважину истинный смысл Революции и, если бы возможно было решить эту задачу без Революции, я готов был бы отвернуться от нее в надежде на то, что со временем и нищие безо всякой революции перестанут нищенствовать у порога пирующих вельмож. Очевидно, двинское содружество хулиганов недаром видело во мне «барчука» и «кровопийцу», а на городских окраинах, кроме того, и «свиноухого жиденка».

Но каким образом может парнишка, которому не пошел еще тринадцатый год, «положить конец» чему бы то ни было, не говоря уже о решении петербургских министров требовать от евреев ответа за революцию? Возродился с новой заманчивостью прежний мой план обратиться непосредственно к царю, минуя царских слуг от мала до велика; а осуществить это, думал я, можно очень просто — посредством письма, опущенного в почтовый ящик. И само собою, я ничего не предприму, не обсудив наперед все дело обстоятельно и доверительно с Яковом Ямом.

Яков Ям облил меня, что называется, ушатом помоев. В первый раз в жизни я был назван «дураком», так-таки не снисходительно и сочувствующе «дурачком», а полновесным

и полномерным словом без всякого смягчающего «че». Я обомлел. И это от кого? От ласкового сероглазого Яма, моего ученика по двум предметам? Не дурак ли я и в самом деле и не пора ли мне перестать соваться не в свое дело?!

Однако, когда Ям, пожалев, очевидно, о своей вспышке, придвинулся ближе на бульварной скамейке и стал, шепча на ухо скороговоркой, объяснять, почему затея моя глупа, я постепенно овладел положением, а под конец даже стал возражать ему. «Ты думаешь, — шептал Ям, — что он лучше других, лучше погромщика Плеве? А я тебе говорю — он хуже, хуже всех, он „самодержавец“, и они все только его и слушаются. Почему, когда бывает Революция, всегда, прежде всего, отрубают голову царю? Так было во Франции, так было в Англии и так будет у нас. Ну, почему? Подумай сам...»

Но Ям хватил через край. Одна мысль о том, что царю, Николаю II, Императору Николаю Александровичу революционеры готовы «отрубить голову», перевернула во мне все вверх дном; меня физически стошнило, вот так, как если бы дело шло о действительном происшествии, да к тому же о близком родственнике. Если набивать вспоротые животы перьями отвратительно, то головы отрубать столь же мерзко. Знаю, знаю! В прежние времена всегда были жестокости. Но разве при Социализме не будет все по-иному? Так и Революция на службе Социализма должна отказаться от жестокостей и кровопролития. Если, — стал я горячиться, — она должна упразднить войска, то она и сама не может быть солдатской силой; если долой самодержавие, то и долой войну.

«Тише, тише, — прервал меня Яков, — еще могут услышать!», и в стущающихся сумерках я заметил в его взгляде нечто вроде того изумления, с которым он смотрел на меня, когда увидел меня впервые с иностранными книгами в руках. «Ты значит вот как! Так рассуждают толстовцы... Они тоже социалисты, но социалисты-утописты, потому что угрожают утопить и Революцию, и Социализм... Ладно, думай, как

знаешь. Старше станешь, лучше поймешь. А теперь можешь писать свое глупое письмо. Только будь осторожен. И за это могут посадить в тюрьму — не тебя, так твоего отца...»

Ям поднялся со скамейки. Между нами пробормотал охлаждающий ветерок, но я хотел добраться до конца: «Если я такой негодный, то почему же тогда на пожаре вы с пистолетом...» — «Не задавай глупых вопросов! Ты не плохой. Писатель Лев Толстой тоже не плохой. Но вы все сытые. В этом вся беда... Да ладно! Иди писать свое письмо...»

Больше я Якова не видел. Он, по-видимому, стал избегать меня или переселился вместе с другом своим Аркой Розенблат-Глускиным в другой город. Я же занялся сочинением письма.

Задача сразу оказалась гораздо более трудной, чем я ожидал. Во-первых, обращение. «Милостивый Государь»? Но так пишут, я знал, каждому простому нотариусу. Навести у кого-либо справку было опасно. Я стал рыться в книгах, больше всего почему-то в сочинениях Жуковского и Гончарова. В конце концов, я остановился на «Ваше Императорское Высочество Николай Второй». Хуже всего было то, что почерк у меня неважный, а исправить его раз-два-три не было надежды. Но зато я точно знал, что хотел высказать и смог воспользоваться хорошими образцами, как всепокорнейшей просьбой царицы Есфири, обращенной к могущественному царю Персии и Мидии. Я сообщал «Его высочеству», что мы, евреи, хотя и рассеянный, но все же избранный народ, а потому и миролюбивый. Сильно ошибаются те, которые утверждают, что мы противники «светлейшей царственной семьи» (последнее выражение мне самому казалось слишком раболепным, но, успокаивал я себя, царям иначе писать нельзя). На самом-то деле, — я продолжал, — мы почти все поголовно «верные подданные Его Высочества», а посему я выписал сплошь прописными буквами:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САМОДЕРЖАВИЕ — ДОЛОЙ ПОГРОМЫ!

Эта главная часть письма мне казалась более или менее удовлетворительной, лишь бы почерк был лучше, и на гербовой бумаге, специально купленной, не было ни единой кляксы. Хорошо было бы, конечно, обсудить текст с каким-нибудь знатоком подобных дел, но я твердо помнил последнее наставление Якова Яма и даже держал всю подготовительную работу в строжайшем секрете, вставая иногда с петухами, чтобы еще и еще раз переписать начисто первую, самую важную страницу.

Еще до того, как вся работа была закончена — а ведь еще оставалась практическая часть! — вернулся домой из Казани брат. Трудно было скрыть от него, что у меня какое-то свое, похожее на колдовство дело, и мне пришлось на ум посвятить его в мой замысел и заодно попросить совета по некоторым сомнительным пунктам. Результат был такой, что даже Ям мог бы порадоваться. По поводу сути затеянного плана брат, едва выслушав, сказал с нескрываемой досадой: «Это что? Новая сказка? Мы уже не дети! И тебе меньше чем через год будет тринадцать — пора тебе бросить сочинять пустые байки. Да и кишиневский погром слишком серьезное дело, чтобы дурачиться по поводу этого...» В его раздражительной критике меня больше всего задело слово «дурачиться»: для одного я просто полновесный «дурак», для другого я нарочно «дурачусь», кому ни скажешь, все поднимают на смех, я, между тем, никогда ничего более серьезного не затевал и не делал. Дай-ка покажу брату готовую часть работы!

Увидев целую стопку исписанных, переписанных и перечеркнутых листов гербовой бумаги, брат заинтересовался, бросил взгляд сначала на меня, а затем на заглавные строчки моего сочинения и расхохотался: «Вот видишь, ты хочешь писать царю письмо и даже не знаешь, что не «Ваше Высочество», а «Ваше Величество»... Просто смешно! «Ваше высочество» — это великие князья». И перескочив через самые заветные мои образы, зацепился взглядом за возглас в конце — Да здравствует самодержавие! — «Это еще что?! Когда ты успел стать таким реакционером?..» На этом, совсем еще но-

веньком для меня слове, сотрудничество [с братом] по выработке моей злополучной «петиции» оборвалось. Приходилось продолжать на собственный страх.

Я перешел к практической части. Допустим, бумага попадет в царские руки — что дальше? Ни подписи моей, ни адреса не ней не будет. Представим себе, что обращение мое будет встречено милостиво — как это станет известно нам? мне?

Слишком пятьдесят лет спустя, в конце 1956 года, я был в приблизительно таком же положении в столице Индии, когда просил письменно главу правительства Джавахарлара Неру заступиться за преследуемых египетских евреев. Об этом подробнее — в свое время. Сейчас хотелось бы лишь отметить, что связь между жизненными явлениями гораздо более органична, а потому и причудливее, чем это обыкновенно думают, в особенности люди с короткой памятью. Если бы я не вырос под сильным впечатлением библейского рассказа о миссии Моисея и Аарона во дворце египетских фараонов, меня навряд ли увлекла бы затея обратиться лично и собственноручно к Фараону Российской Империи, а без этого упражнения детских лет у меня полвека спустя не было бы нужной сноровки, чтобы добиться через Неру облегчения участи евреев под властью царствующего в Египте Насера. Если только остаешься самим собою, звенья перезваниваются через цепь десятилетий насквозь.

Но здесь и сейчас долго не о чем толковать. Письмо мое было опущено в почтовый ящик на безлюдной улице с заключительной мольбой «объявить манифест во славу священного народа». Заключительная фраза еще долго звенела в ушах, как некое заклинание, я повторял ее беззвучно и днем, а иногда и ночью в тревожных снах. Все ждал и ждал «дурачок» манифеста. Напрасно. Поехали на дачу. Газеты стали моей ежедневной насущной пищей. Произошло убийство в Белграде. В Риме скончался Папа Лев VIII. Собиралась гроза где-то на границе Китая. В общежитии все чаще произносилось слово «революция». Царю было явно не до

«манифеста во славу». Но в начале следующего, 1904 года началась не Революция, а оглушительно грянула русско-японская война. История ворвалась в частные квартиры, и мир предстал передо мной в новой, еще более страшной, но и еще более завлекающей перспективе.

2. Революция в переходном возрасте

В первый год войны, осенью 1904 года, я стал учеником четвертого класса гимназии в балтийском городе Пернове. Я столкнулся вплотную с «национальным» фактором в революционном движении, переплетавшимся здесь теснее с его социальным, нежели политическим поводом. В классе были представлены семь национальностей: помимо нас, двух сынов «священного народа», русские, немцы, эстонцы, латыши, поляки и шведы. Все, за исключением русских, да и то не всех, мечтали о победе Японии над Россией. Все приносили из дому убеждение, что поражение России повлечет за собой «освобождение» их собственной национальности. Немецкие мои одноклассники намекали, что Балтийские губернии, с преобладающим немецким языком в их городском населении, должны быть присоединены к Германии. С этим, однако, не соглашались ни эстонцы, ни латыши, в большинстве сыновья крестьян, видевшие в «баронах», т. е. в немецких помещиках, жестоких угнетателей, крепко связанных с властью русского дворянства. Выходило, что в четвертом классе Перновской классической гимназии Революция была отлично представлена почти всеобщим «пораженчеством», как это стало называться десять лет спустя, однако же, расщепленная по признаку национальному и сословному на две враждующие половины. Остальные, более мелкие группы примыкали либо к одной, либо к другой «великой» коалиции.

Особое положение занимал в этой «революционной» обстановке я сам и мой еврейский соученик Моисей Левенталь из Риги. Ям меня научил не сочувствовать богачам, купцам

или помещикам, включая, само собою, балтийских баронов; с другой стороны, кишиневский погром научил меня понимать участь не только евреев, но сочувствовать также судьбе любого другого притесняемого народа. При всем этом я не переставал жалеть одиночек в беде, к какому времени они бы ни принадлежали. Я, например, не мог не брать под защиту нашего барона Сталь фон Гольста, на редкость хрупкого, тонкого и высокого отпрыска древних крестоносцев, когда наши эстонцы-атлеты, вроде низкорослого, но необыкновенно широкоплечего сына морского волка Августа Кинга, захватывали ненавистного «барона» врасплох, валили на землю и с остервенением топтали ногами. Революции еще нет, — возмущался я, — а они уже готовы «отрубить голову», как Ям царю. Я бросился в самую гущу и хилый, но уверенный в своей правоте, останавливал расправу. Все это создало в общественном мнении класса, да и всей гимназии, потому что брат в своем старшем шестом классе вел себя так же, представление, что евреи народ особый, ни туда — ни сюда, нейтральный, если и не «святой», то, во всяком случае, стремящийся к справедливости и для себя, и для других. Этот своеобразный опыт сильно отразился на проявлениях революционной стихии в дальнейшие периоды моей сугубо нейтральной жизни.

С начала 1905 года Революция перестала быть, с одной стороны, лишь предлогом для насилия и пугалом, а для стороны противоположной — лишь назидательным уроком прошлого и соблазнительной мечтой. После 1-го января, пролившись кровью на Дворцовой Площади, призрак революции стал плотью. Попутные ветры донесли ее испарения до Дальнего Востока, Манчжурии, Квантунских окопов. Порт-Артур пал, эскадры Рождественского и Небогатова погибли при Цусиме. Героями и нашей, и женской гимназии стали адмирал Того и маршал Ойяма. Токио и император Матсухи совершенно вытеснили из моего сердца царя и Царское Село. Как все кругом, и я стал изменником. Почти не верилось, что всего два года тому назад я ждал из Царско-

го милости, которая могла бы нас сделать равнодушными к Революции. Став пораженцем и окончательно разочаровавшись в генералах царя и в его адмиралах, я пел во весь голос в унисон с разноплеменным классом: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!». Даже мой близкий сосед по парте, сын полковника пограничной стражи Раевский, уже не задумываясь, писал мелом на доске огромными корявыми буквами: «Долой Самодержавие!..» Революция ворвалась не только в уютные квартиры, но бесцеремонно прорвалась в самые сердца щеголеватых гимназистов и гимназисток.

К лету более «развитые» ученики и ученицы из разных классов, с примесью рослых питомцев Городского училища, сплотились в ряд «кружков для самообразования». Изучали главным образом «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса по подпольным изданиям на разных языках (беспризорным оставался один лишь оригинальный немецкий текст, потому что немцы наши предпочли Марксу и Энгельсу Лессинга и Шиллера). В нашем еврейском кружке «Единение», издававшем рукописный журнал под таким же названием, шла борьба между рьяными социал-демократами, утверждавшими, что национальное чувство, как и чувство религиозное, пережиток «темного средневековья», и одиночками, как брат и я, ратовавшими за согласование «идеалов» социалистических с традиционно-еврейскими. «Социал-демократ» из шестого класса Иссер Рабинович не делал различия между мною и братом и называл теперь нас обоих «реакционерами». Я же называл его и его единомышленников спившимися «ямщиками», потому что они, как мне представлялось, повторяли зады мчавшегося без оглядки, расположившись на бульварной скамейке, двинского резонера и фантазера Якова Яма.

Но они, противники наши, были сильнее нас. Это сказывалось, между прочим, и в том, что гимназистки в нашем кружке, включая первую ученицу пятого класса Островскую, сразу поддались чарам безбожных русофилов. Чтобы задер-

жать наводнение и не дать «утопической» Революции потопить веру, я в следующем году попросил нашего преподавателя Талмуда З. Б. Рабинкова изложить письменно главные аргументы в пользу бессмертия. Его «меморандум» появился в «Единении» в моем переводе с «раввинского» на русский. Такой метод «самообразования» не обещал, конечно, быстрых результатов. Более осязаемого воздействия я ожидал от собственного произведения, первого моего гимназического сочинения под заглавием «Социализм и национальный вопрос». В выводах моих о неизменности национальных различий, которые должны сохраниться и после Революции при социалистическом строе в виду их происхождения от различий географических и от разнообразия исторических судеб, я опирался на данные и антропологии, и историософии — на «Человека» Ратцеля, том большого лексиконного формата, и на тоже объемистую «Историю цивилизации в Англии» Бокля. Надвигавшаяся революция расширяла горизонт и углубляла научные интересы; она будила мысль и давала смелость рассуждать самостоятельно. Моя гимназическая работа о национальном вопросе через два года пригодилась брату сначала для реферата в Московском университете, затем для политических заключенных в Суцьевском полицейском доме, а еще позже — на собрании русских эмигрантов в Платен-Гартене в Цюрихе.

Однако, несмотря на такую мобилизацию юных сил, наши противники в кружке брали верх. Они были лучше организованы и регулярно снабжались заграничной «Искрой», которая внушала нам всем уже одной своей тонкой «гильзовой» бумагой: держа ее в руках и переворачивая ее листы, любопытствующий читатель помимо того, что узнавал самые секретные новости и о войне, и о революционных выступлениях во всех концах России, в самом шорохе и потрескивании бумаги улавливал настойчивый аккомпанемент подполья, сигнализирувавший общничество. Были тогда в обращении и другие революционные издания на тонкой потрескивающей бумаге. Но они до нас не доходили, а вот «со-

циал-демократ» Рабинович мог появляться периодически с многообещающим свертком за пазухой и создавать впечатление, что он в тесной связи с «ними», с теми, которые готовят «великую русскую революцию». «Когда она произойдет»? — спросила его однажды одна из наших доверчивых гимназисток. «О, — ответил, многозначительно приподняв подбородок, хитроумный «искровец», — точное число конспиративное, но могу Вас уверить, товарищ Левина, ждать уже недолго...»

Когда вскоре после этого произошло восстание на черноморском броненосце «Потемкин Таврический», мы все были уверены, что «началось». В первый раз я стал с возрастающим нетерпением ждать очередного номера «Искры» и, не щадя самолюбия, откровенно признался в этом запевале хора безбожных наших «ямщиков». «А ты пойдя, помолись, — издевательски хихикнул Рабинович, — может быть, поможет, и вышлют из Лондона номер для тебя поскорее»

Ему казалось смешным, что человек, которому пошел уже пятнадцатый год, все еще держится за религию и, несмотря на это, как будто сочувствует революции и интересуется лейтенантом Шмидтом. Номер «Искры» с обширным материалом о событиях в Черноморском флоте он мне все-таки дал. Меня поразила в нем больше всего статья, в которой давалось «научное» объяснение, почему именно флот, а не армия стал авангардом революции. Выходило, что все совершается согласно предсказаниям Маркса. Вооруженные силы страны отражают ее социальный строй; крупной промышленности в народном хозяйстве соответствуют крупные военные корабли; иначе говоря, броненосцы — те же оборудованные мощными машинами фабрики, из чего следует, что рабочие руки на них — матросы — образ и подобие фабричного пролетариата, перводвигателя социалистического переворота. Что и требовалось доказать. Эта теория 1905 года еще продолжала возбуждать умы моряков шестнадцать лет спустя, во время восстания «красного флота» в Кронштадте против тирании большевиков. Однако же когда я,

под звуки большевистской канонады, громившей Кронштадт, предложил довести до сведения Максима Горького на Кронверкском проспекте об уверенности моряков в их провиденциальной роли в процессе революции согласно марксистскому толкованию эпохи «Потемкина», чтобы убедить его присоединиться к формируемому в Петрограде «Комитету общественного спасения», участники инициативной группы (Иванов-Разумник, Александр Блок, Е. И. Замятин и пятый член нашей «пятерки» — Ольга Дмитриевна Форш) отнеслись к моему предложению кто с горькой, а кто с пресной иронией. «Вы хотели бы марксизм побить марксизмом же, — сказал Разумник, — а они вкупе и влюбё — слышите? — не стесняются палить из пушек даже по миролюбивым воробьям». Что из всего этого вышло, стоит рассказать отдельно. Здесь шестнадцатилетняя мерка была привлечена лишь для того, чтобы сделать наглядным, какие глубокие следы могло оставить употребление на революционной практике канонов марксизма.

Тем более понятно и естественно, что статья о «Потемкине» на долгий срок заплонила мой незрелый ум. Я как бы парил между небом и землей, между Верой и Революцией, и вот у меня в руках очутился ключ к пониманию революционных событий вне зависимости и от собственной веры и от собственного влечения к потрясающим переворотам. То, что я читал и перечитывал в сопровождении потрескивающего бумажного шороха, звучало как доказательство теоремы в геометрии, а геометрию я полюбил с первой страницы, с самой первой аксиомы о прямой. Рассуждение об очередной «Искре» казалось мне, действительно, кратчайшим расстоянием между вопросом и все разрешающим ответом. Ergo, надо, не откладывая, изучить марксизм и овладеть, как писали в посыпавшихся со всех сторон брошюрах, прямолинейным марксистским методом.

Скоро сказка сказывается, а когда человеку идет пятнадцатый год, то и дело скоро делается. Частный учитель-экстерн Григорий Каем, учивший брата в ускоренном темпе

греческому, не без колебания одолжил мне свой драгоценный экземпляр I-го тома «Капитала» (в черном переплете, надо заметить), и увесистый Маркс меня сразу очаровал. Действовала, несомненно, черная магия: «товарный фетишизм», ценность и цена, трудовая теория ценности, трудовой день, детский труд, и среди всего этого: формулы, как в учебнике алгебры, — разве можно было еще сомневаться, что Яков Ям был в свое время прав и что я наконец сделал решительный шаг от «утопического» социализма к «научному»: к геометрическому, к математическому... Пусть Ям и ошибался насчет этимологии слова «утопия», которое не имеет ничего общего с «утопленниками», но, сообщив мне тогда, в Двинске, на бульваре, что существует настоящий, «научный» социализм, он широко открыл мне двери в przygotowательный класс Революции, и я терпеливо мог готовиться к выпускному экзамену. «Ты знаешь, — сообщил я однажды брату, еще лежа в постели, — я — марксист...» Брат посмотрел на меня блуждающим взглядом и отозвался: «Ты не марксист, а бездельник! Чем валяться так поздно в постели, ты бы лучше встал, помолился и привел в порядок нашу библиотеку!..».

Книг, в самом деле, было много и набиралось все больше и больше. Отец и мать были в Москве, участвуя в обмундировании Дальневосточной армии, и охотно присылали нам книжные новинки. Издательские хляби развернулись от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Когда я под конец 20-х годов встретился в Берлине с вдовой одного из братьев Парамоновых, владельцев издательства «Донская Речь», поставлявшего в свое время на всю Россию безграничное количество революционных книг и брошюр, и рассказал ей, сильно ущемленной эмигрантке, каким уважением окружено было в мои гимназические годы имя ростовских миллионеров, она сначала горько улыбнулась, а затем весело рассмеялась. «Потому вот и киснем в этом богопротивном Берлине — так нам и надо». Я издавна спрашивал себя, все ли революции делались так, как наша русская, руками миллио-

неров-мукомолов и текстильщиков, Парамоновых и Морозовых? Это был тот вопрос, который оказался подводным камнем для моего небольшого кораблика под флагом марксизма.

Уже за чтением «Капитала» и десятка других менее солидных произведений различных социалистических школ накануне всеобщих забастовок 1905 г. я стал доискиваться разрешения моих собственных нравственных и религиозных сомнений в свете нового откровения. Я спрашивал себя: если экипаж крупной плавучей крепости предопределен поднять красный стяг восстания, то ведь крупный промышленник должен быть по той же логике марксизма предопределен подыграть самодержавию, а не подрывать его, чему, однако, хорошо известные факты явно противоречили. Очевидно, стал я думать, личная совесть отдельного предпринимателя может привести его к конфликту с его так называемым «классовым интересом», и даже превозмочь его. Зачем, впрочем, вспоминать Морозовых, Рябушинских и Бахрушинных, московских промышленников, широко жертвовавших на поддержку революционных партий (об этом все знали); не лучше ли, «кума, на себя оборотиться»? Какой «классовый интерес», если взять «обезьяну», как я, сына купца I-ой гильдии, с самого дня «красной летучки» и по самую сию минуту? Хотя и не без перебоев, увлекаться все больше и ощутительнее революционной феерией? «Национальный вопрос»? Кишиневский погром? Разочарование в царе и его слугах? Но ведь это лишь с другого конца подтверждает, что «классовый интерес» вовсе не единственный стимул революционного настроения. Пусть марксизм лучше всего помогает понять ход революции, но он ничуть не облегчает отдельным лицам ее делать, оправдать ее как личную задачу их жизни. Тут пробел. Не моя ли задача его восполнить?

По всей России, и с исключительной силой на окраинах с нерусским населением, земля под государственными учреждениями заколебалась. В Перновской гимназии, этом нашем семейном государственном учреждении, воцарилась

после летних каникул настоящая «анархия». Но молодежавый директор наш Василий Евлампьевич Попелищев, уроженец Черниговщины и питомец Нежинского института, по специальности историк, предпочитал иностранному слову его русский синоним «безначалие». Недолго спустя, Василий Васильевич Розанов назвал весь этот исторический период временем, «когда начальство ушло». Накануне первой мировой войны у меня был случай передать Розанову, какой облик приняла жизнь в нашем эстляндском захолустье «без начальства» и чем она стала, когда начальство вернулось. «Вот видите, — обрадовался Василий Васильевич, — то-то я и говорю: без начальства плохо, а с начальством может быть и того хуже». Таково именно было «историческое воззрение» нашего директора, потомка запорожцев Василия Евлампьевича.

Ему все было известно. Он знал, что место классов заняли кружки, место учителей — вожаки из подпольных партий, что два и два, двойка и двойка стали давать в итоге пять, «пятерку» на «школьном языке» — не в классном журнале, конечно, а в том изустном свидетельстве, в котором ученики-двоечники часто значились как первые из первых в руководстве гимназической революцией. В чем она заключалась? В беседах, которые вытеснили классные уроки, Попелищев говорил, что революции в истории человечества столь же естественное явление, как гром и молния в природе; они прочищают атмосферу и, хотя не решают никаких вопросов, но ставят их по-новому. Давно, например, пора пересмотреть наши устарелые гимназические программы, ввести новые предметы, более жизненные, нежели церковнославянский язык, а в преподавании истории не скрывать зловещие факты, столь частые в хронике дома Романовых, убийства коронованных особ. Цареубийство было вообще его излюбленной темой. Никто не сомневался, что директор сам не принадлежал ни к какой революционной партии, но вел он себя, как настоящий пропагандист революционного террора, как бы ища для него оправдания в историческом прошлом России.

«Цареубийство, — сказал он однажды, — ввели у нас царедворцы». Этот «афоризм» врезался в сознание и со временем нашел свое место среди аргументов, давших перевес в моем споре с самим собою в пользу решения примкнуть к боевой группе партии Социалистов Революционеров. Но это случилось лишь несколько лет после моего окончательного разочарования в марксизме, который, как известно, безоговорочно отвергал террористические методы борьбы с существующим строем. До поры до времени я был, однако, слишком занят открывшейся мне антиномией между исторической необходимостью и свободой личного выбора, чтобы отдавать должное внимание партийным разногласиям. Как директор Попелищев и друг его, тоже преподаватель истории Алексей Александрович Исаев, я увлекался и восторгался разгулявшейся стихией и все же ощущал себя вне ее, как бы в укромной, хорошо защищенной бухте. Это создавало какое-то странное раздвоение личности.

Я стал пристально приглядываться и к себе, и к другим. Марксизм как бы освободил меня от ответственности за общественные дела. Ведь их развитие в должном направлении все равно обеспечено. Но директор гимназии Попелищев или гимназист пятого класса Штейнберг могут участвовать в них либо как часть целого и ему подчиненные, либо сами по себе, как самостоятельные лица. Когда же происходит одно, когда другое? Или возможно, что ли, чтобы и то, и другое пересекалось или даже совпадало? Очень скоро мое недоумение приняло весьма конкретный и притом болезненно обострившийся характер.

Дело в том, что в своих размышлениях вслух Василий Евлампьевич не раз подчеркивал, что задача гимназической молодежи добиться самоуправления и создать свой аппарат обновления школьной жизни и школьных программ. «Существующий строй больше не существует», — воскликнул он однажды, сидя с некоторыми из нас за столом в перновском кургаузе — «можно даже себе представить, что мужская и женская гимназии сольются в одно учебное заве-

дение...» Я был младшим в компании, но бывшие тут восьмиклассники, я заметил, как-то нехорошо перемигнулись. Я покраснел и подумал: вот куда революция может завести, а что же будет со мною в этом смешанном «самоуправлении»? Не знаю, куда еще мог завлечь нас этот разговор за бутылкой мадеры, если бы не донеслась до нас из парка «Марсельеза», которую затянули хором «слившиеся» мужские и женские голоса. «Вот это, — воскликнул директор, — никак не годится! Так пока еще нельзя, и очень прошу вас, господа, если вы громко поете революционные песни дома, закрывайте, по крайней мере, окна...» Он расплатился, встал и, слегка покачиваясь, направился к стеклянной двери, выходящей на крыльцо. Восьмиклассники снова перемигнулись, и я тут же услышал, хотя и не все понял, что наряду с всероссийским потрясением, в семье директора происходит какая-то другая, частная революция: его жену, которая мне всегда казалась очень красивой, слишком часто видели в неуточное время, и в местах, слишком отдаленных от обеих гимназий, и мужской, и женской, с молодым командиром роты, присланной из столицы для охраны большого лесопильного завода Вальдгоф, в нескольких местах от города.

Не понимая всего значения этих сплетен, я, тем не менее, сообразил, в связи с собственными моими размышлениями, что директор наш стал таким горячим поборником революции не только по мотивам «исторического» свойства, но в силу того, что с ними сплеталась какая-то личная беда. Мне стало его очень жалко, так же, как жалел я в более зрелые годы настоящих мучеников революции. Фигура же ротного командира, по-видимому, его соперника, отбросила в моем воображении жуткую тень, протянувшуюся через весь революционный пейзаж. И не напрасно.

Всеобщая забастовка всех путей и средств сообщения, включая почту и телеграф, которая к середине октября отрезала столичные центры от всей остальной России, разбила империю вдребезги, как неуклюжую хрупкую посудину, на обособленные обломки и осколки. Не только высшее началь-

ство в столицах «ушло», но и низшее в самых заброшенных городишках. На окраинах империи осуществлялась сама собою программа самоопределения малых народностей. Так было и в Эстляндской губернии, так было, в частности, и в нашем уездном городе Пернове. На улицах стали расклеиваться приказы новоявленного «Общенародного комитета» на непонятном для многих из нас эстонском языке. «Комитет» заседал в доме Эстонского Общества Трезвости под названием Вальгус (Valgus), что означало «Свет». Одна из «светлых» идей революционного Комитета сводилась к тому, что все учебные заведения в городе должны под страхом закрытия перейти на эстонский язык преподавания. Передавали, что зародилась-то эта блестящая идея в голове какого-то слесаря с Вальдгофского завода, исключенного за много лет до этого из приготовительного класса гимназии за многократные двойки и единицы по русскому чистописанию. Забавно было, что больше всех возмущались злопамятством бывшего приготовишки не русские ученики и учителя, а немцы. Среди них тон задавали главным образом преподаватель немецкого Максимилиан Брэдэ, седины которого были тщательно разделены пробором на две равные половины, и бывший эстонец, учитель физики и начальник добровольной пожарной команды рыжебородый Якоби: «Конечно, надо менять язык, — говорили они в один голос, но не на эстонский, который ничуть не язык, а на немецкий, как было при Фридрихе Великом...» Русским же все это было довольно безразлично. «Отец говорит, — сообщил мне на взморье под свист осеннего ветра мой сосед в классе Раевский, — что они все страшные тупицы. Ну, где они возьмут нужных учителей? Где у них учебники?!»

Иначе рассуждал потомок запорожцев Попелищев. Он позвал к себе в кабинет нескольких гимназистов, подвизавшихся за последний год в «кружках самообразования», в том числе, в нашем «еврейском», и предложил, чтобы мы, без различия классовой принадлежности, то есть не исключая учеников пятого и даже четвертого класса, составили свой

Объединенный Комитет Спасения гимназии. «Сколько раз я вам говорил, — постукивал по столу перстнем директор, — что революция не решает, а лишь ставит назревшие вопросы. Так и с языком преподавания: это назревший, но еще не созревший вопрос, и надо выиграть время, чтобы из-за языка не погибло само преподавание. Мы, начальство, теперь не в счет. Постарайтесь же вы, на началах революционного самоуправления, найти наилучший выход... А теперь я оставлю вас одних». Те из нас, которые питали особые чувства к директору и знали об его южном происхождении, немедленно предложили называть наш Комитет Спасения промеж себя «Запорожской Сечью». Единственный протестующий еврейский голос не нашел отклика. «Не бойся, — пошутил мой главный соперник по математике эстонец Альберт Поль, — в нашем Комитете до погрома, как в «Тарасе Бульбе», дело не дойдет». Наиболее удивительно было то, что он, Поль, и другой бывший с нами эстонец Гандшмидт, несмотря на весь свой эстонский патриотизм, были решительно против введения их национального языка как основного языка преподавания в гимназии. Я старался объяснить их благоразумие по-марксистски: в противовес рабочим, портовым и заводским, преобладавшим в «Общенародном Комитете», гимназические наши «спасители» были, так сказать, экономически заинтересованы в скорейшем окончании средней школы, а потому в своем непосредственном окружении готовы были, не задумываясь, пожертвовать интересами Эстонской национальной революции. Тем не менее, решено было передать вопрос на рассмотрение общегимназического собрания и таковое созвать в ускоренном порядке в актовом зале. Директор, само собою, дал задним числом свое согласие.

Тут-то во мне произошло уже упомянутое раздвоение личности. Для юноши в переходном возрасте особенно опасна революция, которая сама еще находится в переходном возрасте. Таково было положение в России и в моем собственном скороспелом развитии. Наподобие сформировав-

шихся в это время Советов Рабочих Депутатов, я почувствовал себя призванным осуществить революционные прогнозы марксизма в ускоренном темпе. Обычно учтивый, уступчивый и склонный к созерцательности, я вдруг стал суровым, грубоватым и непреклонным революционным «деятелем». На общегимназическом вече я предложил включить в наш исполнительный комитет представительницу женской гимназии и — о, ужас! — делегатов презируемого Городского Училища. Последнее предложение вызвало бурю возражений. Я предвидел это и как бы искал лишь повода обрушиться на отсталость «среднего класса», подпочвой большинства гимназического населения. Я ораторствовал, уносимый вихрем еще никогда не испытанной страсти. Моя робеспьерада произвела ошеломляющее впечатление. В виду моего небольшого роста меня подняли на руки и мне устроили овацию. Подхваченный стихией, я разошелся и сделал еще более дерзкое предложение: отменить всеобщим нашим голосованием гимназический запрет курения. Мои последние слова: «с благословения директора или без оного, — заглушила буря аплодисментов». Какое дело мне до курения папирос?! Я ненавижу самый дымящийся вид их и тем более их душливый запах. Весь этот «назревший вопрос» для меня лично был, что называется, «дело-табак». Но когда сходка кончилась, сын лучшего в Пернове кондитера, душившийся и завивавшийся Бательт, полунемец, полулатыш, подошел ко мне, крепко пожал руку и сказал: «Это тебе за гимназисток и за папирсы...»

По дороге домой, на Садовой, соединявшей гимназию с нашим домом, я уже очнулся и стал спрашивать: что это со мной произошло? Я ли это, стоя на эстраде в актовом зале, повторял марксистские прописи, ругая «мелкую буржуазию» «плесенью на запруде капитализма». И откуда я взял это «поэтическое сравнение»? Спыхватился я также, что, предлагая привлечь гимназисток в наш Комитет, я отчетливо видел витавший передо мною образ Наташи Макаровой, дочери купца-старовера, которая с самой весны заставляла

меня, где бы она мне ни попадалась, не сводить с нее глаз — именно она, а не ее младшая сестра Настя. Так что же? Неужели черноглазая Наташа и есть моя Муза Революции, и я «действую» на гимназическом поприще, вдохновляемый ею, а вовсе не какими-то отвлеченными идеалами или теориями? Кто же кого обманывает? Я — себя, эксплуатируя марксизм и революцию в личных интересах, или революция — меня, подстегивая якобы личными интересами для ускорения моего движения в предназначенном ею направлении? Еще не дойдя до дому, я решил, что обман с двойным дном, двусторонний, и что поэтому в каждый отдельный момент никак не скажешь, чья прибыль и кто в накладе. «Коли так, — заключил я вслух, входя в дом, — лучше всего отложить самоанализ до лучших времен!»

С этого дня я раскололся надвое: на деятеля-автомата, не разбирающегося в мотивах своих действий, и где-то сбоку сопровождающего его наблюдателя, холодного и беспристрастного, не пропускающего, однако, без внимания ни одного своего шага. Вот почему я до сих пор не могу вспомнить без огорчения, что в последующих совещаниях гимназического Комитета Спасения я, собственному здравому рассудку вопреки, поддерживал с жаром самые дикие предложения полуграмотных «делегатов» Городского Училища. Одно из них требовало категорически: «С первого января один язык — эстонский во всяких гимназиях, мужских и женских». Но в этом особом случае все мое красноречие не смогло предотвратить передачу вопроса в «комиссию», которой впрочем, не суждено было собраться. Этому помешали события.

Революционные события вне гимназии шли своим чередом и принимали все более зловещий характер.

3. Судороги

В Пернове начальство, вытесненное смутой из устоявшегося быта, представлено было в это время триумвиратом по-

лицейских офицеров с приставом Ганом во главе. Вдруг они все поголовно «ушли», запрятались неизвестно куда, и вместе с ними исчезли их бросавшиеся в глаза — в городе и на взморье — светло серые офицерские шинели с серебряными пуговицами. У кого был глаз, не мог не заметить, что главная наша улица, Рыцарская, как бы лишилась одного из своих самых успокоительных междометий. Повеяло беспорядком и в поперечных улицах, пересекавших Рыцарскую, и в улицах с ней параллельных. Чиновники других ведомств, хоть сами и не прятались, снимали все же свою форменную одежду и обзавелись шапками-невидимками, или, что то же, головными уборами, не выдав[ав]шими их служебную связь с правительственными учреждениями. Рыцарская как бы тускнела. Одни гимназисты не стеснялись своих серых шинелей и не давали окончательно улетучиться государственному оттенку перновских городских видов. По неопытности я смотрел на все это, как на жалкий маскарад, порожденный эпидемией трусости. «Не говорите, — сказал мне наш директор Попелищев, стоявший на крыльце гимназии с коричневой фетровой шляпой на голове вместо форменной фуражки Министерства Народного Просвещения с темно-синим бархатным околышем, — не говорите, разнузданные революционные страсти легко обрушиваются на знаки и символы старого ненавистного уклада, а заодно могут растоптать и самых безобидных носителей их». Когда я, минуя гимназию, вышел на главную улицу, я сразу натолкнулся на безобразную сцену, которая как будто нарочно была поставлена, чтобы показать мне, как тонко «историки», и в том числе, Василий Евлампьевич, разбираются во внутреннем механизме революции.

Посреди улицы сгрудилась кучка людей, почти все в шапках с наушниками, какие носили портовые рабочие, хотя было и несколько женщин в шерстяных платках, а где-то там, между кричащими, ругающимися и заносщими кулаки молодыми буянами, чуть виднелась щуплая фигурка акцизного инспектора в форменной тужурке, то и дело пока-

чивавшаяся и сгибавшаяся от наносимых тумачков; продвинувшись ближе, я разглядел, что избиеение было лишь аккомпанементом к «разжалованию» чиновника министерства финансов, к сдиранию с его плеч поперечных погонов с каким-то позолоченным вензелем. «Как Василий Евлампьевич все предвидит», — пронеслось в уме, и я, раздвоенная личность, впервые в жизни попытался заговорить по-эстонски. По-видимому, революция не прочь была возложить на меня функцию тормозящего благоразумия. Но Бог знает, какая функция была уже до того возложена на моего ближайшего соседа в толпе, молодого парня со зверским выражением: он так решительно ткнул мя кулаком под ребра, что я отлетел и буквально сел на тротуаре в лужу. За мною вслед раздалось поэтическое напутствие: «Currat Judens!», что означает в переводе с эстонского на русский «Чертов жид!» Подымаясь и отряхиваясь, «деятель» во мне крепко стиснул зубы, бесстрастный же наблюдатель удовлетворился иронией: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Ирония тут, конечно, была неуместна и относилась в лучшем случае к собственным революционным иллюзиям. Еще в Двинске, когда я собирался писать письмо царю, Яков Ям внушал мне, что сытый голодного не разумеет. Ныне, в октябре 1905 года я, в сущности, сделал такую же, правда, устную, попытку обратиться по-эстонски к человеколюбию, на этот раз не царя, а Революции, и вот она, полная проголодавшейся злобы, недвусмысленно дала мне снова понять, что я суюсь не в свое дело. Надо было сделать так, чтобы ушедшее начальство уже не могло бы больше вернуться, а для этого надо было его выкурить из нор, в которые оно запряталось, и вывести на свет Божий перед лицом народа. Было ли такое решение принято Общепародным Комитетом, мы не знали. Знали мы лишь, что небольшие полувооруженные кучки крючников, железнодорожников и фабричных разносят по всему городу, как стократное эхо, вопрос: «Где Ган?!», то есть начальник полиции, и было очевидно, что они не успокоятся, покуда его не найдут. Избиеение, свидетелем которого

я был, было, как оказалось, связано именно с этими поисками. Без слов было провозглашено начало круговой поруки всех представителей власти друг за друга. Акцизного чиновника, схваченного среди бела дня на Рыцарской, сначала допрашивали о том, куда скрылся пристав: «Где Ган?!» — кричали в самые уши; избивание же и «разжалование» последовали лишь как некое наказание за запирательство и соучастие — соучастие в чем? За соучастие во всем, против чего народ восстал; за соучастие в контрреволюции в долгие годы и десятилетия до революции. Дело принимало во всех смыслах серьезный оборот. Бесстрастный наблюдатель во мне без тени иронии спрашивал своего двойника-деятеля: И ты все еще готов быть орудием революции? А где Ган? А как быть с охотой на Гана?

Об этот вопрос я споткнулся совсем скоро. 17-го октября был опубликован знаменитый манифест о свободах. На мигнуто анархия, как бы глотнув свежего воздуха, поперхнулась и замерла. Вести, доходившие разными подземными и подводными путями, сливались в мощный гимн победы. Народ свободен, справедлив и любвеобилен. Никто никого больше не должен бояться. Миллионы готовы обняться («Seid umschlungen, Millionen»⁷³). Среди тысяч других поверил в это и пристав Ган. Притаившийся пристав снова появился в свежее выглаженной шинели на Рыцарской улице. И тут случилась большая беда.

День начинается для меня, как если бы это было сегодняшнее утро. Была пятница, и мне нужно было много успеть до вечера в этот короткий осенний день. В первую очередь надо было сбегать на вокзал, превратившийся во всенародный политический клуб. Там появлялись неизвестные люди с газетами; там какой-нибудь моряк из иностранного порта передавал, что думают о «русской революции» за границей; там захватил железнодорожный телефон некто по фамилии Беспозванный, о котором говорили, что он беглый каторжник. В качестве «деятеля» и марксиста я должен

⁷³ Обнимемся, миллионы! — нем.

был быть обо всем осведомлен. Как же иначе?! Особенно в эти «исторические дни». Но день с самого начала потерял направление. Едва подошел я к площадке перед станцией, как из глубины главной улицы стали доноситься звуки нестройно распеваемой Марсельезы. Шла, значит, демонстрация. Но какая? По какому поводу? Я остановился и увидел нечто, от чего задрожали руки и подкосились колени.

Впереди шли отборные молодцы с кобурами у кожаных поясов и красными флагами в руках, а за ними — глазам не верилось — пристав Ган и его помощник Тоффель, тоже с красными флагами. На миг почудилось, что это не то дурной сон, не то увеселительная процессия ряженых. Но нет! Совершенно побелевшее лицо пристава с полужакрытыми глазами и страдальчески свисающей челюстью, а главное — тонкая струйка крови, текущая из носа и протянувшаяся почти до самой полы светло скрой шинели, — все это производило такое невообразимо жуткое впечатление, какое могло быть порождено лишь непреодолимо жестокой действительностью — «Революцией», — подсказало, подскочив, сердце. А красные флаги, древки которых воткнуты были в карманы Гана и Тоффеля, трепыхались между тем беспомощно в воздухе, грубо и жестоко издеваясь одинаково и над жертвами жуткой демонстрации, и над ее распорядителями, «да и над самой Революцией», — снова подсказало подпрыгивающее сердце. Оно бедное, мучилось еще и оттого, что у помощника пристава, тщедушного Тоффеля, одна щека была ярко-розовая и сильно вздута, козырек же фуражки расщеплен пополам, так что половина его болталась у правого уха, хлопая по нему и продолжая как бы автоматически наносить побои, которым подверглись, очевидно, совсем недавно оба представителя «вернувшегoся начальства». Я вдруг страшно возмутился.

Кем были для меня Ган и Тоффель? В сущности, никем и ничем. Что знал я о них? В сущности ничего. Но я их видел на улице, иногда на гимназических балах, мне нравилась высокая фигура пристава, благожелательная улыбка на его

лице, его немецко-балтийская вежливость. И он, и его помощник были для меня люди, может быть, не лучше, но и не хуже других, например, городского эстонца Нима, который собирал, как я сам в прошлом, почтовые марки и не пропускал случая, чтобы не расспросить кого-нибудь из нашей ученой братии про дальние страны, откуда происходили диковинки, украшавшие его коллекцию. Городовой Ним, Тоффель и Ган, конечно, полицейские, но разве революция, развивавшаяся, согласно с предсказаниям Маркса и Энгельса, может лишить их права на жалость и сочувствие в беде? Именно марксисты должны громче всех заявить об этом. Если я марксист... На этом «если» я осекся.

Демонстрация подвигалась по направлению к обширному пустырю по ту сторону станции, но крайне медленно. И пристав, и его помощник едва держались на ногах. Их подталкивали сзади пинками и крепко держали под руки, идя сбоку. У самой головы процессии я с трепетом заметил, что красная струйка на шинели все ширилась, превращаясь в настоящий лампас. Меня стало тошнить и куда-то отбросило. Очевидно, я на секунду потерял сознание и пришел в себя, опершись якобы на широкий подоконник, нагретый жарким солнцем, на котором развернут был передо мной давно знакомый листок с красными строчками. «Ага!» — только успел я подумать и все понял. Тот красный шрифт, тогда в Двинске, предвещал кровь! Революция это кровь, и бесстрашный наблюдатель во мне зарегистрировал: ты не годишься ни в марксисты, ни в революционеры — сиди дома! «Не хочу сидеть дома!» — отозвался ослабевшими голосом двойничок мой — «деятель». «Что с тобой? Тебе дурно?» — спросил меня знакомый голос. Это был круглоголовый Таген, одноклассник, списывающий у меня решения алгебраических задач, круглый сирота, отданный судьбой на съедение двум теткам Шпехт, старым девам, державшим у переезда через реку Пернаву бакалейную лавку. Это было хорошо, что около меня очутился Таген. Он был всегда жалкий, несчастный. В этих обстоятельствах я нуждался в обще-

стве несчастных. Уныло распеваемая пресекающимися дискантами в глубине процессии Марсельеза была аккомпанементом, как нельзя лучше подобранным. Все было вкось и вкривь, но в движении. «Куда это мы?» — спросил я Тагена. «Ах! Ты не знаешь? — удивился Таген и скоро, скоро своей тряпичной тканью немецких и русских полуфраз протер мне глаза, — Рис (это) нихт (не) демонстрацион — фил, фил шлимммер (гораздо, гораздо хуже) — это Суд!» Это действительно была судебная процессия. Такие бывали в древние века, да и в наши времена в экзотических странах. Весь народ построен в колонну, чтобы представить своих обвиняемых врагов всенародному судилищу и чтобы, если приговор будет постановлен, привести его тут же в исполнение. «Рис, — объяснял мне Таген, — ист (есть) революционерес (революционный) Трибуналь». Мы мало-помалу добрались до середины обширного пустыря. Меня злило, что Тагену как будто дела не было до смертельной опасности, грозившей уже и так почти до смерти замученным немецким родичам его. «Не трибуналь, не наль, а нал», — поправил я с раздражением его дурное произношение. «Гану эгаль (все равно), — сказал Таген, — они потом тотшлаген (убьют) все немцы, а также, — поспешил он прибавить, — алле юдн (всех евреев)». Вот тебе на! — зарегистрировал мой двойничок-наблюдатель — есть и такие революционеры — от ликующего злорадства; такой революционери: мой Таген; сегодня он не несчастен, а прямо счастлив: пусть гибнут Ган и Тоффель и все немцы вместе с тетками Шпехт, и с ними заодно Эрнст Таген, лишь бы пришел конец его вечному унижению, порке, которой он подвергается дома каждый раз, когда возвращается из гимназии с двойкой... Сколько раз я слышал от него об этом, а теперь вот лицом к лицу с ужасной расправой, грозящей Гану, ему больше не жаль самого себя, он чувствует себя равным «всем немцам», а также мне, первому ученику в классе, одному их «всех евреев» — революция, мол, нас всех перебьет, да здравствует Революция! Я остановился, как примагниченный.

Со мной произошло нечто странное. Мне впервые захотелось не быть, умереть, быть убитым. Таген открыл передо мною мир с новой стороны, и я увидел себя самого по-новому. Может быть, красная летучка на подоконнике сигнализировала, что во мне самом есть кровожадность, жажда крови, жажда пролить собственную кровь, лучше всего в период всеобщего кровопролития, который называется революционной эпохой, ныне постигшей меня в Пернове вот здесь, на этом лобном месте. Пустырь, куда привели наших полицейских офицеров в торжественной процессии с ярко-красными флагами, вполне заслужил это старомосковское имя. У края его, прямо передо мною, высилась наскоро сколоченная трибуна (отсюда тагеновский «революционный трибуналь»). На ней — небольшой стол, около которого суетилась кучка людей с револьверами и какими-то бумагами в руках, а ниже, у самой трибуны, как будто прибитые к ней гвоздями, ни живые, ни мертвые, наперед приговоренные к казни «подсудимые». Весть о предстоящем небывалом зрелище, по-видимому, распространилась не только по всему городу, но и в его окрестностях. Со стороны Вальдгофа народ валил густыми толпами, но появились также вблизи меня десятки гимназистов, с примесью гимназисток, торговцев и сонных домашних хозяек. Меня прохватила дрожь. Что я тут делаю? Мне с новой силой захотелось не быть, быть убитым. А что если бы я предложил Трибуналу вместо пристава застрелить меня? Где-то, мне вспомнилось, я читал про нечто подобное. Я стал протискиваться вперед. «Что ты тут делаешь?», — спросил меня вдруг по-немецки Пиар, товарищ брата по классу, которого я уже успел заметить среди гимназистов, перескакивающих через канаву, отделявшую пустое поле от мощеной улицы сбоку. «Уходи, не медли и скажи другим гимназистам.... Тут будет стрельба!» И барон Пилар фон Пильхау, чтобы помянуть его полным именем, бросился со всех ног, а он отличался быстрым бегом, в сторону женской гимназии, начальницей которой была его тетка. Если бы не он, мое внезапно пробудившееся революционное желание

раствориться в мироздании могло бы, пожалуй, тогда же осуществиться.

Всенародный суд обещал между тем превратиться в грандиозный апофеоз революции. Какие-то неизвестно откуда взявшиеся «десятские» с красными лентами на руках стали строить толпу в ровные ряды, деля ее для чего-то на отряды военного вида. «Это будет, — сказал один из них на сносном русском языке, — это будет последний и решительный бой». Мне это ужасно не понравилось. Наблюдатель во мне готов был расстаться с присущей ему бесстрастностью: «Что за глупая игра в солдатики!» — подумал он. Иное дело — «деятель». Это, решил он, тоже с критикой, отступление от принципов марксизма и требует предварительного обсуждения; в народном восстании уместны баррикады, но милиция может быть мобилизована лишь после того, как оборудованы арсеналы. Мне мерещилось, что этому учит где-то Лассаль. Но через секунду я забыл и о Марксе, и о Лассале. На тротуаре, с той стороны канавы, я заметил среди толпящихся зрителей Наташу Макарову, как почти всегда, с младшей сестрой Настей. Я испугался. Ведь «будет стрельба», сказал Пилар, надо их поскорее предупредить. Пилар и Наташа как бы сговорились предохранить меня от шальных пуль.

Я бросился к раю поля и одним прыжком одолел широкую канаву. Сестры Макаровы рассеянно кивнули мне и снова вперились взглядом в сторону трибуны. «Надо немедленно уйти!.. Скоро будет стрельба...» — сказал я им, с трудом переводя дыхание. Младшая удивилась моей бесцеремонности и перевела вопросительно взгляд на старшую. Та надменно мотнула головой, поправила черные косы, сплетенные над шляпкой, и, не отводя глаз от лобного места, пренебрежительно бросила в мою сторону: «Что вы хотите? Это революция!» Предчувствуя недоброе, я тревогой тоже обернулся в сторону трибуны. Там творились «ужас и безумие», — промелькнула у меня в голове цитата из «Красного смеха» Леонида Андреева. Пристав Ганн был либо уже мертв, либо в глубоком обмороке, и несколько человек втас-

кивали его на возвышение, как тяжелое бревно. Казалось, что возня вокруг драгоценного груза тянется уже битый час. Лица я не мог видеть, но тем мучительнее было смотреть на расплывавшиеся по всей шинели красные пятна, перемежающиеся с бликами грустного осеннего солнца. На глаза мои навернулись слезы, и я терзался, как никогда с самого раннего детства. «Боже мой! — рвалось восклицание из содрогающегося сердца. — Какая она жестокая!» — Кто «она»? Наташа? Революция? Или может быть, вся жизнь человеческая?

В этот самый миг, когда на площади собирались пустить приставу пулю в лоб, а я ощущал во всем теле неотвратимый приступ судорог, раздался внезапно и решительно для всех неожиданно непривычный, протяжный, мелодичный звук, многозначительный и грозный. Это заиграл военный рожок; это был сигнал, истари возвещавший в армии готовность к бою. И действительно — шутки в сторону — на проезжей дороге из Вальдгофа, по ту сторону запруженной народом площади показались солдаты в походной форме, ускоренным маршем приближавшиеся к месту действия. Ротный командир впереди махнул белым платком, и рожок снова заиграл, еще более протяжно, еще более грозно. Толпа на площади бросилась врассыпную. Трибуна опустела. Валявшийся на ней пристав задвигался; даже помощник его Тоффель, опрокинутый на землю, делал усилия, чтобы стать на корточки. Наконец-то я сообразил, о чем предупреждал нас Пилар. А военный рожок продолжал свое дело и неумолимо протрубил в третий раз; после этого, я знал, раздастся команда «Пли!» и — «будет стрельба». Она фактически уже началась. С противоположной стороны площади что-то прокатилось, просыпалось, разрядилось — не то отдаленный гром, не то залп крупными тарарахающими орехами. Иначе как было понять, что многие из бегущих стали ни с того ни с чего спотыкаться, припадать с криком на колени, а не то и вовсе протягиваться во весь рост на траве, на сырой земле, на красных полотнищах флагов. Среди поваленных выделялись там и сям очертания тел в серых гимназических шине-

лях. Убитые? Раненые? Я смотрел, смотрел, смотрел. Наташи и Насти около меня не было, да и вообще никого не было, между тем, как боевая рота молодецки прошла к самой середине пустыря и, став лицом к железнодорожной станции, под команду «На плечо!» замерла, ошетилившись винтовками. Снова заиграл рожок, на этот раз коротко и торжественно. Сражение, значит, кончилось полной победой, а продолжалось-то оно всего на всего пять минут. Что мог сказать я — «деятель», я — «наблюдатель»? Я мог только пожалеть, что из-за расторопности представителя молодого поколения древнего рода Пиларов фон Пильхар я был лишен многообещающего шанса повести свой собственный счет с революцией.

В эту пятницу, с самого начала потерявшую направление, я вернулся домой в глубоком и грустном раздумье. Конечно, я был доволен, что полицейские были в самую последнюю минуту спасены от верной смерти. Какой, однако, ценой! И разве солдатские пули разбирались между кровавыми мстителями и любопытными зрителями? Что дальше будет? Навряд ли у меня будет скоро снова шанс попасть под пулю. Последняя догадка была совершенно правильная. В перновской революции наступил перелом. Больше никаких публичных судов в городе не затевали, гимназистов распустили до срока на рождественские каникулы, Всенародный Комитет поредел и стал реже собираться, и даже Гаген, повстречавшись мне на улице, пожаловался, что его тетки Шпехт завели новую плетку из просоленной кабаньей шкуры, чтобы больнее драть его, когда возобновятся занятия в гимназии. Было несомненно, что уже начались, по крайней мере, в Пернове, предсмертные судороги революции. Гимназия потеряла троих убитыми и около десяти ранеными.

В рассказах Тагена и других, не хуже его осведомленных гимназических товарищей, мне открылась вся подоплека нашей кровавой пятницы. Мне необходимо было понять, почему и как погиб мой одноклассник, очень скромный, очень

нуждающийся, но щепетильно опрятный православный эстонец Парсман, а также — почему и как совсем не пострадал я сам (брат был в это время увлечен более отвлеченными темами и хотел поскорее пробиться в Москву). И вот что я узнал.

С самого начала всероссийской забастовки дальновидные немецкие помещики и коммерсанты решили мобилизоваться. Это они, пользуясь своими связями в столице, уже гораздо раньше выписали для охраны образцового лесопильного завода Вальдгоф, да и не только его, готовую к контраступлению регулярную роту пехоты. Это именно ее командир и стал ухаживать к концу лета за привлекательной женой директора гимназии, чтобы стать своим человеком в лучшем городском обществе и сверх того, держать под наблюдением ее мужа, подозрительного по симпатиям к революции. Были приняты меры и технического характера. Мадам фон Бэт Линч, начальница женской гимназии, сохранила в секрете, что из ее личного директорского кабинета проведен прямой провод в кабинет директора лесопильного завода, приютившего боевой отряд. Когда город, как и вся Эстония, стали обособленными обломками Империи, решено было, что нормальное начальство должно на время стусеваться, чтобы дать, как говорил эстонец Якоби, «гнили и гною свободу воли вытечь наружу». Манифест 17-го октября спутал карты. Полиция попала на удочку, закинутую со своего же берега, и в результате легко могла быть истреблена. Революция, однако, сама себе подставила ножку: пристрастие подонков, околдованных ею, к кровавым зрелищам побудила их подстрекателей передать попранных «врагов народа» публично пытке и казни. Злодеяние не было доведено до конца только благодаря тому, что заблаговременно приняты были решительные меры. Молодежь, воспитанная чуть не с пеленок на балтийских традициях, зорко следила за всем, что происходит в городе, и как только затея о Революционном Трибунале под открытым небом стала известна, тотчас же было принято решение воспользоваться преступным планом, чтобы

отбить у «дикарей» надолго всякую охоту подниматься на дыбы.

Со свойственной ему смелостью, наш гимназист Пилар взялся привести обоюдоострое решение в исполнение. Тут все зависело от точного расчета. Надо было оставить время для скопления народа на пустыре; надо было предупредить «своих» о грядущей опасности; ведомых на заклание Гана и Тоффеля надо было уведомить, что они в последнюю минуту будут спасены, и, наконец, военная сила тоже должна была, для пущего эффекта и самооправдания, вступить в действие лишь в самый критический момент. Ротный командир на все согласился. Утверждали, что он имел в виду убить своим пиф-пафом бунтующего и своего частного «зайца». Но осталось неясным, метил ли он при этом в одного Василия Евлампьевича Попелищева, директора, или же в учеников и учителей «развращенной гимназии» вообще. Как бы там ни было, но когда Пилар самолично убедился, что в толпе «своих» совсем почти нет и многие предупреждены, между тем, как на трибуне дело близится к развязке, он бросился опрометчиво к телефону своей тетки и дал ротному командиру условленный сигнал. Молодой барон Пилар, ученик шестого класса Перновской гимназии, не гордился впоследствии своей исключительной ловкостью в выполнении сложного плана, но и ничуть не стеснялся своего содействия кровавой бане. «Революция, — сказал он позже брату в моем присутствии, — есть война, а на войне надо по-военному, *à la guerre comme à la guerre*».

Возможно, что Пилар, действительно, спас мне жизнь в ту роковую кровавую пятницу, но он уже не мог спасти меня от моего нежелания жить. Вернее, факт, что я остался живым в день, когда передо мною валялись трупы, среди которых мог бы валяться мой собственный труп, настолько обесценил в моих глазах существование человека на земле, что я стал больше, чем когда-либо раньше, полагать свое упование на сверхчеловеческие и сверхприродные силы. Но как же жить при этом на земле?

На земле дела шли своей чередой, как до, так и после кровавой пятницы в Перново. Прибывавшие газеты сообщали, что во всей стране свирепствует небывалая эпидемия погромов; что в разных концах России избивают не только евреев, но и интеллигенцию; что кратковременное торжество революции сменилось глубоким трауром по ее жертвам. Период уступок сверху кончился — правительство перешло по всей линии в атаку. Неподготовленность, нерешительность, неопытность — роковые недочеты, которые обнаружались в судорожной деятельности наших «перновских борцов за свободу» и отразились в моей собственной судорожной раздвоенности наподобие вулканического взрыва, отражающегося в треснувшем карманном зеркальце, — все это было характерно для всей русской революции в переходном ее возрасте. Революционные настроения везде воспринимались за свершившийся сдвиг, за начало неудержимого движения. Однако, как у нас в Перново, так почти везде, решительный отпор убивал приподнятое настроение наповал и превращал его в беспомощную удрученность. Кое-где, совсем, как у нас, взрыв вызывался с заранее обдуманном намерением, чтобы дать пузырю поскорее лопнуть. Так дело соскользнуло с плоскости идей и программ в область военных действия. Погромы предвещали их, как авангардные стычки предвещают генеральное сражение. И вот вослед за ними, без формального объявления войны правительство снарядило армию в поход против взбунтовавшихся народов России, не исключая народ русский. Отдельные части этой перешедшей в наступление армии назывались «карательными экспедициями».

Одна такая экспедиция должна была заново покорить, покарать и усмирить восставший эстонский народ. Ее главным начальником был свитский генерал князь Орлов, командир лейб-гвардии уланского полка. В то время как в Москве волнующееся население, разочаровавшись в бездействии, в забастовке как в наиболее верном средстве борьбы со «старым режимом», стало строить баррикады и водру-

зило знамя «вооруженного восстания», на окраинах империи и в крестьянском ее океане вооруженной силе сверху нечего было противопоставить, кроме вил и дубин в голых руках. В Эстляндии с ее протестантским, воспитанным в покорности деревенским населением, поход гвардейской кавалерии из Петербурга естественно стал забавнейшей «прогулкой». Именно — донельзя забавной. Еще до того, как уланы вступили в «освобожденный Пернов», мы уже знали, что предстоит городу и окрестным селениям. Очень взволнован был наш директор Попелищев.

Сидя, несмотря на мороз, у взморья, перед кургаузом и застывши в нескончаемом раздумье о том, кто прав, кто виноват, я вдруг увидел перед собою, в меховой шапке и в шубе с поднятым меховым воротником, все того же улыбающегося Василия Евлампьевича. Что-то он теперь скажет? От неожиданности я даже не приподнялся, и он поспешил сесть на заиндевшую скамейку рядом со мной. «Я должен дать Вам кой-какие направления, — начал он, слегка прищурившись, — а вы передайте другим...» И, торопясь, скороговоркой, он обрисовал «положение дела...». Покуда он говорил, хотя дело было из рук вон плохо, я не мог заметить, каким выразительным стало лицо его за последние месяцы. Отороченная кругом темным бобровым мехом, голова его напоминала нечто прочно запомнившееся мне из моего детского зоологического атласа; больше, чем когда-либо в темно-карих глазах его из-под густых бровей светилась та ласковость, которая очаровывала меня на картинке молодого льва, охраняющего свою львицу с ее шаловливыми львятами. Верно, в мягкой походке директора, в округленных жестах его рук, в легком наклоне головы [уже] всегда чувствовалось благорасположение и ласковая заботливость. Но еще никогда это не действовало на меня с такой неотразимой выразительностью, как если бы только теперь, в результате последних событий, Василий Евлампьевич стал вполне самим собою. А причин для этого было сколько угодно.

«Карательная экспедиция» была в двух переходах от города. Директор не сомневался, что они будут расправляться с городскими бунтовщиками не менее свирепо, чем с вышедшими из повиновения крестьянами и батраками. Их вешали, расстреливали, а главное — пороли десятками и сотнями, даже тысячами. Известно, что ротный командир, ответственный за кровавую баню около вокзала, чтобы отвести от себя нарекание в превышении власти, на всякий случай приготовил подробное донесение «О перновском вооруженном бунте», в котором, по его утверждению, наша гимназия играла важную роль. Обо всем этом директор узнал от своей вернувшейся в директорскую квартиру жены, и они вдвоем наладили для спасения гимназии свою собственную «экспедицию» — спасительную. Полковник пограничной стражи Раевский, отец нашего соученика, и другие русские горожане в чинах вместе со старообрядцами с их старостой Макаровым, отцом Наташи, всецело поддерживали их. Надо было, чтобы гимназисты сами не дали маху. Вот поэтому-то, увидев меня, Василий Евлампьевич так обрадовался: «Я полагаюсь на Вашу смышленость, — сказал он, положив руку дружески мне на плечо, — и на то, что Вы не эстонец, не немец, и не русский: Вам легче поверят...». Мне от всего сердца захотелось как-нибудь помочь делу директора и его вернувшейся жены, да и гимназии было жалко. В ту минуту я еще не сознавал, что я и сам был в немалой опасности.

Надо было, объяснил мне Василий Евлампьевич, в случае чего, представить кому следует эпизод с гимназическим самоуправлением не как проявление революционной дерзости, а наоборот, как удачную попытку противодействовать ей. «Имейте в виду, — внушительно помахал директор перчаткой, — в доносе все участники гимназического Комитета Спасения перечислены поименно. Могут быть домашние обыски. К этому надо готовиться, и чтобы больше не было никаких «кружков». Преподавательский персонал будет иметь твердую опору в русском населении, и чего бы там ни настроил штабс-капитан Ярыш (имя ротного командира),

но вот за таких, как Вы, я побаиваюсь.... Но ничего, не падайте духом — у Вас много козырей!» Он встал. Встал и я, взгляделся в львино-ласковое лицо нашего общего заступника и поспешил домой, чтобы, не откладывая, подготовиться к обыску.

К великому моему изумлению, я нашел дома целое собрание. Отчасти это были завсегдатаи нашего кружка «Единение» (кроме первейшего нашего «социал-демократа» Иссера Рабиновича, уже до октября бесследно испарившегося), а отчасти — новые гости, среди которых выделялся Станислав Крыжановский, сын главного инженера Перновских подъездных путей. «Стась» был известен как лучший танцор в гимназии и как хитроумный изобретатель злых издевательств над преподавателями со слабым сердцем. Это он прилепил было однажды зимой перед уроком истории к потолку над самой кафедрой большущий обледенелый ком снега, из которого стали капать прямо на лысину добрейшего А. А. Исаева, едва он начал объяснять значение реформ Петра Великого, крупинцы тающего льда; однако когда оказалось, что поклонник «вечного работника на троне» не обиделся и не разозлился, а лишь огорчился, Крыжановский тут же признался в своей проказе и стал просить прощение. «Бог простит», — сказал, протирая очки, Алексей Александрович, и с тех пор оба они, выпивавший наставник и подтанцовывавший Стась, срослись в моем представлении как соавторы коротенькой пьесы-экспромта с трогательно-наравоучительным концом. С какой же новой выдумкой явился теперь к нам Крыжановский? Кого он собирается огорчить, перед кем повиниться? Тут я должен сделать отступление, без которого связь между предыдущей и последующей частью моего отчета о Революции легко могла бы быть утеряна, в то время как в прочности этой связи, в сущности, вся-то суть дела и заключается.

4. Террор

Заглядывая вперед, скажу сейчас, что Стась пришел к нам в сопровождении единомышленников, чтобы увлечь брата, меня и прочих членов нашего кружка к участию в подготовке убийства генерала Орлова, уже упомянутого начальника свирепствовавшей в Эстляндии «карательной экспедиции». Именно для того, чтобы понять, как на исходе 1905 года подобная мысль могла прийти в голову гимназисту-проказнику и каким образом другие гимназисты посерьезнее дали себя увлечь в подробное обсуждение плана покушения, именно для этого необходимо наскоро перелистать словарь и историю революционного движения в России в начале XX века. В тот же день, когда экспедиция флигель-адъютанта генерала Орлова находилась всего в «двух переходах» от Пернова, как сообщил мне директор гимназии, и я, и большинство наших приятелей у нас в гостиную знали и непосредственное прошлое Революции, и ее словарь назубок. В нем, в этом неизданном произведении революционной лексикографии почетное место занимал термин «террор». Согласно точному его определению, террор означал употребление смертоносного оружия против присужденных тайным революционным судилищем к смертной казни саванников, несущих прямую ответственность за «преступные» действия правительства против народа. Такие убийства именовались террористическими «актами», и организации, подготовлявшие их к исполнению, принимали полную ответственность за них и гордились ими. «Беззакониям и преступлениям» сверху они противопоставляли свой закон революционной морали и «заслуженную кару» полагали снизу. Так, на моей, тогда еще столь короткой памяти, был «наказан» министр внутренних дел Сипягин студентом Балмошовым, министр народного просвещения Боголепов — студентом Карповичем; министр внутренних дел Плеве — Егором Сазоновым, Великий князь Сергей — Иваном Коляевым, поэтом и близким другом другого поэта и руководителя боевой организации Партии социалистов-революцио-

неров Бориса Викторовича Савинкова. Имена перечисленных здесь «террористов», кончивших в большинстве на виселице, все без исключения находили свое место в Словаре революции и почитались как святые мученики. Правда, шел неумолчный спор между марксистами социал-демократами и идеалистически настроенными народниками социалистами-революционерами о целесообразности «террора» как средства борьбы с самодержавием — спор, нашедший живой отклик и в нашем гимназическом кружке «Единение», но и противники «террора» в революционном лагере не ставили под вопрос нравственное право революционеров поднять руку на запятнанных народной кровью царских слуг. Мученичество, почти неизбежно связанное с террористическими актами, придавало самоотверженной деятельности служителей революционного правосудия с самого начала характер религиозного подвижничества и очень часто внушало даже их врагам и жертвам безграничное уважение.

Не будь этого знания в годы переходного возраста революции у столь многих из нас, наш директор не мог бы оправдывать исторически царубийство и вообще приветствовать движение, одно из крыльев которого превозносило и проводило революционный «террор». Не будь у столь многих из нас под рукой «Словаря Революции», хотя бы в карманном формате, Станислав Крыжановский не решился и не осмелился бы прийти и предложить среди бела дня в присутствии полужнакомых лиц план убийства генерала, для выполнения которого он почему-то особенно пригодными считал своих еврейских товарищей по гимназии. Не могу, с другой стороны, допустить, что своим поведением Стась олицетворял другое явление, тоже включенное в наш Словарь революции, но прямо противоположное «террористу», а именно «агента-provокатора» — разве что он был бессознательным орудием в руках какого-то менее легкомысленного и шире смотрящего на вещи «борца за народ», как называл неоднократно в этом «совещании» самого себя Станислав.

План был простой. Слишком простой. Вступив в город, генерал проедет верхом на своем белом коне по главной лестнице. Вот тут-то он и попадет. «Террористы» с заряженными револьверами займут удобные места и на тротуарах, и у окна в благонадежных квартирах. «Один промахнется, — размахивал Стась своим браунингом в воздухе, — другой попадет...» — «Погодите, — прервал его Левенталь, увлекавшийся сионизмом, — а почему ты хочешь, чтобы все стрелки были евреи?» — «А просто, — ответил Стась, — я хотел бы, чтобы все были католики, но яко ж нас мало и вера наша против человекоубийства...» Тут завязался жаркий богословский спор, и весь план рухнул. Но эхо его еще долго оглашало нашу просторную квартиру.

Брат, который издавна был почитателем «настоящих революционеров», т.е. тех, которые признавали «террор», не мог успокоиться: перспектива лично участвовать в «террористическом акте» ему казалась залогом высшего достижения. И [...]

III. Дневник как проза и проза как дневник

[Списки]
Diary 14⁷⁴

Среда, 20-го января 1965 г.
London, N.W.3 80 Eton Place
Eton College Road
tel: Primrose 9311
5 pm

* * *

Запись I-ая в новейшей серии (20.I.1965)

Возобновляю записи в «Дневник» (необычного формата, но вполне соответствующего необычным обстоятельствам моим). Начну с обстоятельств внешних: после очень длинного промежутка у меня с этого лета снова «свой» письменный стол (со многими выдвигаемыми ящиками, подходящими даже для листов этого формата), квартира наша снята на 5—7 лет, а так как мне идет 74-ый год, то я предполагаю, что это моя последняя земная обитель, и я хотел бы держать ее в порядке не только в смысле пространственном, но и в смысле временном, т. е. в отношении течения жизни одного, по крайней мере, из двух ее обитателей. Второй и главный для меня обитатель ее — Соня, но она не любит дневников, неохотно заглядывает вперед и не любит оглядываться назад.

⁷⁴ SC. Box VIII.

Таким образом, я здесь единственный хронограф и не могу уклониться от исполнения прямой своей обязанности.

Во-вторых, пишу по старой орфографии, как и все «прежние авторы» моих дневников (начиная с 15-летнего возраста), хотя могу, когда нужно, сообразоваться с «орфографией» новой. «Авторы» во множественном числе — не описка, а тезис, который, пожалуй, разъяснится, если эти записи будут благополучно множиться. Ограничусь сейчас лишь намеком: соблюдая верность себе и приятельнице детских лет — милой букве Ъ (ять) — я все же не могу не видеть, что я ныне сильно отличаюсь хотя бы от автора тетрадки, вчера случайно найденной с записями в Берлине за 1931—1932 гг., которая, кстати, дала толчок к возобновлению письменных рассуждений о самом себе и для самого себя. Между тем, тут расстояние всего лишь в одну треть века (1965-1932=33!), моя же память, хорошо сохранившаяся, захватывает две третьих столетия с лишком. Как же могу я смотреть на себя как на одного и того же автора в числе единственном? Само собою, память объединяет и сводит многообразие лиц, в которое преломилась моя жизнь, к какому-то общему знаменательному корню, но докопаться до него — нелегкая задача, и этой работе пусть будет посвящена отчасти настоящая серия записей. Говорю коротко: хочу обозреть течение жизни в ее несомненном единстве.

Несмотря на то, что я покинул Россию в последний раз в конце 1922 года, а последние 30 с лишком лет живу с небольшими перерывами в Англии, пишу по-русски, на языке моего общения и с Сонею, и, большей частью, с самим собою. Неслучайно моя последняя работа, написанная по-английски (с помощью Аси), посвящена Федору Михайловичу Достоевскому. Повторяю то, что я в свое время высказал в моем печатном ответе Льву Платоновичу Карсавину (в «Верстах»), а раньше, в 1920—1921 году, устно высказал Разумнику Васильевичу (Иванову-Разумнику), а именно, что, мол, не стоит спорить о том, русские ли русские евреи или евреи. Что в отношении «пишущего эти строки» верно то,

что он был и остался, хочет ли он того или не хочет, русским евреем. Говорю о себе в третьем лице для пущей объективности. И тут новый принцип единства: всегда стремился к объективной правде о самом себе, что может быть подтверждено документально всеми авторами моих дневников, начиная с 1907 г. Постараюсь их собрать и привести в хронологический порядок.

Запись II—ая, от кануна Субботы 22 января, 1965 г. 2.30 попол[удни].

Вчера не записывал, хотя и хотелось, продолжая составлять «Библиографию» к англ[ийской] книжке о Достоевском. Да и сейчас мало времени до наступления субботы (кстати, помимо русского языка и его старого дореволюционного правописания и помимо постоянного стремления к объективности в отношении самого себя, соблюдение субботы, в свою очередь — явный симптом сохраняющегося единства; объявятся и другие!). Запишу для памяти лишь краткий список списков, которые хотел бы составить, чтобы на досуге обдумать в подробностях каждый из входящих в них номеров или пунктов.

Первый из этих списков пусть будет посвящен моим оправдавшимся в действительности предсказаниям. Очень возможно, что владеющая мною способность предвидения и предугадывания — главная причина моей незаинтересованности — относительной, конечно, — в личном будущем и в собственных творческих замыслах. Они — тема второго «списка». Но сначала один пример из списка первого: в январе 1907 года, в Пернове, в состоянии полуболезненном, когда мне хотелось распрощаться с жизнью, я в полусонном полубреде, с закрытыми глазами, но в ясном самосознании стал после полуночи предсказывать вслух будущее Государства Российского. Брат стал записывать в присутствии младшей из сестер Островских, Мины Моисеевны, и тетрадка его сохранилась до нашего гейдельбергского периода (еще

в 1911 г. я перечитывал ее в Москве). В моем предсказании была такая подробность: в Учредительном собрании, которое соберется после победоносной революции, брат будет видным членом фракции партии социалистов-революционеров, что и исполнилось десять лет спустя. В начале 1907 г. ему шел лишь 19-ый год, а время было периодом глубокой общественной реакции после крушения революции 1905 года. Но делать правильные прогнозы с конкретным предсказанием отдельных событий я начал уже во время русско-японской войны 1904—1905 гг. Если составлю наметенный «Список № 1», он даст мне возможность, так сказать, с документами в руках оценить значение одной из, по всей вероятности, весьма неблагоприятных способностей моих. Такое же значение могла иметь моя способность твердо помнить прошлое. Настоящее мое как бы «сплющивалось» меж будущим и прошедшим, меж молотом и наковальней.

Третий список пусть будет перечислением моих напечатанных работ, больших и малых, написанных мною на шести языках: по-русски, по-немецки, на идиш, по-английски, на иврите, а также по-французски (Замечу в скобках, многоязычие — тоже одна из сопровождающих меня «бед»).

Запись III-я от 27 января 1965 (среда, 6.30 попол[удни])

С вечера субботы, 23-го, порывался продолжать записывать, но нагромождались всякие препятствия. Кончина Черчилля (утром в воскр[есенье] 24-го) тоже сильно отвлекала. Образ его сопровождал меня со студенческих лет в Heidelberg'e. Ведь я уже тогда, в 1908-м и в следующие годы особенно, интересовался английской политической жизнью, и с тех пор Черчилль то и дело появлялся на ее первом плане. С прибытием в Англию из нацистской Германии, он стал чем-то вроде «героя» для меня, средоточием надежд, что «немецкий номер» не пройдет, и он действительно исполнил свою провиденциальную задачу. Эти последние дни я в уме и в длинных беседах с Соней старался подвести спра-

ведливый итог. Конечно, и медаль с изображением Уинстона Черчилля имеет свою обратную сторону, но, тем не менее, хронология, вычеканенная на этой сейчас затененной стороне, богата событиями, определившими направление многих индивидуальных биографий — в том числе, и моей — в провиденциальном смысле. Говоря грубо, дожили ли бы Соня и я до нынешнего дня, не будь у Англии в резерве этого потомка Мальбрукова, его бесстрашного внука? Об этом, мне кажется, я мог бы писать и писать, исписав больше, чем толстейшую тетрадь. Так пусть же эти строки будут знаком моей признательности Англии, выразителю ее духа и судьбе, связавшей меня с ними, хотя, говоря словами Лермонтова, «я не Байрон, я другой» и воспринимаю мир совсем не как воспринимал его Уинстон, мир праху его.

Прибавлю к этому сегодня для памяти, что «список №4», который я хотел бы составить, должен был бы перечислить начинания и предприятия — некоторые из них немаловажные — мною затеянные и осуществившиеся благодаря моей инициативе. Такова, например, Вольная Философская Ассоциация в Петербурге с 1919 г. или возмещение убытков еврейскому народу Германией из моей Лондонской программы в 1942 г. Я сам склонен смотреть на себя как на человека не деятельного, так пусть список моих дел и деяний пролетит объективный свет на функцию такого «характера», как мой, в рамках общественной деятельности широкого размаха.

Пятый список следовало бы посвятить вопросу «женскому». Он может разрастись в объемистую исповедь.

Запись IV-ая от 5 февраля 1965 г. Пятница, 2 ч. поп[олудни]

Дни бегут стремительно. За эти девять дней (я все еще не выхожу из дома) были здесь Гергарт Ригнер (из Женевы на пути в Нью-Йорк), в понедельник 1-го февраля, а вчера Мих[аил] Зильберберг, в связи с делами ИВО (YIVO), «президентом» Британского отделения которого я состою уже

несколько лет и одним из основателей которого я был в 1924 г. в Берлине (вместе с покойным Н. Штифом, И. М. Чериковером, «Великим Инквизитором» д-ром Ольшвангером — и с благополучно все еще здравствующим Як[овом] Дав[идовичем] Лещинским). Равви Михаил-Моисей Зильберберг провел здесь за чаем больше трех часов, безотчетно развертывая перед проникающим собеседником свитки своих «комплексов», перевитых суеверием и предрассудками. Мне это по-прежнему интересно. Все это обогащает опыт, в накоплении которого я ненасытен, как в детстве, в юности, в молодости, в зрелом возрасте, вплоть до нынешнего возраста, несомненно «преклонного». Это во мне, по видимому, наследственно, со стороны матери (ковенская бабка жадно продолжала «учиться» далеко за 80). В случае вчерашнем проявился, в частности, мой живой интерес к влиянию Римско-католической церкви в еврейской среде, особенно в Польше. То, что Зил[ьберберг] желает меня втянуть в издание писем Шолом-Алейхема его жене Матильде в сотрудничество с нею, имеет прямое отношение к этому. Но об этом у меня будет, пожалуй, отдельная запись.

Запись V-я, 10 февр[аля] (Среда), 5.30 поп[олудни]

Вчера, после долгого перерыва (по болезни) снова был в Бюро ВЕК'а (Всемирный еврейский Конгресс=WJC), как условился с Асей (Анной Григорьевной Соломонович-Клаузер), главной опорой в моем «Культурном департаменте», т. е. в Департаменте культуры. Публика хорошо встретила. Разговаривал и беседовал (в хронологическом порядке, т. е. между 3-мя — 5-ю) с: Джэк Винокуром, редактором «домашнего журнала» «World Jewry», с «Елизаветой Александровной» Эпплер, лингвисткой, как все венгерские евреи, с Mr. Джэксоном, обслуживающим Дом Конгресса, бывшим рудокопом, с которым меня связывает взаимная симпатия, с «д-ром» Франц-Лотаром Брасловым, нашим юрисконсультom, сотрудничающим теперь активно с Cult[ure] De-

part[ment], с Иосифом Linton'ом, бывшим израильским посланником в Японии, ассистентом отсутствующего А. Л. Истермана, главного спеца по делам международным, с Иосифом Френкелем, тоже помогающим своей журналистикой моему отделу и, наконец, с барышней при Асе, Дианой Эггерт. Еще утром звонила мне домой Lady Reading, член Конгрессного «Исполкома» по поводу богословских разногласий в британском еврействе.

Все перечисленное связано с темой «шестого списка»: дела, проведенные мною в течение моей службы в ВЕК'е, начиная с военных годов (1940 и поныне), включая большие поездки, как, например, две в Южн[ую] Америку, в Индию, три в Палестину («Израиль»).

Запись VI-ая, 7-го октября (!) 1965,

в Британском Музее, после возобновления билета, срок которого истек сегодня, после вчерашнего поста, целиком проведенного в нашей Hampstead'ской синагоге. До всяких смягчающих вину (воздержания от писания) обстоятельств, надо перечислить «верстовые столбы» с 20-го февраля (больше 7 ½ месяцев) на так называемом жизненном пути. Постараюсь сделать это еще сегодняшним вечером, а сейчас надо торопиться в ВЕК (Дом Конгресса на 55, New Cavendish street).

[О зависти]⁷⁵

Настоящая! На 15 сент[ября] 1970 г. Глубоко в Эдуле⁷⁶!

Едем дальше, как ни в чем не бывало. Сколько пережито и передумано за эти четыре с половиною месяца — не перечислить, не обобщить. И людей вокруг меня было значительно больше, чем в среднем в период свободного движения по

⁷⁵ SC. Vox VIII.

⁷⁶ Последний месяц еврейского года, месяц покаяния и милосердия.

городу — по городам и странам⁷⁷. Очевидно, «еду дальше», но вместе с тем, остаюсь ближе к собственному прошлому со всеми его закоулками и прибаутками. А широчайший интерес к мимотекущему почти не ослабевает. Как тут справиться? Возобновляю запись по принципу «как попало».

30-го августа, в воскресенье, была у меня «Женя» (Евг[ения] Бор[исовна] Гурвич, за которую я молюсь) с гостем своим, Виктором Юльевичем Ауэром из Нью-Йорка. Передавая поклон от своей мажордомки (бывшей?) Мэри Труман, Женя сказала, что, как и все, меня «любит». С опытом последних недель в запущенных садах литературы на идише, я воскликнул: «О, нет! У меня очень много врагов...» — «Это, — сказал Витя, — оттого, что Вам, вероятно, многие завидуют. Есть чему позавидовать» — «Откуда у Вас такой опыт?» — удивился я и тут же вспомнил, что слышал в Нью-Йорке в 1947 г. по поводу его чистого русского произношения и что я сам думаю о страхе людей не встретить «взаимности» в ненависти, как в любви. Это следует рассказать и пояснить, а затем проверить на своем опыте.

11 рп с 16-го на четверг 17-е сентября

Не случись так, что в день отъезда Вик[тора] Юл[ьевича] в Нью-Йорк, в четверг 3-го сент[ября] я получил бы от его сестры (Полины Юл[ьевны] Ошеровой) ее сочинения о музыке, а сегодня — ее письмо из Нью-Йорка, в котором она упоминает вскользь «Софью Владимировну», в то время как тут, в номере 81-м, открылась неожиданно снова возможность писать «сереньким пером» моей покойницы, которую редко кто при мне упоминает, я, может быть, еще долго не принялся бы за продолжение рассказа о «Вите» и его опыте в дебрях завистливости. Но нашедшееся как раз сегодня «серенькое перо» само употребление его превращает писание в поминальную молитву. Уже несколько часов, как я жду, когда,

⁷⁷ «Свободное движение по городу» (Лондону) было ограничено в связи с усилением в 1970 г. столкновений между полицией и Ирландской Республиканской Армией.

наконец, можно будет вести этой серо-скромной старенькой ручкой по разлинованным страничкам записной тетрадки. Вожу ею сейчас и испытываю благородную радость. Дай Бог, чтобы так было и за делом. А «делу моему теперь пришел Эдул».

Итак, за дело! Виктор Юльевич, весьма обруселый актер-любитель, в 47-м году при нас на Бруклинской квартире своей сестры охотно коверкал русские слова, и особенно их произношение и всю интонацию речи наподобие того, как русские актеры-комики издевались над разговорным языком привыкших к своему исконному жаргону «жидов», предпочитающих изъясняться по-русски. Нас коробило: неужели брат благороднейшей Полины Юльевны занимается увеселением черносотенных русских эмигрантов в Америке таким дешевым юдофобским фиглярством? Виктор Юльевич почувствовал наше слегка брезгливое недоумение и поторопился наперерез нашему неприятному впечатлению.

— Вы думаете, что это я нарочно шепелявлю, картавлю, размахиваю руками? Для комического эффекта? Ничуть! Это уже стало навязываться само собою. А виноваты сами еврейские клиенты моего шурина, с которым я в компании... Сначала я говорил с ними, как всегда говорил, вот как сейчас с вами. Так представьте себе, они стали обижаться. Один довольно умный делец вдруг меня однажды оборвал сердитым вопросом: «А вам совсем не стыдно во всякое время надо мною насмехаться? Что вы это хотите показать, что вы умеете хорошо говорить, как настоящий кацап, а я нет? Так-таки будьте себе кацапом и юдофобом, а я — нет, я останусь, как был — простым и честным евреем...»

— Я, — продолжал «Витя», — просто опешил и прозрел. Я вдруг понял, что все они относятся ко мне недружелюбно, потому что я, по их мнению, горжусь своим чистым выговором, а их, с их дурным и безграмотным русским языком, не могу не презирать... Одним словом, я их непрерывно обижаю своим превосходством, непрерывно раздуваю в них зависть своей чистой речью, а отсюда — неприятие, злоба и да-

же, если хотите, ненависть... Так невозможно развивать деловые отношения. Тут либо — либо.

Когда Виктор Юльевич дошел в своем рассказе до этого своего «либо-либо», я стал уже догадываться, до какого средства в свое время додумался, но, тем не менее, повторил вопросительно: «либо-либо»?

— Ну да! Либо отказаться от дел с недвижимостью, либо уступить дельцам и приспособиться к их дурному произношению... Вот до чего может довести зависть! А теперь это уже дурная привычка. Простите!

Воскр[есенье] 27-го сент[ября] 1970 г., 17.30 поп[олудни]

(Опять серенькой ручкой после ухода «ИВ-иковых» людей⁷⁸)

Продолжаю что начал «на 15-ое сентября» (стр. 9) в день отъезда обратно в Америку С. Н. и Ф. Я., прощального разговора по телефону утром в 10 ч. Упоминаю об этом в данном случае потому, что замечание Вити о зависти могло бы быть ключом к загадочному игнорированию моих «идей» о сути еврейской веры и писаний моих и моих друзей (например, покойного Леона Roth'a) со стороны бывшего ученика с 1914 г. «Сени»: зависть от боязни поскользнуться в сострадании, в соперничестве, в соревновании, а также в боязни второй степени — в страхе признаться самому себе в неблагоприятном чувстве. Примеров такого отношения ученика к учителю много, хотя бы того же N. Hartmann'a к Когену или земледельца Каина к скотоводу Абелью (земледелие, как известно, следует за сознательным разведением скота). Нередко, как в мифологической морали, зависть переходит в ненависть, и льется кровь братоубийства. Недаром сохранилась еврейская поговорка: «Всем люди завидуют, но отец не завидует сыну и учитель ученику». Отсюда следует, что ученик может завидовать учителю и что это так же легко возможно, как невозможно обратное; есть слово «отцеубийство, но нет готового термина для убийства сына. Талмудиче-

⁷⁸ От «YIVO» — Институт еврейских исследований.

ское узаконение о праве самообороны отца против подкапывающегося сына, но не наоборот, можно распространить также на столкновение учителя с учителем. Однако добиться толку во всем этом вчера за этим столом по окончании субботы с гостями из Америки было бы невозможно из-за боязни признаться самому себе в дурных чувствах. Я поступил, как и Витя, и перенял для виду дурное нравственное «произношение». Но это еще не самое плохое.

Гораздо хуже как будто то, что сознающие свои дурные чувства иногда боятся признаться в них тем, к кому дурно относятся, из опасения, что не встретят взаимности. И это следует подчеркнуть как один из источников, мало заметных, моральной заразы. Когда кто-нибудь боится признаться в любви из страха быть отвергнутым, не нашедшая выражения любовь грозит несчастно влюбленным крушением личности и даже смертью от собственной руки. Навряд ли, однако, можно представить себе общественность, разлагающуюся от эпидемий обреченной на молчание любви. До недавнего времени в наших широтах почти везде женщины были в таком положении из боязни нарушить приличия, почин в признании все равно привел бы к взаимному признанию или к отклику, подобному онегинскому ответу на письмо Татьяны. Тем не менее, жизнь шла своим чередом и довела нас до уравнивания женщин в правах, в частности, в праве объясниться в любви с половиной мужской. Иное дело — объяснения, вернее, боязнь объясниться — в ненависти.

Народы, классы, и расы, охваченные пароксизмом ненависти, громко провозглашают свои злостные чувства и не сомневаются, что встретят, вызовут, обнаружат взаимную ненависть. Страх потерпеть «неудачу» в этом отношении между особями редко подмечают, его подводят под категорию лицемерия и под знаменитую формулу Ларошфуко о дани, приносимой пороком добродетели, формулу, снабженную мною много лет тому назад примечанием: предпочитаю порок, приносящий дань добродетели, добродетели, принося-

пей — как ныне! — дань пороку. Но оказывается, дело сложнее, и мой опыт этому меня научил.

Большинство ненавидящих меня людей — пусть из-за зависти — боялись в этом признаться из опасения, что я не стану платить им той же скверной монетой и тем еще больше раздую пламя зависти, терзающей их сердца, создавая так нескончаемый запас горючего для их ненависти. Тут верховенство добра порождает зло, и зло, быть может, отравляет, таким образом, общество ядом, против которого еще нет противоядия. Надо эту диалектику зла разобрать до точки, особенно в эту неделю перед Покаянием.

<...>

Уже 2-е февраля, на вторник, 10 час. вечера. «Вехи» были вчера расставлены, но уже с закрытыми глазами, перед сном.

За последние две недели были тут у меня посетители из Нью-Йорка, Оксфорда и по телефону — с подробностями — с окраины здешнего «Луганска». Все это повлекло еще раз подумать, как свиваются, перевиваются и развиваются события частной жизни — иногда до самого конца ее. Эта вот «веха» — образец.

Была «Шура», покойница, которую я не могу вспоминать без ее истинного титула «бедная» — «бедная Шура» — первый пример и какой показательный, вернее, поучительный! Началось в Вольфиле, в Петербурге, на Литейном, в 1919 г., а кончится лишь с моей кончиной, т. е. не раньше восьмидесятого года моей жизни, значит, не раньше, чем в 1971 г. Хочу перечислить главные сплетения за эти 52 года.

Вторник 3-го февраля 1971 г.

«Александра Лазаревна» — ныне «бедная Шура» — уже с 18 лет внушала уважительное признание ее способностей к философии и к литературной критике (Виктор Б. Шкловский, А. А. Блок, Иванов-Разумник). В 1920 г., после самоубийства Влад. Васильевича Бакрылова и объяснения со мною в белую ночь на набережной Невы, она стала говорить,

что ей не остается ничего иного, как, следуя бакрыловскому примеру, броситься в воду. Вмешательство ее матери Розалии Александровны Векслер, урожд[енной] Лейбович, Иванова-Разумника, Евгения Павловича Иванова, близкого друга Блока (письма которого я нашел недавно здесь), — в 1923 г. он звал меня обратно в Питер, опасаясь, как будто, что А[лександр] Л[азаревна] грозит опасность лишиться рассудка, — замедлило темп.

В следующем году А. Л. появилась в «моем» Берлине — осела на время с матерью в Гамбурге, на иждивении «дяди Бори» и под сенью философского семинара Эрнста Кассирера, последователя Германа Когена, о неокантианстве которого Ал[ександра] Лаз[аревна] уже успела послушаться в Петербургской Вольфиле в моей серии «Всё или ничто». Но бедная Шура продолжала тосковать, ревновать и надеяться на возможность преодолеть мою неподатливость. Она снова очутилась с матерью в Берлине, поселившись на «моей» Калькройтштрассе. Не только мать ее, но и мой брат (Исаак) ей сочувствовал, а меня осуждал. Так же — по медицинским соображениям — д-р Магат, но не д-р Заманов, открывший манипуляции с термометром.

Брат солидаризируется в своей «философской» обиде с Ал[ександрой] Лаз[аревной] [...] Недовольство мною и особенно отвержение «Софьи Владимировны», которую Ал[ександра] Лаз[аревна] открыла еще на Васильевском острове, окрестив ее «уютной стройной кошкой», все возрастают, передаются детям и дают повод включить эту с самого начала 1914 г. близкую приятельницу «тети Эсфири» (домашнего философа семьи» матери) в общий сонм Эльяшевых, в тот «враждебный стан», который в представлении «Анюты» (Анны Соломоновны, жены брата) нес ответственность за ревность ее по отношению к свекрови, т.е. нашей матери, перед которой брат и после женитьбы не переставал преклоняться. Хотя «Анюта» слегка ревновала брата к Ал[ександр] Лаз[аревне], «брюнетке», как она сама и покойная мать, так ведь и в этом случае виной был прежде всего, я, или точнее,

Эльяшев во мне, который, помимо философии и всего прочего, был еще виновен в том, что единственная сестра Ан[ны] Солом[оновны] не вышла в свое время замуж, совсем, как Ал[ександра] Лазар[евна]. Явно сложный заговор Эльяшевых против брата! — Шла борьба за отдельные души — в частности, «за Рабинкова». Об этом следует сказать отдельно — это само по себе «веха».

А в среду, 9 февраля, продолжение такое.

В Берлине туда-сюда начинается психоанализ, и мое значение тает. «Он живет с тобой?» — спрашивает обо мне Яков Львович Тейтель, который сразу переходит на «ты» с особами прекрасного пола. — «Вовсе нет...» — «Я так и думал, — продолжает седовласый благодетель, — что он честный человек». Такова версия, с точки зрения тейтелевой практики, несколько загадочная, дошедшая до меня поздним вечером на Motzstrasse в Берлине от самой Ал[ександры] Лазар[евны]. Не странно ли? Но это, может быть, было необходимое ей признание, что и мое поведение имеет положительный смысл и ничуть не оскорбительно для нее в мнении «третьих лиц». Так или иначе, это было начало конца, прощание⁷⁹.

⁷⁹ Из переписки А. Штейнберга с Ф. Каплан видно, что и он, и Софья Владимировна беспокоились о А. Л. Векслер, жившей с матерью в Лондоне. Последнее письмо Штейнберга о ней Ф. Каплан 14 июня 1964 г.: «...Нет, дорогая Фани, она не кончила самоубийством: вскрытие обнаружило язву желудка и острый перитонит. Вы, однако, совершенно правы. Конец совершенно в ее собственном стиле: она не только отвергла больницу, но не давала даже домашнему врачу прикоснуться для более основательного освидетельствования. Две недели тому назад мы ее похоронили, и мне пришлось произнести кадиш. Хотелось бы, чтобы после нее осталась какой-нибудь скромный памятник. Говорите, что хотите: тут уместно вспомнить, что «все за всех виноваты». Vox XIV.

Letters to Mrs. S. Steinberg
after her death on 18.III.1966⁸⁰

Суббота, 26-го марта 1966 г. 11 ч. вечера
Моцей-шабат кодеш. «Ваикра»

Дорогая моя Сонюрочка, пишу тебе впервые твоим же сереньким пером после того, что случилось в позапрошлую пятницу, когда я открыл внезапно в половине девятого утра, что ты меня уже не слышишь. С каким отчаянием я звал тебя! Соня, Сонюра, Сонюрочка!! Сонюрка! Софинька, Сонечка. Ты лежала, как все эти последние дни: головка на подушке, с плотно закрытыми глазами, но цвет лица злое-ще пожелтел, и рот был не по-обычному полуоткрыт. Я схватился за телефон, и через 20 минут наш старый Лефман был у нас, чтобы беспомощно развести руками. «Все кончено». Они не понимают, что моя связь с тобою сильнее смерти.

Доктор тут же сказал мне, что при моем состоянии здоровья кто-то должен вместо меня приняться за формальности. Я позвонил Асе, и скоро она с мужем приехала к нам. Все это было утром в пятницу, 18-го марта. Я сдерживал рыдания и кое-как справлялся с собою. Было страшно обидно. Все эти последние годы все мои молитвы кончались призывом к милосердию Всевышнего, чтобы он взял мою душу как выкуп за тебя. Я не хотел пережить тебя. Но я не успел оглянуться, как колесо уже завертелось, и в канун субботы — с удвоенной быстротой.

Воскресенье, 27 марта 1966 г. 11 час. вечера

Продолжаю, Сонюрочка, моя дорогая, мое вчерашнее письмо к тебе. Колесо еще продолжает вертеться, и весь день сегодня я вел беседы около и вокруг тебя. О чем бы и с кем бы я ни говорил с последней пятницы, — все это внутреннее

⁸⁰ SC. Box VIII.

продолжение и развитие мыслей о тебе. Ты не отступаешь от меня ни на шаг. Мы остаемся неразлучны.

В пятницу, 18-го, когда ты перестала отвечать и Ася с мужем сняли с меня все заботы по оформлению свершившегося, доктор Лефман явился вторично, чтобы убедить меня, в заботе о моем здоровье, остаться дома в день похорон, уже назначенных на воскресенье 20-го, чтобы «не рисковать жизнью» (ведь я еще не оправился от своей болезни, которая, наверное, так тебя огорчала, что сердце твое уже не смогло от этого оправиться). Я ему объяснил, что даже если это так, я поеду на кладбище (Bushey — дальний запад Лондона — ты знаешь). Ведь ты согласна с этим. Разве в обратном случае ты поступила бы иначе? Официальное свидетельство о твоей кончине д-ра Лефмана полно зловещих диагнозов, о которых он никогда не говорил даже намеками, покуда мы были вместе. Не скрою от тебя, моя милая, что я невольно стал спрашивать себя, уж не выполнила ли ты сама некое решение при помощи лишних таблеток твоего «амиталья», тщательно скрытое от меня.

Ты помнишь, как это было вечером: 17-го, вечером?

С понедельника 28-го на вторник 29-го марта, 66 г.

Час ночи.

Часов в 9 вечера, уже собираясь кончить день, я заглянул к тебе, чтобы удостовериться, не задремала ли ты снова, и напомнить тебе о снотворной таблетке. Ты была в обычной позе, с головкой, откинутой несколько назад на подушки. Я подошел тихонько к порогу спальни и остановился, выжидая. Но ты услышала мой тихий шаг и сразу открыла глаза. Сонюрочка, как я люблю твои глаза, с их серо-голубым переливом в нежно зеленые оттенки. Пищу и смотрю тебе прямо в глаза. Милая моя Сонюрочка, ты приподняла головку, повернула ее слегка в мою сторону, как будто обрадовавшись мне. Я подошел вплотную к постели и спросил шутливо, чем могу служить. Ты улыбнулась в ответ и спросила, не слишком ли я устал за этот хлопотливый день, да еще без помо-

щи Аси (17-го марта день ее рождения, и накануне, в среду, она приготовила все нужное и на этот день). Я сказал, что завтра, накануне субботы, Ася снова явится, чтобы нам помочь, но может быть что-нибудь нужно сейчас? Ты приподнялась в постели, оперлась на правый локоток совсем исхудалой ручки и промолвила тихо-тихо: «Если тебе не слишком трудно, могу ли я тебя попросить вскипятить воду для гуттаперчевой бутылки, чтобы приложить к левому боку...» — «Сильно побаливает, да?» — «Нет, но чтобы легче было заснуть...»

Покуда кипятилась вода на кухне, я выразил свое огорчение, что вот, мол, еще день прошел — который уже! — а ты опять ничего почти не ела. Ты возразила, что ты ведь утром получила два яйца с сухариком, кофе с молоком, и в течение дня — апельсиновый сок. Я тебя поправил: не два яйца, а всего лишь одно, а что до сухарика...» И, вернувшись с бутылкой горячей воды, я принес также тарелочку, на которой я намеренно оставил утром как «улику» наполовину недоеденный сухарик. Ты поблагодарила меня за горячую воду, положила бутылку под левый бок и стала меня успокаивать: «Уже делается лучше...» — «Но, милая моя, как же будет с едой?! Рассуди сама: даже если бы был весь сухарик, так ведь с тех пор прошло почти двенадцать часов. Это же настоящий пост, и сколько дней подряд! Не удивительно, что ты все больше и больше слабеешь, да и доктор наш внушает тебе день за днем, что если ты не будешь есть, никакие таблетки не помогут... Ну, скажи сама: как мне быть? Что мне делать?!»

Ты присела на кровати, помолчала с минуту, а потом произнесла едва слышным голосом (как раз за два дня до этого я стал, как в прежнее время, снова тут на левое ухо): «Ты не понимаешь...». Тут меня внезапно охватило отчаяние. Я хочу рассказать тебе об этом в подробностях, потому что, ненаглядная моя Сонюрочка, я смотрю на тебя и не перестаю думать: не была ли тут роковая ошибка с моей сто-

роны, меня это не перестает мучить, и остается загадка, роковая загадка.

Среда, 30-го марта, 11. 30 утра

(Вчера, во вторник вечером, я так устал, что перо дрожало меж пальцев, а сейчас, сидя в ожидании поставщика пасхальных вещей, ничто не мешает продолжению беседы с тобой, моя дорогая, милая Сонюрка)

Меня охватило отчаяние. Внезапно я осознал, что возможен роковой исход, что я должен напрячь всю свою волю, чтобы как-нибудь предотвратить его. Я бросился на колени перед твоей постелью и стал умолять тебя сделать, несмотря ни на что, особое усилие для восстановления сил. «Сонюлочка, моя милая, дорогая Сонюлочка, ради Бога, — шептал я скороговоркой, — ну сделай что-нибудь, если не для сохранения своей жизни, то для облегчения моего страдания... Ведь ты всегда так трогательно заботилась обо мне, неужели ты не видишь, что я теперь нуждаюсь в твоей заботливости больше, чем когда-либо?!» Я схватил твою лежавшую поверх одеяла левую совсем исхудавшую ручку и стал покрывать ее поцелуями. Ты лежала неподвижно, не сводила с меня глаз и снова прошептала еле слышно: «Ты не понимаешь...»

Я пришел в ужас, я оробел, отчаянию не было границ. «Неужели она хочет сказать, что состояние ее безнадежно и что никакими сухариками и таблетками уже невозможно помочь? Но ведь доктор обнадеживает, и кардиограмма якобы благоприятна?!». Сердце судорожно сжалось, и я разрыдался. Я вскочил на ноги, зашагал ослабевшими ногами по комнате, колотя себя в грудь и громко взывая к милости Божией. Вспоминая об этом то и дело с утра 18-го, я каждый раз прошу тебя простить мне этот взрыв отчаяния. Может быть, это слишком взволновало тебя, а тебе нужен был совершенный, ничем не зыблемый покой. Как я мог так забыть? Или ты намеренно вызвала мой припадок отчаяния, чтобы быть при том, как я буду тебя оплакивать после всего

и своим присутствием разбавить чуть-чуть жуткую горечь предстоящего мне горя. Сонюрочка, в последние годы ты проявляла все чаще и чаще — и сколько раз я говорил тебе об этом! — истинную мудрость, всегда таившуюся в глубинах твоей души. Если это так, я благодарю тебя от всего сердца за то, что произошло в половине десятого, 17-го марта, и да будет милость Божия с нами во веки веков. Дальнейшее как будто подтверждает мое предположение и указывает на то, что я не выдумал все это ради низкого самооправдания.

Ты стала меня успокаивать и обнадеживать.

Четверг, 31 марта, 10 вечера.

Все это было ровно две недели тому назад. Боже мой, Боже мой! Разве я мог тогда предвидеть, что я буду сидеть сегодня, писать тебе в бесконечность и одним ухом слушать — без тебя — что радио сообщает о результатах сегодняшних парламентских выборах, как мы это делали столько раз в Германии и в течение последних двух десятилетий здесь в Англии. Тебя это не очень интересовало, и теперь, хотя я и дал слово нашему радиоаппарату, меня это интересует только как средство восстановления нашего совместного времяпрепровождения 15-го октября в позапрошлом году⁸¹, но уже на новой квартире. Разве мог я в четверг две недели тому назад предположить, что мировой часовой механизм будет продолжать свое тик-таканье без тебя, как если бы ничего не изменилось для нас, для тебя и меня? Была ты в заговоре с ним?

Ты стала меня успокаивать и вызвалась тут же мне доказать, что ты и не думала провозглашать «голодовку», что твоя воля к жизни ничуть не ослабела, что ты сейчас подтвердишь это на деле: «Пожалуйста, принеси апельсин, и мы его поделим!..». Я очистил его, и ты взяла у меня одну дольку, и еще одну, и еще одну, а затем сказала: «Сейчас больше

⁸¹ 15 марта 1964 г. состоялись парламентские выборы в Англии, которые принесли поражение консерваторам.

не могу, но обещаю тебе, что завтра все пойдет, как ты хочешь. Обещаю тебе!» — «Дай Бог! Посмотрим, как будет завтра...». Ты проглотила снотворную таблетку (я их держал под моим контролем) и скоро заснула, дыхание было затрудненное, но не внушало тревоги. Я выключил электричество, несколько минут внимательно прислушивался к ровному твоему дыханию, и, измученный моим собственным волнением, задремал, и без оглядки покатился в пучину сна.

Четверг, 7-го апреля, Пасха, 1 Хол ха-моэд. 11.45 утра

Сонюрочка, неделя со дня последней приписки к моему письму тебе ушла на приготовления к Пасхе и на первые два дня праздника. Ася с мужем сняли с меня почти целиком бремя и забот, и хлопотливых работ, со всем этим связанных. Они же сидели за нашим столом при торжественных трапезах, и я, читая нараспев, как еще год тому назад при тебе, традиционный текст, помнил о своем зароке держать себя крепко в руках, чтобы вдруг не брызнули слезы. Как мне это удалось, и сейчас не понимаю. Неизбывная грусть понижывала меня насквозь. На окраинах сознания я думал, как бы продержаться эти дни до продолжения письменной беседы моей с тобою. И вот продержался.

(Продолжаю в 8 вечера)

За эти недели я много кружил вокруг еще одной вариации моего предположения о роковом характере взрыва моего отчаяния. Быть может, ты и не вызвала его намеренно, но когда он произошел, он подтолкнул тебя на отказ от продолжения борьбы за сохранение жизни. Ведь это истинная правда, Сонюрочка, что жизнь твоя уже давно сосредоточилась на мне, и на мне одном. Тебя ничуть не трогало, что я этим недоволен, но в склонности твоей к формальным умозаключениям ты укрепились в мысли, что моя земная жизнь

ценнее твоей и что поэтому не может быть и вопроса о том, кому из нас двоих следует раньше распрощаться с этим миром. Когда бы я ни заикался о завещании, о том, что я по всей форме хотел бы сделать тебя единственной своей наследницей, ты старалась прекратить разговор об этом, а раза два ты довольно твердо заявила, что все это пустое, потому что без меня и тебя не будет. Решила ли ты про себя, что ты покончишь с жизнью, как только меня не станет? Не потому ли ты в последние годы всегда сопровождала меня в полетах, чтобы на случай воздушной катастрофы погибнуть одновременно со мною? Если ты тем не менее проявляла интерес к собственному здоровью, то руководило тобою, прежде всего, желание охранять меня, оставаться при мне, покуда я жив, не оставлять меня на произвол судьбы. Ты десятилетия подряд баловала меня, считала чуть ли не беспомощным ребенком, и кто же, — думала ты, — заменит тебя, если ты прервешь навсегда свое деятельное попечение?! Ты и предстать себе не могла, как это будет, когда я останусь один.

И вот я разрыдался от одной мысли, что я могу тебя потерять: я оплакивал тебя, как если бы тебя уже не было; я колотил себя изо всей силы кулаком в грудь, я бросился на колени перед твоей постелью, у твоего изголовья — «ты успокаивала меня, но, к удивлению моему, в котором я тогда, ровно три недели тому назад, почти не отдавал себе отчета, успокаивала как-то очень сдержанно, как бы исполняя долг, как-то — мне казалось — почти равнодушно... Да? Это верно, Сонюрочка? Ты поглядывала на меня, когда я метался по комнате, как обожженный и внешне, и с больно пылающим сердцем, ты поглядывала на меня со стороны, ты следила за мной как бы издалека, ты меня наблюдала, как некогда нежданно-негаданно открывшееся явление в мировом пространстве... Это верно, Сонюрочка? Ты как будто внезапно увидела воочию, как это будет, когда тебя уже не будет со мною; ты еще при жизни увидела, что произойдет в первые минуты после того, как я осознаю, что тебя уже нет. И обращаясь ко мне с твоим не слишком настойчивым «успокой-

ся!..», ты одновременно все больше и больше подпадала под обаяние собственного твоего успокоения... Неверно, Сонюрочка? Ты все больше и больше проникалась сознанием, что я-то буду так или иначе продолжать жить и один: сначала без свидетелей, колотя себя в грудь, хватаясь за голову, спотыкаясь и трепеща, а при свидетелях — даже без слез, а затем — затем все пойдет своим земным чередом: у кого столько сил колотить себя в грудь, жизненная энергия еще далеко не иссякла. Мое необузданное отчаяние, так я теперь очень и очень склонен думать, выбило из-под твоих ножек последнюю подпорку. Верно это, Сонюрочка?

Ты всегда осуждала наши «эльяшовские» взрывы. Редко, редко случалось, чтобы на твои серо-голубо-зеленые глаза наверхивались слезы. Ты всегда жила в себе и никогда не выходила из себя. Если бы тебе суждено было присутствовать при моем конце, ты стала бы очень задумчивой, рассеянной и оставалась бы деятельно озабоченной, с твердым решением в запасе принять нужные меры на случай плохого исхода. Так что же? Это я сам ускорил твой конец? Боже-Боже, как знать!?

Но остается еще одна ужасная догадка. Хочу, моя дорогая, моя ненаглядная, поделиться с тобой и ею. Может быть, ты дашь мне какой-нибудь знак, хотя бы во снах моих, в которых ты за эти три недели была такой частой милой гостьей?

Пятница, 8-го апреля, 2 ч. пополудни

В эту роковую ночь, с 17-го по 18-го марта, я вдруг очнулся, как от сильного толчка в левый бок, с ноющим сердцем. Я чуть снова не разрыдался, но сразу подтянулся, боясь нарушить твой сон. Слезы, однако, капали на подушку, и в ноющем сердце зашевелилось острое сожаление о случившемся поздно вечером. В сознание врезались твои слова: «Ты не понимаешь...». Не хотела ли ты, не договаривая, щадя меня, открыть мне, что я не вижу, что пришел уже срок, что это

последние твои дни и что я не должен ничего требовать от тебя, не должен волновать тебя, что лучше и для тебя, и для меня самого дать тебе отойти с миром. Этого я действительно не видел, может быть, боялся увидеть и, конечно, «не понимал». Я сильно испугался, и в испуге моем вспомнил, как в последнюю субботу, поздно вечером, я вскипел, когда ты заговорила о том, что, может быть, следует последовать совету доктора и перевезти тебя в больницу. Я вскипел, потому что я это воспринял, как готовность твою принести мне еще одну жертву и «освободить» меня от ухода за тобой у нас на квартире, хотя бы ценою такой жуткой разлуки. Ведь из-за моей собственной, еще не преодоленной окончательно болезни я не мог бы даже посещать тебя в больнице. Я с волнением стал тебе объяснять, что там ты будешь лишь отвлеченным «случаем», если не хуже — объектом для научных экспериментов с престарелыми больными. Лучшего ухода, чем здесь, у тебя не будет, то же — с пищей, я громко доказывал, волнуясь и кипя. Меня волновала, во мне кипела даже горечь какой-то обиды: неужели твоя тяжкая болезнь сделала тебя равнодушной ко мне и тебе безразлично, как я буду мучиться в разлуке с тобою в этом положении?.. Ты сделала вид, будто ты согласилась с моими доводами. Но теперь, в эту глухую ночь, меня осенило: все связалось со страшным смыслом твоего «ты не понимаешь...» Не тянуло ли тебя прочь от меня не ради того, чтобы снять с меня бремя «брата милосердия» (и какое это бремя — служить тебе!?), а желание избавить меня от того, чтобы я стал свидетелем твоей, может быть, мучительной кончины? Страх обуял меня.

Мне все еще казалось, что ты спишь. Твое несколько затрудненное дыхание явно доносилось до меня. Но ты вовсе не спала, а, как скоро выяснилось, уже некоторое время следила за тем, как голова моя ворочается на соседней подушке то слева направо, то справа налево. Между тем, страхи мои нарастали. Припомнилось, как вечером, когда ты согласилась на четвертушку апельсина, ты говорила так тихо, что я не сразу тебя понял и подошел к тебе почти вплотную: «Ты

же знаешь, что я уже третий день не слышу хорошо...». А ты в ответ, хоть и несколько громче, но с ноткой досады в голосе: «Это ничего, это скоро пройдет...». И опять я «не понял»: не досада и не равнодушие были в твоём как бы пренебрежительном замечании, а намек на то, что дело для меня самого не в снова проявившемся недуге моем, а в твоей неотвратимой обреченности. Укол в сердце был такой острый, что я невольно приподнял голову с подушки, подавляя вздох. «Ты не спишь?» — пробормотала ты едва слышно. И это было начало нашего последнего разговора.

Я засветил лампу на моем ночном столике. Было ровно три часа ночи. «А что с тобою, Сонюрка, ты давно не спишь?» — «Не очень давно, но я хотела бы тебя попросить снова вскипятить воду для бутылки, это помогает». — «Сейчас будет», — и я ушел на кухню. Вид у тебя был, как во все эти последние дни, не лучше, но и не хуже. Однако, покуда закипала вода, я крепко, до боли, сжимал пальцы в пальцах, как часто в эти последние недели, и бодрился: «Нет, — думал я, — это все у меня, вероятно, от нервного переутомления... Моя Сонюлочка и в мыслях ничего такого не имеет... И с чего это я взял, что она намекает на ... смерть?!» Я вернулся с горячей водой, поправил твои подушки, смог подложить бутылку под все тот же левый бок, поцеловал твою ручку и спросил, собираешься ли ты принять снова что-либо снотворное. «Только амиталь» ... и тут же, с нежностью во взгляде, прибавила: «Может быть, в виде исключения, и ты возьмешь одну из моих таблеток? Ты очень утомлен, тебе необходимо выспаться, завтра пятница, и Ася собиралась прийти пораньше, а затем в 4.30 придет Виктория (приходящая прислуга)... А? Как ты думаешь?» От таблетки я отказался, еще спросил, с чем ты проглотить свой амиталь, и ты указала на стоявший на твоём столике стакан с лимонным раствором: «Это хорошо...» Как сейчас, вижу, Сонюлочка, твой мизинчик, указывающий на стакан с водой.

Ах, Боже, Боже... Я снова лег и спросил, выключить ли лампу? «Да, да, конечно... Вот только проглочу таблетку».

Свет погас, ты пожелала мне спокойной ночи, и я, как в тысячу других ночей, ответил тем же. Затем еще некоторое время я прислушивался: «Слава Богу, заснула». У меня отлегло от сердца, все страхи рассеялись, я беззвучно, тоже, как всегда, помолился и, как всегда в последние годы, закончил моей собственной молитвой о сохранении твоей жизни, и, если Господу угодно внять моей молитве, чтобы Он, если так надо, взял мою душу к себе вместо души моей подруги: יְיָ יְיָ יְיָ — и такова да будет Высшая Воля.

Это был мой последний разговор с тобой, это была последняя ночь нашей совместной жизни на земле. Перед тем, как потушить свет, я взглянул на часы в ящике ночного столика (ты их так хорошо знаешь, эти серебряные часы, подарок ковенского деда в 1901 году ко дню моей бар-мицвы, часы, которые сопровождали меня с тех пор всю жизнь, включая те сорок восемь лет, что я тебя знаю) — часы показывали 3.30.

А когда наступило утро, на меня обрушилась беда и вместе с нею — страшная мучительная загадка, над которой я бьюсь, бьюсь и бьюсь.

Неужели это возможно?

Воскресенье, 10-го апреля, шестой день нашей Пасхи, за сколько лет первой без тебя, Сонюрочка, 5.30 пополудни.

Через два часа снова праздник, когда я не смогу писать, но я хочу объяснить, по крайней мере, о чем должна идти речь. Явный намек, но лишь вскользь, на то, что ты, может быть, сама выполнила некое тайное свое решение, я сделал в этом письме уже 27-го марта. Надо писать отчетливее, чтобы тебе было ясно, о чем я говорю и почему это так тяготит меня.

Перед моими глазами твой ночной столик и на нем, кроме флакона одеколона и стакана с лимонным раствором, трубочка стеклянная с «амиталем». Когда я звонил доктору в это страшное утро, 18-го марта, взгляд мой безотчетно

вперся в эту трубочку, наполовину еще наполненную. Была тень какой-то обнадеживающей догадки: а что, если ты просто проглотила, чтобы побороть бессонницу, две или три лишних таблетки, и вот доктор это сейчас установит и приведет тебя в чувство. Никаких дальнейших исследований доктор не производил: он констатировал смерть и все тут. Моя же жуткая догадка непрерывно разбухала: две-три, а почему не 5—6 или 10—12? То есть, если... если это вдруг стало самой тобою избранным средством подвести последнюю черту. Могло ли это быть?

За эти три недели у меня набралось много материала, относящегося к делу, и как же я могу не расположить его перед тобой?

Я не упускаю из виду, что даже если лекарство стало причиной твоей кончины, это могло случиться без твоего сознательного решения. За последние дни перед кончиной ты не раз проявляла, особенно глубокой ночью, признаки затуманенного сознания. Может быть, ты вспомнишь, как в предпоследнюю ночь (на 17-е марта) ты сбилась на коротком пути из спальни в ванную и спутала стенки платяного шкафа перед самой твоей кроватью с входом в ванную; когда, проснувшись, я бросился к тебе на выручку, ты не сразу поняла, о чем я тебе толкую. Были и другие подобные случаи. Я приписывал это действию снотворных снадобий возрастающей крепости, предписанных врачом. Ну а что, если ты в подобном состоянии полусна стала вдруг глотать без счета белые кружочки лекарства, откуда оно не возобладавало над тобою и ты, отравленная им, в последний раз откинула головку на подушки? За это говорит в известной мере тот факт, что стеклянная крышечка стоявшей утром торчком трубочки лежала тут же рядом на столике. Если бы ты проглотила сразу убийственное число таблеток, ты навряд ли успела бы поставить в эту вертикальную позу легко опрокидывающийся аптекарский цилиндрик. Надеть же на него головку ты забывала и в лучшие дни. Впрочем, могла быть и такая последовательность движений: ты открыла трубочку, поставила ее на

столик, приподнялась и отсыпала в руку без счету таблеток, после чего, поставив трубочку снова, как обычно, сразу проглотила всю горсточку и откинулась, чтобы уже никогда больше не вставать. Ты видишь, моя дорогая, я пишу тебе, как строгий следователь. Но если ты все это проделала полусознательно, почти механически, то где же тут твоя воля, твое «решение»? Да и сама ты ничего показать не можешь. Все значит сводится к вопросу: сознательно или бессознательно?

И в связи с ним у меня собран материал.

Пятница. 15-го апреля, 5.30 поп[олудни]

С 10-го апреля не писал тебе: праздники, а потом переход на будничные рельсы, осложненный посещениями и приведением в порядок чувств и мыслей. В ряде писем задавающие сердце отзывы о тебе (напр[имер], сегодня — от Левы, а еще раньше — от его Dorothy⁸²), и я сообщу их тебе, когда можно будет, но теперь я должен продолжать разбор вопроса: намеренно ли ты перестала отвечать мне под утро 18-го марта или ненамеренно. Ведь уже четыре недели прошли, о, Господи!..

В материале, собранном мною, о котором я упомянул в конце последней приписки, есть такой факт. Вспомни! Когда мы получили несколько лет тому назад от, увы, уже тоже скончавшегося Франца Коблера описание конца его Доры и услышали в его письме из Калифорнии горькую жалобу на то, что она ушла из жизни добровольно только для того, чтобы не отягощать его жизнь своей якобы неизлечимой болезнью (в основе — психической), я, чтобы поднять дух друга, написал панегирик Доре Коблер, превознося ее завершающий поступок как образец истинного героизма. «Как Вам ни трудно, — писал я ему (по-немецки), — но Вы не можете не видеть, что акт нашей покойницы достоин высочайшего уважения, что даже если она неправильно оце-

⁸² Лев Штейнберг — племянник, Дороти — его жена.

нила, что для Вас лучше, что хуже, ее самопожертвование во имя Вашего блага, как она его понимала, остается для всех нас, ее и Ваших друзей, образцом нравственного подвига...» Ты, Сонюрочка, всецело одобрила мой подход и очень хвалила меня после получения отклика Коблера, изъяслявшего горячую признательность за наше «истинно утешительное» письмо. Теперь я думаю, что я именно тогда мог подтолкнуть тебя на мысль, что в подобных обстоятельствах и тебе следует поступить по примеру Доры Коблер. Нашел же я в эти праздничные дни в твоей связке заветных писем, главным образом, моих 53-го и 54-го гг. из Южной Америки, также и ее письмо — значит ты ее и раньше чем-то отмечала. Или, пожалуй, наоборот: ты всецело со мною согласилась в моем восхвалении ее акта самопожертвования, потому что уже раньше влеклась к такому действию, в твоей задумчивости о том, что как старшей тебе естественно надо будет уйти первой и надо лишь, чтобы это произошло незаметно для меня самого. Ты могла уже годы тому назад предвосхитить свое последнее «ты не понимаешь...» успокоительным предложением: «он не поймет!..», не догадается. Но мог ли я предположить тогда, что тебе придется очутиться когда-либо в положении жены Коблера? Уже тогда я был непоколебимо уверен, что очередь до конца будет моя.

Что ты вообще думала о самоубийстве? Послушай, правильно ли я передаю.

Четверг, 21-го апреля 1966 г.

Рош ходеш I, Ияр. 5726 . 16 б'омер

2-я годовщина нашего переселения сюда:

81 ETON Place, ETON College Road, London NW3

С прошлой пятницы не писал тебе, Сонюрочка, но все так же раздумывал и писал о тебе нашим общим друзьям. По солнечному календарю в эти дни минул месяц с 18-го и 20-го марта, а по лунному — окончились *шлошим*, тридцать дней траура по твоему отходу. Но для меня лично ничто не «исполнилось» и, если бы не это мое письмо к тебе, не

знаю, смог ли бы я держаться на людях так, как это предписано правилами приличий.

Хотя я и не писал тебе, но вопрос, на котором я в прошлый раз остановился, не сходил с порядка дня и ночи. И снова твоя неподатливая сдержанность дает основание для противоречащих предположений.

С одной стороны, ты открыто возмущалась, когда я даже вскользь упоминал о продолжительном «самоубийственном» периоде в моей жизни (приблизительно с начала 1907 г. до половины 1913-го, с последующими рецидивами). Ты возмущалась, содрогалась, обрывала меня: «Не хочу ничего знать об этом...». Так же ты относилась к записям в моих дневниках того времени: когда я клал на стол одну из тех старых тетрадок, ты отворачивалась, продолжала читать что-либо свое или даже как будто невзначай выходила из комнаты. Я старался проникнуть во внутренний смысл этого «негативизма», и самой простой разгадкой его, мне казалось, могло быть то, что ты слишком дорожила реальностью нашего сосуществования, чтобы допустить даже в мыслях возможность ее зависимости от осуществления или неосуществления моего юношеского «сумасшедшего» замысла.

— Чего ты так боишься? — я спросил тебя однажды безо всякой задней мысли. Ведь фактически я не наложил рук на себя, но если бы я это сделал тогда, ты никогда не встретила бы со мной и ничего не знала бы о моем существовании. Так что в сущности...

— Перестань! — ты оборвала меня. Ты сумасшедший и всегда был сумасшедшим, перестань меня мучить...

Я боялся попытаться. Я видел, что это, действительно, мучение для тебя. Наше сосуществование для тебя — самодовлеющая абсолютная ценность; следственно этим достоинством обладает и такой неотъемлемый соучастник нашего совместного бытия, как я. Даже подумать страшно, что меня могло бы не быть, уж не лучше бы предположить, что не было бы всего мира, включая тебя самое?! И я успел заметить, что ты вдруг ни с того ни с сего берешь мою старую

книжку о «Системе свободы Ф. М. Достоевского» и задумываешься над страницами, где говорится о самоубийстве⁸³. Выходит, что ты избегала говорить на эту тему со мною, но не переставала о ней размышлять в своем затворничестве. И в этой связи имеет, пожалуй, значение мое толкование о сопряженности у Достоевского самоубийства со стихией скептицизма. У тебя исконная склонность к скепсису, вдохновлявшая меня на хорошо известный тебе стишок: «Сонюрка — лесгафтичка — врожденная скептичка...»

Была ли у тебя самой какой-либо опыт в этом отношении? Да как же!

Среди маленького собрания дорогих тебе фотографий (в малюсеньком синем с оправой альбомчике) я в последний день Пасхи нашел карточку, которую дала тебе «13 июня 1907 г. Аня Рейнвальд». Меня это поразило.

Уже 3-го мая 1966 г., и значит почти две недели, что я тебе не писал, но ты знаешь, что я все время неразлучно с тобою и видишь, куда меня занесло в розысках моих? Почти на 60 лет в твоё прошлое: в Лозанну твоей юности, когда тебе шел всего 22-й год.

Сонюрочка, я поражен.

Карточка твоей давно погибшей подруги толкает мои мысли все дальше, все больше вглубь. И самый факт, что ты получила ее от твоей Ани в Лозанне, тоже получает теперь новый смысл, и все — в связи с моим тяжким недоумением. С этой темой: ты и... самоубийство.

Аня потонула в Женевском озере, под Лозанной, и ты сама мне сказала, что предполагали добровольную смерть. Ты и об этом не любила говорить, а карточка, которая сейчас передо мною, ты ее мне всего лишь один раз показала, что-

⁸³ Это могли быть строки: «...позитивистское мировоззрение есть единственная законченная идеология самоубийства...»; «Самоубийство есть мироубийство, но и обратно: мироубийство есть самоубийство...»; «Иван бунтует и колеблется между убийством и самоубийством». А. Штейнберг. «Система свободы Достоевского», *ibid.*, с. 113, 124, 126.

бы сразу же взять ее у меня из рук и снова запрятать. Почему?

4/V/66. Ты намекала, что в этом случае был как-то замешан Гольцапфель (R. Holzapfel), автор „Panideal“а, появившегося в 1903 г., стремившийся стать властителем дум молодого поколения. Его «Психология социальных эмоций (Gefühle)» увлекала Аню да, очевидно, немало и тебя. Вы дружили с его женой, гораздо старшей, родственницей близкой венских философов отца и сына Гомперц, у которых ты гостила еще значительно позже, в лето 1914 г., накануне войны где-то в Австрии. Несомненно, что весь этот круг свято хранил память погибшей Ани, к которой «учитель жизни» Гольцапфель относился с истинным преклонением как к одному из первоисточников по исследованию «общественных чувств». Ее фотография, ее восторженно напряженный взгляд и тончайшая улыбка не оставляют сомнения, что это была натура оригинальная и глубоко одаренная. Стараясь сделать ее провозвестницей своего Панидеала, увлекая ее в лоно своей мысли, он, может быть, сам увлекся и переступил пределы. Она же, очарованная учителем и его мудростью, разочаровавшись в нем, разочаровалась в людях и в жизни вообще. Это, конечно, одни лишь догадки, и, когда я их пытался проверить, ты замыкалась в себе и «меняла тему». Так вот, в этот поздний час, в этот поздний год, тщетно пытаюсь встретиться взглядом с Аниным взором, я тебя спрашиваю, знаешь ли ты, знала ли ты тогда, в 1907 г. в Лозанне, что произошло между Рудольфом Гольцапфелем — типом, я бы сказал, а la Отто Вейнингер — и Анной Рейнвальд? И это вовсе не праздное любопытство с моей стороны. Прости меня, Сонюлочка, ты явно избегала говорить со мною об этом откровенно и, полагаю, не потому, что это касалось «третьих лиц», а потому что говорить открыто о них и об их взаимоотношениях значило бы одновременно приоткрыть несколько завесу, которой ты отгораживала не только меня, но и себя от собственного прошлого. Так дай

же мне, милая, сказать тебе по этому поводу еще несколько слов.

Верность — это твоя исконная черта, и преданность людям, которых ты признала и полюбила, не имеет границ. Ты сохранила свое любовное отношение к Эсфири до самого конца. Нечего и говорить о твоём брате Эдуарде: эта потеря ощущалась тобою так же остро четверть века после его трагического конца, как в то время — время нашей первой встречи, когда тебе была нанесена эта жгуче-болезненная рана... Аня — я вижу — стала твоей неразлучной спутницей на всем протяжении твоего жизненного пути. Но о Гольцапфеле ты не хотела думать дурно, не то что помянуть недобрым словом. Ты по существу либо пристрастна, либо равнодушна. Будь такой, какая ты есть. Однако же, коли Аня, действительно, стала жертвой властителя ее дум, ты даже и это ему простила? Это становится угрозой для меня, потому что угрожает мне допустить возможность, что в ночь на 18-е марта ты сама...

Ведь ты не сердишься на меня, Сонюрочка, за то, что я так настойчиво докапываюсь? Ведь ты понимаешь, насколько это для меня важно и насущно?

Я рассуждаю так: если ты столкнулась довольно рано со случаем самоубийства любимого существа и смогла простить виновника его гибели (а это явно ты готова была допустить), то это должно было определить и твое отношение к самоубийству вообще. Ты включила его, так сказать, в естественный порядок вещей. В мировоззрении твоём ты крепко держалась за веру в его незыблемость. В последнем счете, ты думала, люди не отвечают за свои поступки. Не так ли? О да, ты многим возмущалась, но, в конце концов, нашупывала тропинку к примирению. Это относится и к крупным историческим событиям (напр[имер], к русской революции, обездолившей вашу семью), и к отдельным людям и даже к известным, на первый взгляд, неприемлемым решениям. Не могла ли ты так же постепенно сродниться с по существу чуждой идеей добровольного ухода из жизни?

В этом смысле Лозанна, сцена вероятного самоубийства Ани, было опасным местом для меня, ты понимаешь — прежде всего, для меня! Но я не сообразил, не почувствовал и поплатился — если все это так, как я сейчас это вижу — за глупую свою близорукость и самонадеянность.

Вспомни!

20. V. 1966. 7.30 веч.

Опять не писал тебе дольше двух недель, но зато сколько я за это время писал, говорил и думал о тебе! Наверно, и это как-то доходит до тебя. Иначе я бы не мог так долго обходиться без письменных посланий к тебе. В этих мыслях моих и даже в разговорах явно выступали очертания пейзажей вокруг Лозанны. Я вспоминал ее и за тебя. Снова призываю тебя вспомнить.

Когда мы после моих заседаний в Женеве (в 1951 г.) остановились в «Beau Rivage'e» в Nyon'e, т. е. совсем рядом с Лозанной, ты явно уклонилась от поездки туда, и, когда мы в одно прекрасное воскресенье все же там очутились, меня очень удивило твое полное нежелание рассказать мне что-либо о твоем старом знакомстве с богоспасаемым уголком этим; ни первый твой университет, ни другие лозаннские достопримечательности не внушали тебе охоты возобновить после сорокалетнего перерыва первое знакомство. Во время прогулки нашей ты вела себя так, как если бы ты очутилась во враждебной стране. Тогда я приписывал это случайным причинам: усталости, толкотне на узких тротуарах, шумихе какой-то неинтересной тебе выставки местной промышленности. Теперь я понимаю: снова столкнувшись волею судеб с Лозанной, ты сразу охвачена была тяжким недоумением по поводу того, что там некогда случилось близко от тебя. Ты погрузилась в тяжкие думы об Ане и ее судьбе. Идя рядом со мною, ты была далеко от меня и меня почти не замечала. Я был вне твоего, вне вашего круга Аниного периода. И чуть-чуть содрогаясь, я теперь спрашиваю себя: а может быть, что

ты, идя рядом со мною, погруженная в себя, размышляла о том, что Аня, пожалуй, сделала правильный выбор, что жизнь «пустая и глупая шутка» (ты ведь охотно цитировала эту строчку), что, одним словом, Ане можно лишь позавидовать.

Твое отношение к Лозанне не изменилось и в следующие годы.

Вторник, 28-го июня, 2 ч. поп[олудни]

Прежде чем вернуться с тобой в Лозанну, хочу прибавить несколько строк — а, может быть, даже страничку-другую — твоим сереньким пером (оно, слава Богу, все еще хорошо работает) в виде объяснения, почему этот лист остался неисписанным с 20-го мая. Конечно, мы за эти пять с лишком недель продолжали беседовать и во сне, и наяву устно, и ты как будто соглашалась со мною, что так же, как можно говорить письменно, можно устно писать. Тем не менее, меня тянуло писать именно твоим сереньким пером, которое я ощущаю в руке своей, как мизинчик твоей правой ручки. Недаром перо называют по-русски «ручкой». Моя неизменная нежность к тебе приобретает дар слова, когда я сижу вот так один в квартире за письменным столом и вожу пером твоим по белоснежной бумаге. Ах, Сонюрочка, если бы ты только знала и в прошлом, и теперь, как я люблю мою нежную любовь к тебе и как я тебе за нее благодарен. Но к «делу»! Не писал пять недель — значит, сам виноват. Может быть, удастся вернуться к этому еще этой ночью во сне. Но в Лозанну меня еще все не пускают: приходит юрист, чтобы помочь составить завещание.

Еще только одно слово: 25-го июня мне минуло, как ты мне на днях напомнила, 75 — догоняю я тебя, Сонюрочка.

15 мая, 68-го. Канун Лаг Ба-Омера 5728 г.

Провел последнюю ночь почти целиком без сна. После взрыва (моего) по телефону покалывало в сердце, и сбоку струящейся мысли бежала, подпрыгивая, как четвероногая, присказка: «а не случится ли это в нынешний же час?!» Прыткая присказка не давала заснуть. Не запомню такой бессонной ночи со времени моих личных грехов с самого раннего детства. Это еще не исповедь, а лишь необходимый материал для ее оформления. За этим занятием прошли часы с 3 ночи до 9 утра. Не раз пытался я прервать работу, чтобы поспать; иногда я отвлекал себя в сторону определения основных принципов исповеди, как-то: что есть грех? И возможна ли исповедь в собственной исповедалине? Но и эти вопросы с их общим центром: возможна ли исповедь без Бога? — не могут удержать или отвлечь в сторону историческое, так сказать, исследование с сопровождающими его раскопками в разных пластах прошлого.

Я начал со столбца, который, несомненно, входит в содержание исповеди, в разграфленный ею документальный лист греховности. Несомненно, можно свалить все грехи в кучу и бить себя, грешного, в грудь, не различая разновидностей и даже разрядов греховности. Это я назвал бы в своей индивидуальной исповедалине «свальным грехом покаяния». Заповедей не 3 и не 5, а десять — столько, сколько пальцев на обеих руках, сколько единиц и десятков в десятиричной системе исчисления. Чтобы считаться с людьми и с Господом, надо уметь считать и — само собою — измерять и взвешивать. Это элементарно. Только так возможно исправлять ошибки и самого себя. Исповедь для покаяния, для исправления, хоть бы, как учит пророк, в последний однодневный промежуток между жизнью и смертью.

⁸⁴ SC. Box VIII.

С какого же столбца я начал? С того, который зиждется на греховности плоти. Если бы плоть не была греховной, не было бы грехопадения, и я, Адам, Иш, жил бы без Иши, без Евы, в Эдемском Парке. Я оставался бы одиноким, но и единственным, как Творец мой в небеси.

И что же оказывается? До девяти утра я насчитал в одном этом столбце, в греховности моей плоти, больше шестидесяти дурных поступков, из которых некоторые, в свою очередь, расчленены на целые серии больших, средних и малых грехов, грешков и прегрешений. Мой подсчет еще далеко не кончен, и я хочу его продолжать, но начал-то я его с раннего, пятилетнего возраста. Не по Freud'у, а по собственному опыту, который до Freud'a, до 1910 г., мне казался единственным в своем роде, а посему крайне таинственным и чуть ли не роковым. Оглядываясь теперь, как в последнюю ночь, назад на почти $\frac{3}{4}$ века, я вижу попутно, что и весь Freud происходит из беспомощной совести, искавшей очищения во всепрощающей «науке».

Может быть, стоит записать своей первый грех «во плоти» несколько подробнее, потому что все описать подробно ведь удалось бы лишь в десятках книг, вернее — томов — автобиографии, для которой осталось слишком мало времени.

Итак, мне почти пять лет (1895!). Напротив нас, то есть, «детской» брата и моей (ему почти восемь, и он на меня не обращает внимания), по ту сторону небольшого квартирного двора — квартира нашего домашнего врача, балтийца Фойертага, у которого три дочери: Мэри, Женя и Анна. У нас нет сестер, и три девочки, приходящие к нам иногда поиграть, для меня явление из другого, более привлекательного, более ароматного и целительного мира. Мэри, лет десяти, высоконькая, тонкая, с черными косами, мне кажется уже совершенно взрослой, «не для меня» и даже не для брата. Но для кого же она в таком случае у нас в детской? Я начинаю постепенно догадываться, что она для своих сестричек Женички и Анночки.

Присутствие Мэри поднимает в моих глазах престиж Женички и Анночки. Мэри я не боюсь и даже не стесняюсь. Она вроде нашей няни Агаты, с которой я на «ты», в силу чего — именно в «силу» — я сразу и приветливо перешел на «ты» и с очень привлекательной, сладко-ароматной, как сам доктор, Мэри. Тем более, я боюсь и стесняюсь младших девочек: 4-х или 5-ти летней Жени и моей младшей ровесницы Анночки. Вот они пришли все трое. Надо играть в лото, «детское лото» из нашей коллекции игрушек, постоянно пополняемой отцом при частых его поездках в Петербург и за границу. Агата, как обычно, приносит поднос с чаем и со сдобными булочками и усаживается с нами за стол рядом со мной, ее любимчиком, посадив Анночку себе на колени. Она наливает горячий чай из стакана в блюдечко сначала для Анночки, а потом для меня. «Еще не пейте! Еще не пейте! — учит нас Агата — очень жарко!» Анночка отчего-то пугается, пытается насильно слезть с агастиных колен, задевает мой почти полный стакан, и я внезапно обварен пониже курточки действительно «очень жарким» питьем. Мне очень, крайне неловко, стыдно, хочется плакать, и я страстно ненавижу Анночку и заодно всех девочек. Не говоря худого слова, я сползаю со стула и готов обратиться в позорное бегство, но куда? Тут начинается второе действие, и происходит мое грехопадение.

Что-то меня схватило за сжатую в кулачок руку. Что-то приятное, теплое, мягкое — ну как вата для компресса. Что-то мне шепнуло в ухо: «Обожди... не плачь... какая она гадкая...» И сразу все стало понятно: это была Женичка.

К Женичке, вернее, к ее зимнему пальтишку табачного цвета, я уже давно приглядывался. Мне нравилось, что оно такое мягкое, а вот оказывается, что и рука у нее такая же, как пальтишко. Что-то очень теплое, мягкое и утешительное. Я смотрю на нее, замечаю, что ее зеленоватые глаза такие же, как у моего сибирского кота, улыбаюсь, и мне ужасно смешно. «У вас мордочка, — говорю я сквозь смех, — как у моей прежней кошки, Плутовки». Женичка как будто обиделась.

«Какие грубости ты говоришь», — одергивает меня Агата. «Не обращайтесь на него внимания», — вежливо обращается брат к Мэри, — он маленький и ничего не понимает». Все усаживаются. Я ни на кого не обижаюсь, и никто не обижается на меня. Я готов простить даже Анночку, если бы только...

(Продолжаю 16-го мая 68 г. в 11 веч., после 33 = 1"7- в Омере)

Вот в том-то и дело: если бы только, если бы только что? Если бы те двое пошли домой, а Женечка осталась здесь. Найдется, где ее тут уложить. Приезжают же гости, которые остаются. Можно в кабинете на диване. Или еще лучше: если Агата захочет, она могла бы... Да, но как это сделать? Фантазия разыгралась, как во сне, яростно, и я яростно вникаю, внедряюсь в зеленоватые кошечкины глаза не то Женички, не то пропавшей без вести Плутовки. И вдруг, как бы очнувшись, нащупав не мягкое, теплое и утешительное, какое бывает лишь во сне, а жесткое, мерзлое и неудобное, вот то, что всегда обыкновенно бывает, я с отвагой отчаяния хватаюсь за невообразимо нелепую выдумку: если невозможно, чтобы она не ушла, пусть она оставит здесь, по крайней мере, табачного цвета пальто на вате... Я делаю решительный шаг в сторону, ни на миг не сводя глаз с ее «мордочки», и вижу с ужасом, что она испуганно, совсем как давеча ее младшая сестренка, от меня отворачивается и растерянно ищет защиты. Во мне что-то закипает. Я начинаю злиться: «Ах, так! Вы не хотите даже говорить со мною! Я хотел у Вас вежливо попросить, как полагается, у гостей. Но если вы со мной поссорились, я сумею и без Вашего согласия...» И я тут же побежал быстро-быстро в заднюю половину комнаты, где за плотными занавесями в фиолетовых полосах сложено было на стульях верхнее платье гостей, вытащил из-под беличьей шубки Мэри ненаглядное пальтишко на вате вместе с пелеринкой того же табачного цвета и с драгоценной добычей в руках проскользнул через кухню в отцовский кабинет —

знаю, что и отец, и мать были в отъезде — и запрятал захваченное силой добро за один из книжных шкафов. Сердце колотилось, как попавшая в паутину муха. И вдруг стало очень стыдно. Но ничего! Пусть знает! Не могу же я...

Стараясь оправдать себя в собственных глазах, я замедлил ход и стал мучительно думать, как бы избежать того, чтобы меня уличили, как бы самому не выдать себя. Одно я знал твердо: добровольно я пальто не верну, никогда, ни за что. С этим твердым решением я медленным скромным шагом вернулся в детскую.

Там за этот короткий промежуток прошли большие перемены. Уже все были на ногах. Фиолетовые занавеси, разгораживающие просторную комнату вдоль на две половины, были отдернуты, постели в задней половине смяты, а Агата с зажженной свечой в руке заглядывала под кровати. Все были взволнованы. Чуть я появился, все повернулись в мою сторону. «Где ты пропадал?» — строго спросила Агата. «А что?» — спросил я в ответ, стараясь непринужденно удивиться (а сердце снова стало колотиться, как пойманное).

«Их зовут домой к ужину», — объяснила, волнуясь, Агата, — сам доктор уже звал из окна, а тут нет одного пальта, ты не видел?»

«Какого пальто? — поправил я няню, как учил меня брат, большой любитель правильного ученого произношения. Няня совсем всплыла: «Ну, знаете, с вами связаться — одна беда». Не хватало, конечно, пальтишка, похищенного мною, я же не по часам, а по минутам разрастался в крупнейшего злодея-грабителя и греховодника.

«Если ты ищешь пальто Жени, — сказал я в очень суровом тоне, — так ведь она пришла сегодня без всякого пальто». Агата от неожиданности и счастливой развязки даже руками всплеснула. «Потому и говорю: связаться с вами — просто беда». А я не унимался. Я упивался успехом и пустился во все тяжкие. Недаром дядя Макс говорил матери: «Твой младший сын, Елена, унаследовал нашу эльзашевскую фантазию, с ним надо осторожно». Теперь, когда я хитро отстаи-

вал ограбленное мною добро, вся эта фраза дяди Макса ярко осветилась смыслом: я наследник «эльяшевской фантазии», а потому имею полное право удержать нежную ватную шубку, а может быть даже...

Но так далеко эльяшевская фантазия еще не заходила. В эту минуту она работала только с единственной целью убедить «публику», что мне следует верить больше, чем своим пяти чувствам, помноженным на пять (трое Фойертагов, брат и няня). И видя, что это мне удается, я стал сыпать подробностями и подробностями подробностей, тоже в квадратной степени.

«Как! — возмутился я, — ты не помнишь, няня, что, когда Женичка забыла дома пальто, ты еще сказала, что это нехорошо, что еще холодно на дворе (была ранняя весна, нечто вроде конца марта), что можно легко простудиться, что...»

«Я не забыла... — беспомощно прошептала Женичка. — Может быть, потерялось на дворе...»

«Ну вот видишь, — потерялось на дворе, — торжествовал я, а доктор Фойертаг снова отворил форточку на той стороне двора и громко по-немецки звал: «Schnell! schnell! Sputet euch».

17 мая, 5 рт

Агата набросила на Женичку свой шерстяной платок и повела трех девочек по черной лестнице во двор к самому порогу черного хода докторской квартиры. Я стоял у окна в уединении, никто не обернулся в мою сторону, щеки у меня пылали. Вывел меня из столбняка голос брата: «Почему ты не сказал раньше? Очень известно, что девочки все путают!».

Стыд во мне становился все жарче и жарче. Я должен был бы заступиться если не за всех девочек, то уже во всяком случае за мою кошечку — Женичку. Но я молчал, окончательно растерянный. «Ушли!» Но что дальше будет? Потому что я не сомневался, что какие-то последствия неминуемы. Но какие именно?

Первое, как скоро обнаружилось, было запрещение всем трем сестрам ходить к нам играть. «Какая это игра, — говорит барыня, — когда пропадает дорогая совсем новая шуба», — так передавала Агате горничная Фойертагов. Не показывалась больше ни старшая, ни младшая, ни, что было хуже всего, средняя, Женя. О ней, о ее шубе и о своем собственном преступлении я думал и днем, и ночью в кровати с медной окраски перилами, и в самых причудливых снах: то Женичка хватает меня за горло когтистыми лапками, то Анночка мяукает: он гадкий, о-о-он гад-гад-гадкий», то Мэри тоненьким голоском требует от Агаты, чтобы она вернула пропавшие рукавицы. Просто ужас!

19 мая, 68 г. 11 pm

Расплата началась, но я знал, что это только начало.

Неужели Жени больше не будет? Правда, есть ее пальтишко. Но ведь к нему даже подступиться нельзя. В самом деле, нельзя? Я думал, я размышлял, я мечтал. Я просиживал часами на корточках в кабинете около шкафа, за которым вела свою таинственную жизнь тень Жени, держа для отвода глаз перед собою первую попавшуюся книгу с картинками, «Зоологический атлас» брата или том немецкого сатирического журнала «Kladderadatsch». Как только я убеждался, что в соседних комнатах никого нет, я просовывал руку между стеной и шкафом, чтобы проверить, чтобы пощупать, чтобы погладить.

Игра становилась все более и более опасной. Что будет, если няня застигнет меня врасплох, что и кому она скажет? Однако главная опасность нарастала во мне самом. Делалось нестерпимо, и сумасбродные мысли осаждали голову. Женя сама, может быть, еще покажется. Уже раз, сидя тоже на корточках на подоконнике в детской, мне почудилось, что с той стороны, в окно докторской кухни сквозь двойные рамы на меня смотрели больно царапавшие сердце зеленые глаза. Но это еще где-то там, далеко и неизвестно еще когда и что. А тут вот дорогая влекущая вещица совсем под рукой,

и это тоже Женя, и я мог бы крепко — ух, как крепко! — прижаться к ней, поговорить с ней и объяснить, что я вовсе не хотел ее обидеть, сказавши про «мордочку», и говорить, и говорить, покуда она снова, как тогда, не возьмет в свою маленькую, такую крошечную ручку мой гадкий противный кулак. От дерзкой мысли у меня захватило дух. Надо немедленно что-то сделать... Необходимо немедленно что-то предпринять, даже... даже, если меня после этого выгонят из дому (Странная идея!).

20 мая 1968 г.

В мыслях моих столкнулись два плана сразу — оба страшных, оба грозящих гибелью и в то же время оба страшно заманчивых. Можно, например, ночью, когда все спят, пробраться на цыпочках сюда, в кабинет, тихонечко вытянуть из-за шкафа пальтишко и, надев его на себя, улечься на время на диване, а затем так же потихонечку снова запрятать ласковое утешение и вернуться по принадлежности. Это был один план, с опасностью больших осложнений в случае неудачи, но все же сравнительно простой. Второй план, от которого пробегал холодок по спине, был куда заманчивей, но таил в себе лавину бедствий.

Если, думал я, в одну чудесную ночь «оно» (иначе я пальто уже не называл) очутится в моем обладании, почему бы не отцепить от него пелеринку, с ее чудным запахом молочного шоколада, и ее, только ее одну, взять с собой, к себе, чтобы она дремала у меня под одеялом вот так, как спала в моей постели в ногах пропавшая без вести, но вечно припоминаемая Плутовка (и она еще, может быть, отыщется!). Весь вопрос в том, как сделать так, чтобы пелеринка и по утрам, когда Агата убирает постели, не попала ей на глаза. Сердце учащенно билось и подсказывало успокоительные доводы. Ведь она (т. е. пелеринка) такая короткая, Женечкины круглые плечи постоянно выпирали из-под нее, и тепленькая шея полненькой малюсенькой светлой фигурки по-

шевеливалась из-под пелеринкиного воротника. Потому-то, когда няня однажды попыталась застегнуть его на крючок, крючок оторвался, повис на ниточке и так остался висеть до самой пропажи. А они все ко мне придираются... Вот приду ночью и отцеплю всю пелеринку, а если невозможно будет отцепить, надо будет ее оторвать, как няня крючок, или — блеснула молния, как на небе в угаре — можно отрезать нянины ножницами, наточенными до блеска.

21 мая 1968, 10 pm.

Все равно, так это оставить нельзя... И последовало действие. После молнии — гром.

Оба плана слились в один. В один ненастный вечер я сунул поблескивающие ножницы под подушку, терпеливо выждал, покуда няня стала мерно похрапывать (брат просыпался только когда его настойчиво будили), и, вооружившись ножницами, отправился, согласно с основным планом, на цыпочках в поход. И опять произошло нечто непредусмотренное и непредвиденное.

Очутившись благополучно в кабинете и извлеки из-за шкафа порядочно искомканное пальтишко — при слабом свете уличного керосинового фонаря, Бог знает какого цвета, — я хотел, как было задумано, натянуть его на свою ночную рубашку. Но меня захлестнула могучая горячая волна. Я крепко прижал к сердцу бесформенный крупнейший шоколадный ком и, кинувшись на диван, уткнулся головой в стенку и — расплакался.

О чем я плакал? Почему? Теперь, когда мне почти семьдесят семь, я могу сделать разные, более или менее убедительные предположения. Но тогда я осознавал одно: я не в силах расстаться с Женичкой, и теперь меня хотят лишить даже ее осязательных останков, меня заставляют уродовать их, резать Женю ножницами на куски. Мне стало жалко не столько Жени, сколько самого себя — жалко до острой, как иголка, боли. За что? За что?

По-видимому, я лил слезы долго и обильно, потому что, когда я под конец взялся за операционный инструмент, «оно», пальтишко, было вымочено и вдоль, и поперек, и по-верху, и по подкладке, и особенно по шву пелеринки под воротником. Где тут «отцепить»! Все равно — с ножницами или без ножниц. Да и отпороть в такой темноте невозможно. Что же? Оставить все как было? Вернуться в детскую даже без пелеринки? Откуда-то послышался шорох. Может быть, шаги городского с Петербургской улицы, на которую выходили парадные комнаты, а может быть, тут же, где-нибудь у нас дома. Нельзя было терять ни минуты. Ошалелый, заплаканный, в полном отчаянии, я схватил все пальто в охапку, совсем забыл о ножницах и дерзким шагом, как бы напрашиваясь на беду, пошел «домой», в детскую.

Тревога оказалась ложной, и я без всякой помехи вернулся к перилам своей кровати. Брат спал, Агата похрапывала. Я вернулся в ту прежнюю минуту, когда все: Мэри, Женя и Анночка, — были по другую сторону занавеса, а я тут вытаскиваю из-под беличьей шубки пальтишко табачного цвета. Значит можно все вернуть и сделать так, как если бы ничего не случилось? Держа пальтишко под мышкой, я забрался в кровать и под одеялом стал думать, как быть. Одно было опять ясно, как день: я никак не могу расстаться с тенью Женички. Еще невозможнее, чем когда она была под книжным шкафом.

Остается одно — я решил (о, как отчетливо я вижу до сих пор каждый поворот мысли!): устроить пальто за перилами кровати с правой стороны, у самой стены, так, чтобы няня, не дай Бог, не задела его щеткой, подметая, а я смогу по ночам, когда очень захочется, уложить его, ее, Бог знает кого, рядом с собою и погладить, и покомкать, и даже вызвать на скачку. Я был необыкновенно счастлив и чуть не заснул с ним, с нею, Бог знает с чем, в объятиях.

24.V.68.

Начиналось третье и последнее действие. Счастье было слишком хрупкое. На каждом повороте и в каждом углу воображение сталкивалось с действительностью. Первое крупное столкновение произошло с няниными ножницами. В угаре, рассекаемом молниями, я о них совсем позабыл. Но они нужны были няне. Она их искала и не могла доискаться. «А может быть, ты взял их поиграть?» — спросила она меня в упор. Почему меня, а не брата? Потому что я маленький и больше люблю играть? Так или не так, я, очевидно, сильно побледнел. Иначе Агата не испугалась бы. «Ничего, ничего, — стала она успокаивать меня. — Если ты знаешь, где, то ничего, найдутся». Конечно, я знал, где, а кроме того, теперь ведь пелеринка уже не там, и как может няня разобраться в том, для чего могли мне понадобиться ножницы в кабинете отца? Я быстро овладел собой, побежал в «парадные комнаты», как называла ту часть квартиры Агата, и, перескочив порог кабинета, одним прыжком допрыгнул до дивана, на котором еще так недавно нянины ножницы пошли ко дну в потоке слез. Да, именно так, ко дну, потонули. Слезы-то высохли, а ножницы пропали. Я сам готов был провалиться сквозь обивку дивана и погрузился целиком в воспоминания: как и когда я позабыл вот тут, обливаясь слезами, о своей замечательной выдумке обеспечить себя сказочно-прекрасной пелеринкой при помощи острого лезвия узкой половинки ножниц. Потому что не могло быть сомнения: обе половинки ножниц исчезли вместе с внезапным порывом, вместе с резким решением ничего не резать, ничего не рвать, ничего не бояться, а завладеть всем, как оно есть, привлечь его к себе во всей его неискаженной прелести...

В этом оцепенении от наплывающей растерянности, собравшимся в комок, для которого диван был слишком широким полем, застала меня Агата. Выходило так, что вслед за пальтишком и ножницами пропал и я сам. «Куда это ты запропастился? — услышал я вдруг ее голос, — очень ты расшалился. Просто беда с тобой!»

31 мая 1968.

Это «с тобой» окончательно вывело меня из оцепенения. До сих пор «беда» Агаты всегда была с нами, не со мной одним, но ясно было, что я уже успел, сам того не понимая, провиниться глубоко и перед Агатой. «Няня! — воскликнул я, как бы прося пощады, — ты разве сердита?!» Тут я получил полный обвинительный акт, относившийся, правда, к одним лишь пропавшим ножницам, но и этого было достаточно.

Няня, присев на край дивана, объяснила мне, что коли они, т. е. ножницы, были здесь и их уже тут больше нет, то «папаша, вернувшись в кабинет, может, заметил, осерчал, что няня не нашла другого места, как войти в кабинет чинить детишкино белье, и забрал эти самые ножницы показать мамаше, а что дальше будет, Бог помилуй...» Я готов был расплакаться. Не потому, что я был чрезмерным плаксою, а от обиды, которую предстоит перенести няне, если я громогласно не покаюсь. Но в чем? Неужели только в том, что я пошел играть с острым предметом в кабинет, не касаясь всего прочего? Покуда вела меня няня, держа за руку, обратно в детскую, мой план созрел. «Я сам все расскажу», — как бы поклялся я Агате. Задумал же я поведать о своей «шалости» сначала брату, рассчитывая на то, что он при первом же случае пожалуется на меня матери, что было совершенно безопасно, а она уже, в случае нареканий со стороны отца, заступится сразу и за Агату, и за меня. Если же брат спросит меня сердито и удивленно, а зачем мне понадобились ножницы в таком неожиданном месте, я, само собою, ничего не скажу о пелеринке. — «Не дай Бог!» — как говорит няня. Я лучше скажу, что хотел выкроить из бумаги фигуру французского царя, как он показан в одной из книг матери, а это сразу покажется брату и глупым, и совершенно не заслуживающим внимания, если я только не посмею вырвать лист из его тетради. Но о пелеринке, о том, что пропавшее пальто я сам запрятал, о том, что оно еще и теперь заткнуто за моей кроватью — о, об этом никому невозможно рассказать, а осо-

бенно брату. Он девочек вообще презирал. И хотя вежливо разговаривал с ними, предлагал им иногда угощение, но интересоваться их нарядами, их пальтишками он считал бы неизгладимым позором.

7 июня 1968.

И может быть, он прав, думал я, покуда няня собирала чай. Даже Женичка... Вот она меня взяла за руку. Но что, если вдруг начнет царапаться?! Сколько я уже терплю из-за нее. А ей разве есть дело до меня? Я стал серьезно сердиться. «Няня, — спросил я, — ты разве пойдешь в костел?» Мне это нужно было точно знать. По «четвергам», а это, вероятно, был канун пятницы, т. е. канун кануна «субботы», няня в сумерки надолго уходила, брат тоже обыкновенно не был дома — вот я и воспользуюсь и расправлюсь с... Женей. Да, не с Женичкой, а с царапающейся, как кошка, Женей. Я уничтожу ее. Не нужно мне ее пелеринки. Сразу уничтожу все пальтишко, вырву подкладку, распорю рукава, оторву пуговицы — чтобы и следа не осталось. Соберу в кучу, спущусь незаметно во двор и — в мусорный ящик.

Теперь события понеслись с быстротой пожарной команды. К вечеру обнаружилось, что ножницы, действительно, от отца перешли в руки матери, а от нее к законной владельнице — няне. Я зорко следил, откуда их снова раздобыть и, когда на следующий день я остался один в детской, я проворно достал их из няниного шкафчика, выдернул одним рывком табачного цвета пальтишко из-за своей кровати и, трепеща от ярости и страха, выбежал на деревянную галерею, с которой лестница черного хода вела на двор. Там я присел на нарубленные для кухарки дрова и с остервенением принялся за дело. Очень скоро из-под распоротой подкладки показали отвратительные внутренности, бесформенные и, мне показалось, влажные комки неприятно пахнущей ваты, что-то небывало омерзительное и стыдное, нечто такое, от чего я в ужасе содрогнулся и уронил на пол балко-

на мое смертоносное орудие пытки... И тут я был пойман с поличным.

На галерее появился отец. «Чем это ты тут занимаешься?» — строго, очень строго спросил он меня. Заметив валявшиеся на полу ножницы, он сказал: «Так и думал! Ты помешался на этом. И что это у тебя в руках? Немедленно ступай и сложи все на стуле в детской, а мы подумаем, что делать с тобой...».

Впоследствии я узнал, что я предался страстной своей мстительности совершенно слепо, ничего не видя вокруг. А между тем, нашей еврейской кухарке все было известно и, когда я прошмыгнул с «корпусом» своего преступления через кухню, она подняла тревогу. Так-то отец меня и застал.

Что-то теперь будет? Во мне застряло и как-то болезненно застряло одно слово: «помешался». Уже в те ранние годы я привык общаться со словами, как с игрушками, как с обручами и волчками. Я пускал их катиться и кружиться, поворачиваться ко мне разными и даже разноцветными сторонами, закрываться и раскрываться, забавлять и пугать меня. «Помешался» было такое именно слово, ставшее вдруг пугающей загадкой.

25 июня. Если я в тот вечер на чем-либо «помешался», то на этом странном выражении. Мое внимание было приковано к нему, и я неустанно тряс и трепал, тербил и тормозил его. «Мешают» ложечкой сахар в чае; я «мешаю» брату готовить уроки; «мешок» — это оттого, что в нем все смешано, — но как могу я сам «помешаться» и на чем? На ножницах? Тут что-то не так, да и не в ножницах вовсе дело, а в чем-то гораздо более жутком и томительном. Сердце замирало, и стало не по себе — не то холодно, не то слишком жарко. Я стал явно «смешиваться», и это стало меня вдруг «смешить».

Когда Агата вернулась, она сразу увидела, что у меня жар, и тотчас же уложила в постель. Голос ее звучал глухо, но я разобрал, как сквозь сон, что она убеждает маму позвать доктора. Я стал громко смеяться: «Доктора! — кричал я. —

Доктора! Фойертага! Женичку! Пелеринку!» — кричал сквозь смех, смеялся сквозь крик. Я, вероятно, сильно заболел.

Когда я стал поправляться, то почувствовал, что я уже ни с чем не «смешан», ни к чему не «примешан», что я сам по себе и нечего бояться или стыдиться. Осталась лишь одна забота: что теперь со мной сделают? Потому что я слишком помнил слова отца тогда, там, на галерее о том, что следует подумать, как со мною поступить. Заботу эту я хранил про себя и терпеливо выжидал, как сложатся мои обстоятельства. Что я вполне заслужил какое-то наказание или какой-то урок, в этом я не сомневался.

26 июня 1968

Живя и даже сжившись с этой заботой, я проводил время как в те блаженные дни, когда все еще было мирно и ясно. Весна совсем распустилась. Окна во двор были в солнечные дни широко раскрыты. Канарейка в клетке попрыгивала, чирикавая «чирк-чирк», с перекалдинки на перекалдинку. Няня водила меня гулять в Майки, беседки на окраине заливных лугов между городом и Двиной, где мы получали у хозяйственных староверов парное молоко с вкусными баранками и сливочное мороженое. Разрешалось мне и дома проводить послеобеденные часы — «для аппетита» — на дворе. Там я охотно рылся в мусоре, который выметали из задней двери галантерейного склада оптовика Гордина. В этом мусоре можно было найти очень интересные пуговицы, не говоря об иголках, булавках и шпильках. На обратном пути в детскую я, проходя через кухню, показывал свой улов кухарке, и она кое-что отбирала для собственной надобности. Короче говоря, можно было жить да поживать спокойно и мирно, если бы не туманное предчувствие, что еще должно пройти нечто, угрожающее обидной карой и грустью. Я ждал и опасался не напрасно.

Это произошло в теплый послеобеденный час, уже после Пасхи, когда я был занят в углу квадратного двора поисками

редких пуговиц. У меня уже набиралась порядочная коллекция, когда в одном из окон детской появилась Агата и стала взволнованным голосом звать меня: «Иди, иди скорей! Пришел учитель... Скорей, скорей». В малую долю секунды я все понял: это расплата, это роковое следствие моих дурных поступков, это то, что давно собираются со мною «делать». Противодействовать было невозможно, да и некогда было подумать. Оставалось лишь покориться. Понурился, я пошел наверх.

Так в мгновение ока я лишился почти всех своих свобод и был уравниен в несправедливости с братом, который уже давно был не самим собою, а «учеником».

27 июня 1968

Третьего дня (25-го, сего, июня) мне минуло семьдесят семь, но я до сих пор так и не отделался от той обидной грусти, с которой связано во мне само слово и понятие «ученик»: в нем оттенок подчинения, наказания, рабства.

26 июня, 1968

Верно, я впрягся не безропотно и порою пытался свергнуть иго. Но как могло сравниться чтение книги Бытия под руководством требовательного, хотя и мягкосердечного педагога, с восторгом, пережитым мною задолго до этого, когда я сам открыл секреты азбуки и по наитию стал читать вывески на улицах и слова под картинками в растрепанном букваре брата.

Из книги Бытия я скоро узнал «об Адаме, о Еве, о земле и о небе, о древней змее, о добре и о зле». Эти приблизительные слова, вычерченные Белым, я в 1923 году взял эпиграфом к «Системе свободы Достоевского». Конечно, они сжато передавали суть того, что слилось во мне с пониманием Федора Михайловича Достоевского. Но сохранился в них и отклик — как, впрочем, во всей книжке — собственного ученического опыта. Библейский рассказ об Адаме и Еве

и змеевидном искушении, о древе познания, об изначальном стыде и об обрушившемся наказании — все это складывалось в моем растревоженном уме как извечное объяснение и оправдание того, что недавно приключилось со мною. Словами я не мог бы это выразить, но я очень отчетливо чувствовал, что учение, вкушение плодов от древа познания — не причина, а часть, начало, самая подпочва печальной отверженности; я не мог, конечно, сказать тогда, на шестом году жизни, но в ощущении своем я тогда именно почувствовал в себе нечто отличное от моего ребячливого «я», что отлично подходит под понятие «человеческого, слишком человеческого». И все это одновременно переплеталось с чем-то очень, очень стыдным. Из-за этого и приходится «учиться», подчиняться, слушаться чешуйчатых шипящих змей. Я был подавлен в глубине моего сердца (это верно, что сердце уже в раннем детстве показывает впечатлительному уму третье свое измерение) и мечтал лишь об С. Это прописное «Эс», которое изображено было в головке термометра поверх красной цифры 42, было, конечно, латинским Це, начальной буквой Цельсия, изобретателя стоградусного термометра, но я толковал ее как русскую заглавную букву слова «Смерть». Вот надо так заболеть, чтобы градусник показывал сорок два, тогда-то и наступит то, о чем я мечтаю в стыде и ученичестве своем — небытие, смерть. Еще десять лет спустя, пятнадцатилетним юношей, я, написав в своем потайном дневнике послание к «небытию», очеловечил его: «Ода к С.», и были такие любители разгадывать секреты, которые старались догадаться, кто бы могла быть эта «Соня», которой я шлю послания в стихах. Но реальная Соня еще долго не объявлялась.

В моей нынешней исповеди я воспринимаю описанный эпизод как реально пережитое грехопадение. Я пережил нечто, предопределившее все мои скитания за порогом детской. Все произошло сразу, и теперь, исповедуясь, я могу произвести точный анализ этой эмбриональной стадии в эволюции моего индивидуального существования. При

этом все было так, как если бы я был в каком-то разрезе настоящим библейским Адамом. На этом я хочу остановиться.
4 июля 1968 г.

Об иллюзиях.
Diary 22 ⁸⁵

81 Eton Place,
Eton College Road
London. NW3
18 марта 1972

Иллюзия думать, что можно жить без иллюзий. Мое правдолюбие восставало всегда против капитуляции «низкой истины» в ее соперничестве с «нас возвышающим обманом», и на всем жизненном пути своем я истреблял, где и когда мог, не «тьмы низких истин», а рой за роем мертвые и льстящие «обманы». И все же на 81 году жизни прихожу — во имя моей возлюбленной истины — к выводу, что, быть может, меньше, чем другим, мне самому легко было «возвышать» себя обманом. Жизнь прошла в погоне за правдой и в лобызании ее личин, личина же правды, как известно, есть ложь.

Чего же я добиваюсь этой записью? Приличной концовки? Правды о лжи? А хоть бы и так. Лишь бы и это заключение не оказалось иллюзией, без которой нельзя ни жить, ни умереть. Буду говорить и писать, как сердце думает, а там — разберусь.

Я правду люблю с очень ранних лет, с тех пор, как я невзлюбил ложь. Теперь укоренилась привычка при встрече в молитвеннике с самым словом лжж (эмет, истина), подносить его к губам не книгу в целом, а одно лишь это слово. Привычка странная, ни у кого не заимствованная и о которой лучше не говорить вслух. Почему? Если в этом разо-

⁸⁵ SC. Vox VIII. Автограф.

браться, пожалуй, удастся размотать хоть часть спутавшегося клубка.

**Воскр[есенье]. 26 марта 1972 г. Перед пасхой 5732 года
(4 поп[олудни], все там же: Eton Place, N. W. 3 кв. 81)**

Сейчас дошел до конца обширной статьи Марка Слонима в 104-й книге нью-йоркского «Нового журнала» о Марине Цветаевой, к поэзии и личности которой у меня до сих пор сохранилось особое и очень личное отношение. Я МИ (Марину Ивановну) никогда не видел, но Марк Слоним ее знал очень близко, знает он и обо мне, и в евразийский период жизни этой необычной поэтессы в том же третьем томе «Верст», парижском толстом журнале евразийцев, наряду с замечательными стихами Цветаевой, напечатана моя полемика с Л. П. Карсавиным и работа «Достоевский и еврейство». Прочел статью Слонима от прошлого года, сверил с данными в моей памяти, касающимися конца 20-х гг., задумался, и мною овладела скорбная грусть. «И пусть!» — могла бы воскликнуть погибшая Марина. Но нет! Потому что это имеет прямое отношение к роковой теме «об иллюзиях».

Ставшая москвичкой, Дочь Человеческая Марина сжилась с иллюзией, что дело ее жизни — отдаваться вдохновению, чтобы им окрыленной, оставить неизгладимый след в русской поэзии и прозе. Путь ее был жертвенный. Она не противилась мученичеству и шла ему навстречу. Человек редкой силы воли, она растратила ее на средства к цели жизни и даже на средства к этим средствам: она добивалась признания, чтобы легче было «печататься», чтобы таким образом воздвигнуть себе «нерукотворный памятник», и подбирала соответственно среду свою. По-своему не лишенный чуткости Слоним (недаром он включил в свою монографию «Три любви Достоевского» как некий источник для понимания Апполинарии Сусловой мою «повесть» (в 4 действиях) «Достоевский в Лондоне»)⁸⁶, считает, очевидно, что стимул

⁸⁶ Марк Слоним. Три любви Достоевского. Нью-Йорк, 1953, с. 316.

жизни МИ не возвышавший ее в собственном сознании «обман», не «иллюзия», а истинно достойная реальность. И вот все это вместе взбудоражило мою совесть и поставило передо мною вопрос: а что если иллюзия — мое мнение, будто борьба за признание — цель иллюзорная и самомнение — вера, будто можно обойтись без признания среды? Ведь несомненно, что всякое ложное допущение — иллюзия. Возникает проблема классификации иллюзий.

3 апреля 1972 г. Песах

...И прошла неделя, и закончился месяц, и пришла снова Пасха, и мне оставалось лишь думать, что записывать, но не записывать то, о чем думал. А ряд размышлений об «Исходе из рабства на свободу», о «времени нашего Освобождения» непосредственно врезывался в тему разоблачения «иллюзий».

На вторник 25 июля 1972 г. (там же)

Прошла Пасха, и промелькнули все семь недель до Пятидесятницы, а за ней и 25 июня, день моего рождения (81!), добрался до 17 Тамуза, и вот я снова за 9 Аба в потоке Второзакония. Сколько иллюзий растворилось в этой стихии годичного водоворота! А стрелка: «Возникает проблема классификации иллюзий», — мне все время остро напоминает о том, куда беззвучно журчит непрерывающаяся мысль. Собираюсь отметить с берегов воспроизведения изгибы, с которых и вовсе не плоские камешки отскакивают рикошетом. Чтобы уже сейчас показать один такой не слишком изысканный изгиб, укажу на экскурс: «Таблица напраслин, пережитых мною с детства в детской, до ложных утверждений в наш век звездных небес». Наивно-народная «напраслина» лучше освещает пейзаж клеветы и злокозненных обличений, который открылся мне в исследовании иллюзий на 80—81 году жизни.

В двух словах: иллюзия думать, будто человеку естественно думать и говорить правду, а неестественно лгать.

Там же, на пятницу 15-го декабря

Как если бы не было перерыва в этой тетради с июля сего года, продолжаю: да, иллюзия думать, что в деле правды и лжи за этот век произошла какая-либо перемена к лучшему (если истина есть «добро», как «свет» в Книге Бытия) — скорее наоборот. Согласно анекдоту: «Вы говорите правду, чтобы меня обмануть, чтобы я поверил в обратное тому, что Вы сообщаете...». Потому что ныне все лгут, и, если мне вздумалось не лгать, я опаснейший из лжецов, я «Критянин»⁸⁷, разоблачающий наивную иллюзию, что в море лжи может сохраниться островок правды.

На 27-е февраля 1973 г.

Канун седьмой годовщины (по евр[ейскому] календарю 27—28 февраля) кончины Сонюры. Без четверти одиннадцать, и у меня целый час для записывания все тем же стареньким сонюриным пером, там же — в 81-й квартире дома ETON Place, в Лондоне NW3.

Я в глубоком, глубочайшем трауре. Больше, чем когда-либо. Горюю не столько по почившей (она для меня и во мне жива), сколько по последовавшему семилетию без ее присутствия в моем физическом окружении. Это семилетие на 7—8-м десятилетии собственного существования (мне 81 $\frac{2}{3}$) открыло мне по-новому глаза на зло в мире, на зло во мне самом. Господи! Сколько высокомерной жестокости, свирепой ярости таилось под смиренным ликом. Перебирая для исповеди происшествия в Двинске и Пернове в первые годы нашего века, я был первым делом поражен, что при моей точной изобразительной памяти, я мог держать взаперти долгие десятилетия реальные факты, как будто не-

⁸⁷ Парадокс Эпименида-критянина: «Все критяне лгут»: если все критяне лгут, то ложно и утверждение самого Эпименида».

совместимые с моими духовными запросами. В 1901—1902 гг. дошло до того, что я имел при себе постоянно острый перочинный ножик для отражения атак супостатов. Чтобы мне самому было понятно, коли жив буду, поясню вкратце истинным происшествием.

В 1904 г. я был принят в четвертый класс Перновской гимназии. Когда я впервые переступил порог обширного класса, первое, что я разобрал в слитном шуме голосов: «А, вот и новый жиденок появился!». Пернов был вне черты еврейской оседлости, и в четвертом классе до моего появления был всего лишь один еврей (Моисей Левенталь из Риги). Ввел меня своим звонким приветствием в классическое общество (гимназия была «классической», т. е. с латынью) краснощекий круглоголовый Дубковский, сын православного священника, который добродушно пользовался общепринятыми любезностями, ничуть не желая обидеть, и вскоре стал моим чистосердечным почитателем, так как «первым учеником» был я, а не он. Не то второй наш попovich — Четыркин. Парта его приходилась прямо за моей спиной. Тоже круглый, но с продолговатым подбородком, он пользовался своей позицией, чтобы подглядывать, как это «жиденок» ухитрится цапать пятерку за пятеркой за письменные работы по алгебре. Он, несомненно, верил, что пятерки по математике созданы для православных, а не для «жидков». И вот случается чудо.

Мой ближайший сосед по парте немец Эрнст Гаген аккуратно списывал, подглядывая через мое правое плечо на мой лист, все, что на нем было. Но у нашего учителя математики, тоже немца, глаз был зоркий, и, когда, возвращая работы, он удержал мой лист и лист Гагена, он заметил, что одна и та же описка повторяется в работах обоих добрых соседей, из чего следует, что один ошибся, а другой списал, так что одному следует выставить пятерку, а другому — единицу. «Но кому же? — поднял синие глаза к потолку Эдуард Эдуардович. Кому именно? Гагену или Штейнбергу?..»

Не успел он произнести мою фамилию, как я почувствовала в тылу, в затылке, острейшую боль. «У Штейнберга еди-

ница!», — ликовал мой «соперник» Четыркин. Началась «большая перемена». И тут-то оказалось, что во мне сидит дикий свирепый зверь. Я быстро обернулся и — неизвестно откуда сила взялась — вцепился в горло обидчика. Он вскрикнул и покотился под парту. Но я уже был не я, а дикий зверь во мне — я тоже очутился на полу, все время стараясь не выпускать горла Четыркина из моих ставших железными пальцев.

«Штейнберг, Штейнберг, — услышал я испуганный голос надзирателя и масона Сливицкого. — Что вы, с ума сошли? Просто стыдно. Что случилось?»

Дело скоро разъяснилось: пятерка попала в журнал, как ей полагалось, а единица в готовое для нее гнездышко против имени Эрнста Гагена, даже с Четыркиным мы помирились. Но загадочным остается, как я сам мог позабыть об этом припадке и о других подобных припадках звериного бешенства в течение многих десятков лет, до самого окончательного покаяния? Это относится к теме «иллюзий» и самообмана, и к этому — даст Бог — еще вернуться.

Содержание

От составителя.....	3
Философ или/и писатель.....	5
1. Семья.....	5
2. Двинск.....	6
3. Пярну. Гимназия.....	8
4. Гейдельберг. Университет.....	8
5. Раппенау. Размышления.....	11
6. Берлин. Эмиграция.....	13
7. Лондон. Вторая эмиграция. Итоги.....	16
I. Иногда — писатель.....	27
Как на мудреца-журавля оказалось довольно простоты.....	27
История одного открытия.....	30
Во рву гибельном Повесть в трех кругах.....	56
О самом важном.....	145

II. Портреты и идеи.....	162
Бялик и Баал-Махшавот	
Иврит и еврейский язык.....	162
Соломон Михоэлс, художник и человек	
Личные воспоминания.....	168
Мой двинский друг Шломо Михоэлс.....	171
Мой двоюродный брат Самуил	
(Из семейной хроники).....	185
К Архипелагу начала века.....	195
III. Дневник как проза и	
проза как дневник.....	244
[Списки]	
Diary 14	244
[О зависти].....	250
Letters to Mrs. S. Steinberg	
after her death on 18.III.1966	258
Мое грехопадение	278
Об иллюзиях.	
Diary 22	295

В издательстве «ImWerden»

*

«Повѣсти Бѣлкина, изданныя А. П.»

Знаменитая книга Александра Сергеевича Пушкина
по изданию 1831 года с сохранением авторской
орфографии и пунктуации. Книга издана карманным форматом!

*

Василий Бетаки

«Снова Казанова (Меее...! МУУУ...! А? РРРЫ!!!)»

Воспоминания поэта и переводчика Василия Бетаки,
жившего с 1973 года до конца своих дней в 2013 году в Париже
Книга закончена автором в 2010 году специально
для нашего издательства.

*

Эйтан Финкельштейн «Только пепел знает...»

«...жизней людских XX век унес больше, чем все предыдущие столетия, вместе взятые. Не пощадил он ни большие народы, ни малые, ни тех, кто мерз за Полярным кругом, ни тех, кто изнывал от жары на Апеннинском полуострове. При всем том, когда в «небесной канцелярии» подвели итоги века, оказалось, что одного народа в Европе не досчитались: из более восьми миллионов евреев, что обитали в Старом Свете к началу века, к концу его едва удалось наскести миллион...»

*

Книги можно приобрести по адресу:
<http://www.lulu.com/spotlight/ImWerden>

Электронные библиотеки:
<http://imwerden.de>
<http://vtoraya-literatura.com>